

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА "СОЛО"

Русский ПЕН-центр

ЮРИЙ БУЙДА

**ПРУССКАЯ
НЕВЕСТА**

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Москва

Редактор

Александр МИХАЙЛОВ

Редакционный совет

Владимир АБРОСИМОВ

Андрей БИТОВ

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

Евгений ПОПОВ

Художник

Адольф ГОЛЬДМАН

ISBN 5-86793-045-9

© Ю. Буйда, 1998

© «Соло», 1998

© «Новое литературное обозрение», 1998

ПРУССКАЯ НЕВЕСТА (вместо предисловия)

Заслышав шаги, мы с Матрасом разом присели, утонув в тени кладбищенской стены, сложенной из валунов. В свете фонарей, качавшихся у железнодорожного переезда, на тропинке показался отец Матраса. Он промышлял тайной продажей немецких надгробий литовцам и всякого, кто появлялся вблизи кладбища с ломом или лопатой, грозил скормить свирепым призракам, которых приваживал мухоморами.

— Пошли, — прошептал Матрас-младший, когда отец скрылся в темноте. — Туда.

Пригибаясь, мы пробрались между ржавыми покосившимися оградами в глубину кладбища. Присев на корточки, осветили карманными фонариками серую гранитную плиту, покрытую пятнами лишайника. В прошлый раз после долгих усилий нам удалось сдвинуть ее. Однако и теперь понадобилось не меньше часа работы, прежде чем в образовавшуюся щель смогли протиснуться тощие тринадцатилетние греблокопатели. Еще полчаса ушло на то, чтобы при помощи плоскогубцев и отвертки снять тяжелую крышку с гроба, стоявшего на высоком кирпичном цоколе.

— Теперь включаем, — сказал Матрас.

— Раз, два! — скомандовал я и нажал кнопку фонарика.

Перед нами со сложенными на груди руками лежала юная девушка. На верхней ее губе, ближе к углу рта, пушилась родинка. На ней было белое платье, сотканное то ли из паутины, то ли из той материи, из которой кроют крылья бабочек, и белые же туфли с золотыми каблуками. На левом запястье тикали крохотные часики в форме сердца.

— Как живая, — проговорил Матрас таким голосом, словно язык у него был из бумаги. — Тикает.



Девушка вздохнула, и в тот же миг воздушное платье и гладкая кожа превратились в облако пыли, которое медленно осело вдоль узловатого позвоночника. Мы заворожено смотрели на пыльный желтый скелет, на нелепо торчавшие белые туфли с золотыми каблуками, на часики в форме сердца, продолжавшие тикать, на густые волосы, в которых, как в гнезде, покоилось темно-желтое яйцо черепа. Из черной глазницы вдруг выпорхнул крошечный мотылек.

Матрас испуганно выругался.

Мой мочевого пузырь сжался, и я едва успел сдернуть штаны.

Матрас торопливо снял со скелета часы, цепочку с крестиком, бледное колечко. Мы выползли наверх и изо всех сил налегли на плиту. Наконец она встала на место.

— Фонарик! — вдруг вспомнил я. — Фонарик там остался. В гробу.

— Ладно. — Матрас сунул мне часики. — Пусть там светит, чтоб ей веселее было.

Спустя три года через кладбище прошли экскаваторы, оставившие после себя глубокие ямы для опор теплотрассы. Школьники таскали черепа и кости, чтобы поугагать учителей и ровесниц. Рабочие гоняли мальчишек за вином. Наш кумир Саша Фидель, двухметровый детина с черной курчавой бородой и щербатой бандитской улыбкой, прежде чем приложиться к бутылке, смешно крестился: чтобы кладбищенские призраки не наслади на него икоту. Однажды вечером его экскаватор вспыхнул и в несколько минут сгорел вместе с заснувшим Сашей. Утверждали, что, когда обугленное тело вытащили из кабины, умирающий выдохнул черную бабочку, которая, покружив над людьми, растворилась в темноте. Сашу похоронили на новом кладбище. Старое забросили.

Я родился в Калининградской области через девять лет после войны. С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам. К каналам, шлюзам, польдерам, к вечной сырости и посаженным по линейке лесам. К дюнам. К морю, чьи плоские воды незаметно переходят в плоский берег. И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира. Однажды я узнал, что родной мой городок когда-то назывался не Знаменском, а Велау. Жили здесь немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От нее остались осколки — эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде. В отличие от осьминога, бездумно занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь знать о жизни, которая предшествовала моей и создала для моей жизни форму. Учителя, вообще взрослые, были неважными помощниками. Не то что они не интересовались прошлым этой земли, нет, — но им было некогда, да и потом, им

сказали, что чужое прошлое им не нужно. Был тут «оплот милитаризма и агрессии», жил и умер Кант — и довольно. Пруссков — предшественников немцев на этих землях — почему-то считали славянами. Старожилы утверждали, что вот это здание было городской школой, а это — пересыльной тюрьмой. Или наоборот. Некоторые глухо вспоминали о недолгой поре, когда русские и немцы жили вместе, а потом немцев вывезли невесть куда, вроде бы — в Германию. Земля стала нашей. Отныне и навеки — гласила истина, безвкусная, как речная галька. В немногих книгах сообщалась жалкая толика сведений: завоевание Орденом прусских земель, основание Кенигсберга, разгром тевтонов на полях Грюнвальда-Ганненберга, Петр Великий в Восточной Пруссии, русская атака под Гросс-Егерсдорфом, французская атака под Фридландом, Тильзитский мир, август Четырнадцатого, апрель Сорок Пятого... А жизнь? Что это была за жизнь? Старожилы пожимали плечами. Рассказывали о страсти немцев к рытью подземных ходов. О янтарной комнате. Тротуары мыли с мылом. Рыбаки шатались от голода, но весь улов сдавали властям. Потом их депортировали. Все. Десяти-двадцати-тридцатилетний слой русской жизни зыбился на семисотлетнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину... Это было творение мифа. Рядом — рукой подать — был заколдованный мир, я жил в заколдованном мире, — но если русский человек в Пскове или Рязани мог войти в заколдованный мир прошлого, принадлежавшего ему по праву наследства, — кем был я здесь, человек без ключа, иной породы, иной крови, языка и веры? В лучшем случае — кладоискателем, в худшем — гробокопателем. При первом же вздохе девочка Пруссия обращалась в прах. Я слышал песнь скорби, которую пела горстка всадников в белых плащах, покинувших дорогую родину и пришедших в Пруссию — страну ужаса, в пустыню, где бушевала страшная война (так писал летописец крестоносцев Петр Дюсбургский). Гремели пушки, стрелявшие ядрами, высеченными в моренах доисторических ледников. Ползли в тумане ганзейские караваны. Сам дьявол в образе чудовищной Рыбы являл свой хребет над равниной Фришес-Гафф. Цвел боярышник. Шиповник. Пахло яблоками. Во всех временах этой вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря.

Прусское время...

Я жил в вечности, которую видел в зеркале.

Это была жизнь, которая одновременно была сновидением.

Сновидения созданы из того же вещества, что и слова.

В предисловии к «Мраморному фавну» Генри Джеймс писал об Америке, о том, как «трудно написать роман о стране, где нет тень, нет древностей, нет тайны, нет ничего привлекательного, как

и отталкивающе ложного, да и вообще ничего нет... кроме ослепительного и такого заурядного сияния дня; а именно так обстоит дело на моей обожаемой родине». Именно так, казалось мне, обстоит дело и на моей обожаемой родине. Там, где я родился. Тени и тайны принадлежали чужому миру, канувшему в небытие. Но странным образом эти тени и тайны — быть может, тень тени, намек на тайну — стали частью химии моей души. Одно время я терзался раздвоением. Ребенком я гордился победой славян и литовцев под Грюнвальдом — и одновременно горько сострадал судьбе Ульриха фон Юнгингена, гроссмейстера Ордена, павшего в отчаянной схватке с поляками и похороненного в часовне замка Бальга, на берегу Фришес-Гафф. Позднее я понял, что русский интеллигент в XX веке поставлен точно в такое же положение относительно русского прошлого. Наверное, тогда же пришло понимание того, что сновидения национальности не имеют. Слова — слова — имеют, но не Слово, стирающее различия между Шиллером и Эхилом, Толстым и Гельдерлином, более того, между живыми и мертвыми — между читателем и давно умершим писателем. Писатель, то есть сновидец, живет не в Знаменске или Велау, но там и там одновременно, — но в России, Европе, в мире. На вершине холма под Изборском, который называют Труворовым Городищем, я испытал те же чувства, что и на мысе Таран, на самом западе России.

У моей малой родины немецкое прошлое, русское настоящее, человеческое будущее.

Через Восточную Пруссию немецкая история стала частью истории русской. И наоборот. И это закономерно, если вспомнить, каким гигантским перекрестком крови всегда была земля между Вислой и Неманом.

Та девочка, покой которой мы с Матрасом нарушили, была невестой. Именно невестой: не чужой, но и не женой. Между живыми и мертвыми существуют отношения любви как высшее проявление памяти, то есть отношения идеального жениха и идеальной невесты. И именно Слово — та печь, где любовь становится скрепляющей нас известью. В одном из своих стихотворений Рильке выразил это чувство лексическим приемом — *Ichbinbeidir* — Ястобой.

В оде «К радости» Шиллер так пишет об этой божественной силе:

Власть твоя связует свято
Все, что в мире врозь живет:
Каждый в каждом видит брата
Там, где веет твой полет.
Обнимитесь, миллионы!
В поцелуе слейся, свет!..

Через полтора столетия ему откликается другой немец — Готфрид Бенн — стихотворением с красноречивым названием «Целое»:

Сперва казалось: цели ждать недолго,
Еще яснее вера будет впредь.
Но целое пришло вельнем долга
И, камня, должен ты смотреть:
Ни блеска, ни сияния снаружи,
Чтоб напоследок броситься в глаза.
Гологоловый гад в кровавой луже,
И на реснице у него — слеза.

В XX веке люди вновь осознали как неизбежность устремления к Целому, так и то, что путь этот — путь трагический, путь через разлад, который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к Целому. Быть может, единственным источником.

Той девочки, разумеется, никогда не было. Это миф, один из мифов моего детства. Но часы — ее крошечные часики в форме сердца — продолжают идти (сколько времени? — вечность). Цветет родинка в уголке рта. Выпархивает из глазницы мотылек — черная бабочка сновидений.

«Мы созданы из вещества того же, что наши сны...» Это Шекспир. Кажется, англичанин, что, впрочем, несущественно в мире вечности — в Доме моей невесты...

ОТДЫХ НА ПУТИ В ИНДИЮ

Некоторые утверждают, что теплохода «Генералиссимус» никогда не было. Это не так. Корабль был, и какой: самое большое в мире судно, чьи гребные винты выплескивали из берегов Волгу; его тоннаж составлял 88 тысяч брутто-регистрационных тонн. Строили его с вполне определенной целью. Перед экипажем была поставлена задача: достигнуть берегов Индии и открыть там город Багалпур, находящийся в округе Орисса, в Западной Бенгалии, на реке Ганг и железнодорожной линии Калькутта — Дели, население — около 69 тысяч жителей (по состоянию на 1921 год); вывоз: рис, пшеница, кукуруза, горох, просо, индиго. Запланировано было также по пути открыть Францию, территория которой 550.965,5 квадратных километров, население 41.834,9 тысяч человек, из них 760 тысяч итальянцев и 67 тысяч русских, индекс резиновой промышленности (первый квартал 1935 года к уровню 1913 года) — 760, текстильной промышленности — 61.

Экипаж был укомплектован опытными моряками, учеными, военными, а также пышущими здоровьем колхозницами из спортобщества «Динамо» и писателями в звании от майора и выше — соответственно заслугам перед отечественной словесностью. Пароход загрузили провизией, живым скотом и птицей, самыми крепкими в мире велосипедами «ЗИФ» и лучшими в мире галошами фабрики «Красный треугольник».

1 июля 1952 года «Генералиссимус» двинулся из Москвы по направлению к Балтийскому морю. На палубах беспрестанно играли духовые оркестры. Через каждые полчаса украшавшая нос судна бронзовая сирена с плоским монгольским лицом и острыми собачьими сиськами исполняла «Марш энтузиастов». За кормой вздымался алый от рыбьей крови пенный бурун. Горели золотом на солнце кра-

сиво зарешеченные иллюминаторы. С бортов свисали пышные гирлянды цветов, которые было нипочем не отличить от живых. Именно таким — не корабль, а полная чаша — и увидели мы теплоход «Генералиссимус» ранним августовским утром 1952 года.

Многие и тогда и позже гадали: почему именно в нашем городке капитан «Генералиссимуса» решил сделать короткий привал. Ларчик открывается просто, если рассмотреть все обстоятельства: предпоследний город перед выходом в открытое море; удобная пристань, где баржи-самородки все лето грузятся отличным песком и высококачественным гравием, запасы которого в окрестностях — едва ли не самые большие в районе, а может, и в мире; баня на шестьдесят помывочных мест; две столовки — Красная и Белая; бумажная и макаронная фабрики; другие предприятия легкой и пищевой промышленности; средняя школа с часами на башенке, в которой проживает ржавый Золотой петушок; школа-интернат для умственно неполноценных детей, куда многие записывают своих чад задолго до их рождения; парикмахерская, где до избрания на пост председателя поссовета (официально, на бумаге, наш город почему-то числился поселком городского типа) трудился Кальсоныч; дурочка Общая Лиза, употреблявшаяся как дворник, говновоз, рассыльная, а иногда и как милиционер, если участковый впадал в очередной запой; ее дочь от неведомого отца — Лизетта, щеголявшая зимой и летом в сшитом из заплатанных простыней балахоне, чтобы вернее ощущать себя вольной птицей попугаем и не создавать трудностей мужчинам, на просьбы которых она охотно откликалась; дед Муханов, из упрямства и вредности вознесший дощатую будку туалета выше черепичной кровли своего дома, укрепив ее при помощи жердей и ржавых труб, перевязанных проволокой (и дважды в день с немалым риском для жизни дед поднимался в свой скворечник по шаткой лесенке, и через минуту зоркие жители городка могли издали наблюдать за полетом экскрементов из дырки в полу будки — в ржавый таз на земле); удобные улицы, вымощенные булыжником и поставленным на торцы кирпичом; водопад на Лаве; шлюзы на Преголе; устойчивая телефонно-телеграфная связь с близлежащими и отдаленными населенными людьми пунктами; изобилие парного молока, собак, майских жуков, а также яблок сорта «белый налив»; наличие в болоте возле бумажной фабрики настоящего водяного, чьи необыкновенные мужские достоинства вызывали справедливое негодование женщин, сравнивавших их с достоинствами своих мужей, — словом, если все это честно суммировать, становится ясно: нет ничего странного в том, что ранним августовским утром белоснежный гигант, спрямивший на всем ее протяжении русло узенькой речушки и выдавивший из нее всю воду, отшвартовался у нашей пристани под приветственные клики Кальсоныча, Общей Лизы, Лизетты, деда

Муханова и других жителей, числом более пяти тысяч (без заключенных местной тюрьмы).

Сняв сапоги и портянки, Кальсоныч поднялся по ковровой дорожке на борт судна, держа перед собой на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце с черным больничным штампом и служебное удостоверение на имя Кацнельсона Адольфа Ивановича в развернутом виде. За ним под звуки оркестра последовали и остальные ликующие жители.

До сих пор помню, как капитан — мужчина трехметрового роста, с усами, аккуратно разложенными по плечам, и бронзовой грудью, — показывал нам корабль и знакомил с поющей сиреной и прочими членами экипажа. Среди них, помнится, был человек, перед которым поставили задачу поразить воображение туземцев Багалпура и Франции. В груди у него была небольшая дверца, а за ней — искусно сделанное из стекла и металла сердце производства Челябинского тракторного завода; сердце исправно, гораздо лучше природного, перегоняло кровь, а по мере надобности его можно было проветривать. Капитан дал мне свой бинокль, и я, помню, смог разглядеть содержимое карманов моих сограждан, а также — огромную волосатую родинку на Лизеттином животе, слева от пупка. Это было незабываемое зрелище. Сейчас таких биноклей, увы, не делают. Капитан показал нам также машинное отделение, где в полной темноте восемь тысяч отборных велосипедистов, сидя на специальных станках с педалями, приводили в движение гребные винты. В кают-компании нам предложили фрукты, но мы, говоря это с сожалением, не отважились их попробовать, хотя они были так похожи на настоящие...

Кульминацией встречи стал футбольный матч между командой «Генералиссимуса» и нашими спортсменами. Надо ли говорить, что игроки с парохода не оставили никаких шансов нашим ублюдкам? Гости продемонстрировали высокий класс, забив только в свои ворота более пятнадцати мячей. Особенно отличился их центрфорвард. Человек ангельского терпения, он в конце концов не смог вынести наглую выходку нашего вратаря, который, получив от него бутсой по челюсти, попытался подло покинуть поле. Разумеется, мы не дали негодяю уйти и задержали, чтобы отдать его в руки центрфорварду гостей. Но этот великодушнейший человек позволил нам самим расправиться с невежей, что мы и сделали, выбив мерзавцу кишки через глотку.

Весь день до захода солнца на корабле играли оркестры, их выступления перемежались сольными номерами флейтиста, чье имя не могли повторить даже отъявленные матерщинники. Божественные звуки флейты погружали слушателей в транс. Захваченные грезами дети не хотели уходить домой. Их, впрочем, не особенно и понуждали.

Всю ночь до восхода солнца мы таскали и возили на судно провизию. Мы отдали — подчеркиваю, добровольно, — все, что у нас было, и даже то, чему только предстояло быть. Со слезами на глазах благодарил нас капитан, от всего сердца упрекавший нас за щедрость, чреватую голодовкой. Но это нас нисколько не пугало.

Наутро, повесив и расстреляв наших футболистов, явно с коварным умыслом проигравших пароходной команде, экипаж «Генералиссимуса» отдал швартовы. Заглушая крики провожающих, оркестры на всех палубах грянули с такой силой, что у некоторых стоявших ближе к воде мозги вылетели через нос и уши. Корабль ушел, оставив после себя сухое русло и сглаженные, словно утюгом, берега, забрызганные рубленой рыбой. С тяжелым сердцем возвращались мы к себе. И только дома обнаружили, что на судне ушли все дети. Вероятно, их зачаровала прекрасная музыка. Мы завидовали нашим детям, получившим такую возможность пови-
датель мир.

И только Кальсоныч, Общая Лиза и дед Муханов, не разделившие всеобщего ликования, тайком от всех отправились вслед за «Генералиссимусом». Увязая в зловонном иле, они с трудом одолели полтора километра пути и на исходе дня увидели корабль. Его черный проржавевший корпус лежал поперек русла, сквозь огромные дыры в бортах проросли дикие травы и кустарники, в каютах поселились змеи и мыши. Плосколикая сирена с собачьими сиськами, когда ее попытались вызволить из ила, чуть приоткрыла бронзовые глаза и тихонько пробормотала: «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» Это были последние ее слова.

Кальсоныч опустился на корточки и дрожащими пальцами кое-как свернул козью ножку. Он вдруг почему-то вспомнил своих детей и жену, погибших в печах Освенцима, — и заплакал.

В густом ивняке у кормы обнаружили старшего сына Муханова — он не узнал отца и не смог ничего рассказать. Пока его вытаскивали из кустов, пропала Общая Лиза. Считается, что она ушла искать своих детей. Кальсоныч и дед Муханов с сыном вернулись домой, но никто не поверил, что они нашли корабль, тем более — погибший корабль. Судя по сообщениям печати, он успешно пересек моря и океаны и приближался к первому индийскому порту — Калью. Мертвый? Черный? Ржавый? Нет! нет! — в нашей памяти он навсегда остался огромным белоснежным красавцем с золотыми буквами на борту и высоким пенным буруном за кормой, алым от рыбьей крови...

СЕДЬМОЙ ХОЛМ

Мне отмщение, и Аз воздам

Приходите — и я расскажу вам! Приходите сюда, на этот холм скорби, на Седьмой холм, вознесенный самой природой выше других к небу, по которому густыми августовскими ночами с тихим шелестом проносятся стаи мирных ангелов, вззирающих светло-огненными очами на дольний мир, на средоточие, центр и пуп этого мира, на город городов, раскинувшийся на семи холмах, между двумя желтыми реками, на наш городок-поселок, чьи алые черепичные крыши то утопают в жирной летней зелени лип и каштанов, то стыннут под пахнущими йодом зимними ветрами, на эту паршивую кучу домов и сараев, воняющих плесенью и ваксой, свињьями и керосином, дышащих смертью — елью и туей, со всех сторон обступившей Седьмой холм, пашню для сева без жатвы... Вот тут, между могилами городской дурочки Общей Лизы и старухи по прозвищу Синдбад Мореход (прославившейся неутомимостью в походах за пустыми бутылками), рядом вон с тем безымянным дрожащим деревом, и находится место последнего упокоения Лаврентия Павловича Берии, ассенизатора, и его подручного — ветерана африканского партизанского движения негра Вити. Та самая могила, из-за которой и пришлось закрыть кладбище.

Приходите — и я расскажу вам типично русскую историю: с фабурлой, но без сюжета.

Появившись в нашем городке вскоре после официального сообщения о своей смерти, Лаврентий Павлович был тотчас опознан Андреем Фотографом, который, схватив пришельца за ухо и едва ворочая языком, пробормотал: «Если сбрить бороду, нос сделать вот так, а уши — так, — будете вылитый!» Преследуемый городскими псами, незнакомец бежал и укрылся в Красной столовой.

Наливая клиенту умеренно разбавленное пиво, Феня как бы между прочим поинтересовалась: «А пенсне где потеряли, Лаврентий Павлович?» Мужики кое-как оторвали человека от Фени и на всякий случай выбросили на помойку, где он и приходил в себя до утра в компании Кольки Урблюда, цыгана Сереги и дюжины дикорастущих котов.

В начале жизни в нашем городке он предъявил документы, выписанные, разумеется, на чужое имя. Впрочем, кого интересуют бумаги, если человек устраивается подручным к Пердиле, паромщику, жившему в покосившейся дощатой будке в прибрежном ивняке, где он гнал самогон из опилок и каждый вечер принимал женщин. Лаврентий Павлович послушно топил печку, лаял на прохожих и управлялся с паромом, пока начальник спал, дрях или подремывал. По утрам на береговом песке паромщик освобождал нутро от переполнявших его газов с такой силой, что доверчивые уклеики всплывали вверх брюшком, и долго прочищал глотку матерщиной по адресу рабочих, возводивших деревянный мост близ паромной переправы. Мост грозил лишить паромщика верного куска хлеба с верным стаканом водки, подносимым ему каждой свадебной или похоронной процессией. Несколько раз Пердила подсылал на стройку Берию с банкой керосина, и всякий раз вылазки завершались безрезультатно: сырое дерево гореть не желало. За это экс-министр бывал жестоко бит.

В конце концов мост построили, а паром разобрали на дрова. Паромщик запил и забузил. Через неделю его обнаружили в ивняке с трехгранным напильником в затылке. И хотя осудили и посадили за это Ваську Петуха, жена которого иногда навевывалась в домик у реки, мы-то понимали: виноват Берия. Только он мог воткнуть напильник так, что его не смогли ни выдернуть, ни вырезать, ни выломать, почему и пришлось хоронить паромщика лицом вниз.

Во всем, во всем был виноват Лаврентий Павлович — и никто другой. Из-за него тонули телята в вонючих канавах на Стадионе, залитых мазутом с толевого завода. Из-за него четырежды за десять лет не уродилась картошка. Из-за него молния спалила два дома на Семерке и один — за Фабрикой. Из-за него утонули отец и сын Мухановы — в лодке, бездарно изготовленной руками сына; их тела не обнаружили, хотя и говорили, что браконьеры, глушившие рыбу тротилом, взрывом подняли обнявшихся Мухановых с илистого дна Преголи, — и так, обнявшись, они спустились по течению, пересекли Балтийское море, без лоцмана прошли Большой и Малый Бельты, Эресунн, Каттегат и Скагеррак — и отправились в вечное плаванье по бескрайним погостам океана... Из-за Берии мальчики вырастали хулиганами, мечтавшими об исправительной колонии, а девочки — бесстыжими девственницами, мечтавшими о

хулиганах. Из-за него месяцами лили дожди и зеленая плесень проедала дома до людей. Из-за него в июне было тридцать дней, а в июле — тридцать один. Из-за него мы рождались и умирали. И хотя и находились умники, пытавшиеся утверждать нечто иное, мы-то понимали: виноват Берия. И больше никто.

Женился он на бабе по прозвищу Мясо. Эта бесформенная колода то и дело попадала то под поезд, то под сокращение на службе, то под пьяного мужика, и рожала что придется: котят, мышшей или даже зеленых чертиков, которые — неспроста же! — все чаще являлись почти трезвым мужикам. Само собой разумеется, что он все отрицал, утверждая, что никакой он не Лаврентий Павлович, а Николай Николаевич, и не грузин, а родом из Скотопригоньевска, и никогда не был министром, поскольку умеет читать и писать, и вообще его прабабка путалась то ли с конокрадами, то ли с евреями, то ли с какими-то другими негодьями. Вздор. Кого могут убедить подобные доводы!

Однажды он попытался дать деру из городка, но был достигнут на две тысячи семьсот тридцатом километре пути и возвращен. Убедившись, что никуда ему от нас не деться и на мякине нас не проведешь, Берия затих и затаился в должности городского ассенизатора. Оседлав протекающую во многих местах вонючую бочку, он методично объезжал дворы и четыре места общего пользования, лицемерно отказываясь вступать в политические разговоры о погоде и видах на картошку. Ходил он во френче, застегнутом на костяные пуговицы, крашенные фиолетовыми чернилами, и в высоких болотных сапогах. В долг он никому не давал, поэтому у нас были все основания считать, что Берия копит деньги, заворачивая купюры в презервативы и пряча в задний проход.

И так продолжалось до появления в городке негра Вити, ветерана африканского партизанского движения, знавшего семьдесят пять эпитетов к слову «песок» и наизусть цитировавшего Полное собрание сочинений.

Спасаясь от преследования колонизаторов, Витя в одиночку пересек пустыню Калахари, питаясь сухими колючками и каплями росы, собиравшимися под утро на вороненом стволе автомата ППШ. Его следы затерялись в непроходимых джунглях Экваториальной Африки, а обнаружались в непроходимых зарослях бузины между баней и базаром, куда Витя выбрел, ориентируясь на запах женского туалета и не утратив в пути ни идеалов, ни четырехзубой вилки, бережно хранимой за голенищем сапога. В нашем городке он сразу почувствовал себя как дома. Он полюбил сушеного леща под слегка разбавленное пиво и воплящих от неожиданности и восторга русоволосых женщин, иногда забредавших к нему на огонек выразить солидарность с борющимися народами далеких от городка стран. Бабы и обнаружили на покрытой шрамами Витиной груди некий

предмет, вброшенный под кожу. То была спрятанная от врагов металлическая фигурка Генералиссимуса, служившая Вите чем-то вроде амулета. Утверждали, что и Витина мужская сила зависела от благорасположения фигурки, и когда Генералиссимус был добр к негру, вопли из его каморки привлекали со всей округи судорожно мяукающих кошек женского пола...

Поскольку ничего, кроме как стрелять по неуверенно движущейся цели, Витя делать не умел, его и приставили помощником к Лаврентию Павловичу. И с первого же дня Берия люто возненавидел бедного негра. Во-первых, за то, что тот беспрестанно приставал с расспросами о Вожде. «Дерьмо, — отвечал Лаврентий Павлович, — дерьмо и дерьмячье дерьмо — вот и все, что меня интересует». Во-вторых, за то, что Витя любил спорить. «А спорим, что Сталин — сын Ленина? Незаконнорожденный!» В-третьих, за то, что с утра до ночи Витя распевал во все горло бессмертную зулусскую поэму «Вопросы ленинизма. Издание одиннадцатое. Государственное издательство политической литературы. 1945 г. Уполномоченный Главлита N А32018. Печать с матриц 1941 г. Цена 3 р. 50 к. Первая Образцовая типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва, Валовая, 28. Заказ N 3907». «Дерьмо, — прерывал его Лаврентий Павлович, останавливая лошадь возле Красной столовой. — Дерьмячье дерьмо». — «Ты должен быть расстрелян как враг народа, — заботливо качал головой Витя. — Ты народный враг». И оба шли пить пиво, которое очень любили.

Столкновение между ассенизаторами было неизбежно, и даже удивительно, как оно не случилось раньше пятого августа, дня полочки.

В тот роковой день, как на грех, в Красную столовую завезли свежее пиво. И, как на грех, Лаврентий Павлович по такому случаю заказал на одну кружку больше обычного. «А спорим, — загорелся вдруг Витя, — тебе не выпить сто кружек? И чтоб не ссать! Спорим?» Берия с ненавистью воззрился на негра — и вдруг сдавленно прошипел: «Спорим. На сто рублей». В столовой воцарилась тишина. Мужики переглянулись: ясно, что на такую сумму мог спорить лишь враг народа. Витя шлепнул на стол деньги и велел Фене наливать. Он хохотал как безумный, не спуская глаз с давящегося пивом Берии. Но, когда тот, все так же давясь, осилил семьдесят пятую кружку, негр лишь кисло улыбнулся. Собравшиеся в столовке мужики зорко следили, чтобы враг народа незаметно не улизнул в сортир. Но Лаврентий Павлович только все больше раздувался и все более злобно выдыхал после очередной кружки. Допив последнюю, он сгрел Витины деньги, плюнул негру под ноги и, тяжело чавкая сапожищами, направился к выходу. Толпа подхватила понурившегося Витю и выплеснулась во двор.

Лаврентий Павлович с трудом вскарабкался на бочку, откинул люк и принялся стягивать сапог, из которого хлынула желтая струя.

Несколько мгновений мужчины ошолобенело наблюдали за Берией, пока Колька Урблюд не воскликнул: «Да он где пил, там и ссал!»

Как смеялись мужики! Как они хохотали! И чем больше они веселились, тем ярче разгорались гневом глаза ветерана партизанского движения. «Обдурил! — наконец не выдержал он. — Обдурил, палач!» — «Зато честно обдурил», — попытался урезонить его Урблюд.

Витю не успели остановить. Выхватив из-за голенища четырехзубую вилку, он птицей взлетел на ассенизационную бочку и одним ударом в сердце лишил жизни бывшего министра Лаврентия Берия. Оба, не удержав равновесия, рухнули в бочку.

Наши попытки извлечь их тела оказались безрезультатными. Так и пришлось их хоронить — в бочке, полной дерьма. И, хотя в могилу высыпали полторы тонны негашеной извести, сами понимаете, кладбище вскоре пришлось закрыть.

С тех пор стаи мирных ангелов норовят поскорее прошелесть над средоточием, центром и пупом этого мира или даже обогнуть город городов, раскинувшийся на семи холмах, украдкой обогнуть и скрыться в густой тьме августовских ночей, пахнущих плесенью, свиньями и ассенизационной бочкой, вместилищем смерти и скорби...

ХИТРЫЙ МУХ

Настоящая фамилия этого скрюченного человечка с плоской, как блин, макушкой и косящими глазами, наезжающими на клубничину носа, наезжающего на неровно вырезанные губищи, — Мухоротов. Леонтий Мухоротов. Но в городке его знали только по прозвищу — Хитрый Мух. Сторож парка культуры.

— Чего ты там охраняешь? — выпытывали мужики. — Ломатую качель? Или бабу с веслом?

Леонтий хитро улыбался.

— Секрет.

— Какой такой секрет?

— Я знаю, что я знаю, — уходил от прямого ответа Хитрый Мух, тщетно пытаясь натянуть кепку с жеваным козырьком сразу на оба уха. — Тайна.

В парке среди лип с гнилым нутром и буйных зарослей бересклета белели остовы аттракционов, увитые воробьиным виноградом, скрипел дверью пневматический тир, где за обитой мятым алюминием стойкой лязгал протезными руками и ногами сизоносый Виталий, всегда державший для дружков дежурный «маленковский» стакан, и высились там и сям гипсовые фигуры спортсменов с гипсовыми мускулами, рыбаков с чудовищными гипсовыми осетрами в руках и шахтеров — в позах, заставлявших предполагать вывих тазобедренного сустава. Забора не было, зато были ворота — всегда аккуратно выкрашенные ядовито-синей краской и всегда при замке, который Хитрый Мух ежеутренне торжественно отпирал и ежевечерне запирали, по-хозяйски покрикивая на пробегавших вдали прохожих: «Парк закрыто! Закрыто!»

Из окон его домика открывался вид на аллею с монументальной задницей девушки с веслом на переднем плане. Скульптуры

были главной его любовью и заботой. С утра до вечера бродил он по парку с ведерком разведенного мела и тщательно замазывал трещинки на гипсовых локтях и пятнышки на гипсовых коленях. Особым вниманием пользовалась девушка с веслом, чьи гипсовые формы Мух обихаживал с неподдельной любовью, непрерывно борючая при этом какие-то заклинания.

Жил он одиноко и замкнуто, даже в общественную баню не ходил, что заставляло подозревать наличие у него какого-нибудь физического недостатка — вроде хвоста или крыльев. А поскольку вдобавок он и водку не пил, и держал свой дом открытым для бродячих кошек, которых иногда кормилось и роилось у него до трехсот, и, в довершение всего, занимался селекцией животных и растений, — почитали его за полупомешанного.

Да, селекция была его страстью, неуправляемой и бестолковой, как всякая страсть. Он скрещивал все со всем: смородину с крыжовником, репу с малиной, кошек с козами, овец с летучими мышами... Результаты опытов буйно цвели, росли, бегали и орали в саду и в парке, пугая случайных прохожих и дружков сизоносого Виталия. То вдруг мышь дерзко мяукнет на слабонервную Граммофонику, то овца какнет с дерева на Кольку Урблюда. К счастью, большая часть тварей просто дохла, не оставляя потомства.

— Бросал бы ты это дело, — хмуро советовал Виталий. — На кой тебе это?

— Да что ж, — жмурился Хитрый Мух. — А вот если кошку с собакой скрестить, какая животная получится?

— С драной жопой, — тотчас отвечал Виталий. — Морда вечно будет на хвост кидаться. Ты лучше женись.

Хитрый Мух задумчиво кивал.

Раз в три-четыре года ему и самому приходила в голову эта мысль. Свахи предлагали ему невест, Хитрый Мух ходил в гости, пил чай, глядя в стол и то и дело норовя натянуть кепку с жеванным козырьком сразу на оба уха, — и в конце концов отказывался.

— Не, — отмахивался он от упреков Виталия, — нам таких не надо. Глухая она.

— Да зачем тебе слуховитая? — яростно лязгал протезами Виталий. — Скрести ее с курой — яйца несть будет. Польза. А?

Хитрый Мух долго мялся, пока, наконец, не выдавливал из себя, словно великую тайну:

— Некрасивая она...

— А ты! — срывался Виталий. — Помесь негры с мотоциклой! Кому ты нужен?

— Нужен, — хмурился Мух, — не может быть, чтоб никому не нужен.

Виталий долго смотрел ему вслед, машинально выборматывая ругательства, но в душе восхищаясь Хитрым Мухом, хотя и не мог даже себе ответить — почему.

На зиму сторож тщательно укутывал статуи соломой и мешковиной, но к весне дрянной гипс растрескивался, и с каждым годом приходилось тратить на поддержание скульптур все больше замазки и мела.

Зимой в заснеженном парке, кроме Муха, каждый день появлялся только сизоносый Виталий, упрямо просиживавший свой рабочий день за стойкой, потягивая самогон с крепким чаем и читая «Братьев Карамазовых».

А весной Виталий рехнулся. Однажды в полдень он вдруг выскочил на крыльцо тира с пневматической винтовкой и, вопя что-то невразумительное, открыл беглый огонь по кошкам, Муху и Буянихе, забежавшей к Леонтию за солью. Когда примчалась «скорая», Виталий забаррикадировался в своем вагончике и отстреливался до последней пульки, потом обделался и свалился под стойку, откуда его, нестерпимо воняющего и неуправляемо лягающего протезами, кое-как извлекли и засунули в машину. Стальная его нога заклинила дверцу. Санитар плюнул и велел ехать. Машина тронулась под истошный вопль Виталия: «Свободу братьям Карамазовым! Урра-а-а!»

Оставшись один, Хитрый Мух как-то незаметно сдал. Он пристратился к чтению «Трех мушкетеров» и «Братьев Карамазовых» вслух под сенью девушки с веслом. Время от времени он вдруг замолкал и пытливо вглядывался в гипсовое лицо. А когда наступила зима, перетащил статую в свой дом.

В первую же ночь отогревшаяся девушка отставила весло в сторонку и, стыдливо пунцовея, стянула с себя трусы и майку. «Жмут, — смущенно прошептала она, робко взглядывая на приподнявшегося на локте мужчину, — и натирают».

И Хитрый Мух, наконец-то уразумевший, зачем он живет на этом свете, задыхаясь, принял ее в объятия.

Через несколько дней алкоголик Митроха, по привычке забредший в парк, наобум толкнулся в дверь к сторожу. Хитрого Муха он нашел в обледенелой спальне. Рядом с ним безмятежно спала девушка без весла. Ее заиндевелые волосы красиво разметались по подушке. Митроха на цыпочках удалился.

При осмотре и вскрытии никаких физических изъянов у Хитрого Муха не обнаружилось. В поисках клада добровольцы перерыли весь дом, сад и парк, но — ничего не нашли. Так мы и не узнали, в чем же заключалась хитрость Хитрого Муха и в чем — тайна.

Гипсовую девушку бросили в кусты бересклета — растрескавшуюся, с вытянутой вперед рукой и чуть приоткрытыми чувственными губами. Буяниха положила ей на веки два медных пятака. В голове у нее помутилось, горло сдавило, и Буяниха медленно осела наземь, глотая слезы и массируя грудь: сердце ныло и не отпускало.

— Господи, — прошептала Буяниха, — жизнь это наша — или сон Твой, Господи?..

АЛЛЕС

Да-да, счастливы только слепые, так уж устроен мир. Только на их долю не выпали все те волнения, которые чуть было не привели к гибели городка. Только они не могли и не смогли прикинуть к глазку в стенке ящика, стоявшего посредине задрапированного алым плюшем помещения, над входом в которое этот мошенник повесил написанную от руки табличку: «Ателье “Исполнение желаний”». Цена договорная». Кто-то говорил, что владелец ателье проник в городок под видом разложившегося мертвеца в запаянном цинковом гробу, кто-то вспоминал какого-то племянника Светки Чесотки, которого днем она якобы держала под замком в подвале, а ночью выпускала в огород, где он выращивал такую морковь, что женщины стеснялись брать ее в руки при свидетелях... Как бы там ни было, когда освободилось помещение старой аптеки, этот-то человек — метр с кепкой, утопленные едва не до затылка глаза и скрипящие на весь городок ортопедические ботинки — и устроил здесь свое ателье: алый плюш на стенах, черный ящик на треноге, цена договорная, дети до шестнадцати.

Что означает договорная цена, выяснилось в первый же день и вызвало в городке неподдельное веселье. «Чем хотите, тем и платите, — объяснил хозяин. — Договоримся. А после смотрите сюда — и аллес».

— Чего? — не поняла Буяниха.

— Аля-улю, — перевел на русский язык Колька Урблюд.

— Жулик! — возмутилась Феня из Красной столовой. — Вот я выведу его на чистую воду!

Собственноручно отловив и умертвив крупную рыжую крысу, Феня завернула ее в салфетку с надписью «общепит» и решительным шагом направилась к ателье, у дверей которого уже собралось почти все взрослое население городка. Медово улыбнувшись, Ал-

лес недогнувшей рукой принял крысу и театральным жестом пригласил Феню к аппарату.

— Вы увидите себя, — прожурчал он, — вы увидите исполнение самых—самых! — сокровенных своих желаний, о которых, быть может, и сами не подозреваете. Вы заглянете в свое будущее.

Через десять минут в дверях показалась бледная Феня с физиономией дохлой крысы. Она слепо шагнула на тротуар. Толпа раздалась. Феня сделала несколько неуверенных шагов.

— Неужто видела? — остановил ее дед Муханов.

— Видела, — прошептала Феня. — Видела, господи боже мой.

И рухнула могучим бюстом в лужу.

— Кто следующий? — сладко пропел Аллес, обводя толпу глазами-утопленниками.

И мы поверили — и повалили.

Расплачивались кто чем мог. Кто десятком яиц, кто рублем, а кто и горстью дохлых мух, — все безропотно принимал Аллес. На подгибающихся ногах приближался клиент к черному ящику и, поглубже вдыхая запах нафталина и стеклянно скрипя позвоночником, принимал к глазку. Пять минут для выстроившейся за дверью очереди тянулись как пять лет, но мы не роптали, ибо каждый пытался понять, почему счастливы, побывавшие в ателье, ничего никому не рассказывают. Ничего и никому. Кто-то выходил оттуда посмеиваясь, кто-то с перекошенной физиономией, кто-то сразу направлялся в Белую столовую напротив и требовал у Люси «триста без закуси», кто-то же убредал на кладбище и дотемна сидел на лавочке у могилы родителей... Но — никто никому ничего не рассказывал. Мать дочери, сын отцу, жена мужу, подчиненный начальнику — ни гугу. Известная склонностью к словесному недержанию Граммофониха, не полагаясь на свои силы, без наркоза зашила себе рот рыболовной леской.

После посещения ателье председатель поссовета Кальсоньч вдруг отказался от своей ежедневной порции самогонки с куриным пометом и прогнал с глаз долой дурочку Общую Лизу, явившуюся, как всегда, исполнить последнее дневное желание начальника — оно же первое ночное.

Директор музыкальной школы по прозвищу д'Артаньян наконец решил и сделал предложение руки и сердца Алле Пугачевой, с портретом которой он тайно сожительствовал в одной комнате уже восемь лет.

Лесхозовский бухгалтер Глаз Петрович утром тщательно выбрился, надушился и, глядясь в помутневшее зеркало, чтоб не промахнуться, аккуратно перерезал себе горло от уха до уха.

Одновременно начались в городке и странные исчезновения. К примеру, исчезла неведомо как, когда и куда бульжная мостовая

от тюрьмы до Банного моста. Разом пропали все собаки черного цвета, а также рыбы сорта уклейка из Преголи и Лавы. За ними — пишущие машинки, у которых отсутствовали литеры «ч», «р» и «т». Грузинский чай высшего сорта, которым дед Муханов набивал свои сигареты. Плакат над вывеской магазина головных уборов — «Шляпы партии — шляпы народа». Ночной шелест ивовых зарослей между базаром и баней. Запахи туи на старом кладбище. Мухи.

Однажды дед Муханов не обнаружил ступенек у сберкассы, на которых обычно собирались старики, чтобы рассказать друг другу одну из тридцати трех любимых историй, — и словно пелена спала с его глаз. Он узрел труп городка — без позеленевших от вечной сырости заборов и гудящих над помойками мух, без плывущего по Преголе дерьма, без пишущих машинок, у которых отсутствовали литеры «ч», «р» и «т», без неукротимого бабника Глаза Петровича, чей стеклянный глаз излучал энергию, прожигавшую женские юбки до трусиков, без шляп партии и шляп народа... Узрел, ужаснулся и воскликнул:

— Аллес!

Откликнувшиеся на его призыв мужчины и подростки до шестнадцати лет бросились к ателье «Исполнение желаний», но, разумеется, уже не застали там Аллеса с утопленными до затылка глазами и скрипящими на весь городок ортопедическими ботинками. Никто не внял просьбам деда Муханова пощадить черный ящик для науки, — аппарат разбили на мелкие кусочки, каковые истолкли в ступе, облили керосином и сожгли, а пепел доверили сожрать Аркаше Стратонову, поскольку твердо были уверены: уж из него-то, кроме говна, ничего не дожدهшься.

Акция возымела успех. Постепенно в городок вернулось все, что исчезло, вплоть до Фениной дохлой крысы, завернутой в салфетку с надписью «общепит». Волнение улеглось, и только счастье, кажется, ушло от нас навсегда — ото всех, кроме слепых, разумеется. Так уж устроен мир: счастливы только слепые...

КИТАЙ

Поздним весенним вечером Катя Одиночка услышала шум у входной двери. Набросив на плечи платок и вооружившись кочергой, она выглянула наружу. На крыльце, лицом к стене, лежал мужчина. Катя присела на корточки и издали ткнула его кочергой в плечо. Он глухо застонал и отвалился на спину. Лицо его было черным от крови. Втащив незнакомца в прихожую, Катя убедилась, что водкой от него не пахнет. Она разбудила жившего напротив Юозапаса, который беспрекословно запряг лошадь и отвез мужчину в больницу. Вернувшись домой, Катя обнаружила на крыльце чемоданчик, перевязанный шпагатом. Бросила чемоданчик под кровать и легла рядом с дочкой.

Спустя два дня в гостиницу за рекой прибрел, шатаясь и хватаясь руками за заборы, мужчина с огромной от бинтов головой. Охнув, Одиночка схватила его за руку и потащила в свою комнату.

— Чемодан, — прохрипел он. — Где мой чемоданчик?

— Тут он, тут, — успокоила его Катя. — Ложись-ка.

— Хлеба дай, — попросил мужчина. — Черного.

Она принесла кирпич свежего хлеба. Сжав зубы, мужчина содрал бинты и облепил бритый череп еще теплым хлебным мякишем. Катя уложила его в большой комнате, а сама перебралась в чуланчик к дочке.

Неделю незнакомец не принимал пищу и не откликался на известные Кате мужские имена. С утра до вечера она хлопотала по гостинице, вечерами беззлобно переругивалась с пьяненькими командирами (так в городке называли немногочисленных командированных, приехавших на бумажную фабрику), то и дело норовившими ее облапить, и поздно вечером, поцеловав шестилетнюю

Сонечку, сваливалась на тюфяк, в глубокий и безрадостный сон. Ей снился ее первый муж, уехавший на Север зарабатывать большие деньги и там сгинувший, второй муж, выпивший с похмелья залпом бутылку «мутиловки» — метилового спирта — и тотчас скончавшийся, третий муж, отец Сонечки, утонувший на грузовике в весенней реке. «Невезуха, — говорила она бабам с виноватой своей улыбкой. — Видно, на роду написано». Была она маленькая, худенькая, с тощей шейкой, на которой торопливо пульсировали тонкие жилки.

Когда, наконец, незнакомец пришел в себя и впервые поел, Катя отвела его к доктору Шеберстову.

— Хлебом, говоришь, залепил? — Доктор быстро ощупал голову пациента. — Не говном — и то хорошо. Кружится? Болит? Руки не дрожат? Покажи.

Вместо того чтобы вытянуть руки перед собой, мужчина достал из кармана нож с выскакивающим лезвием, которое кончиком прижал к толстой пачке писчей бумаги, лежавшей на столе.

— Сколько?

— Чего? — не понял доктор.

— Проколоть сколько?

— Ну... девять, — сказал Шеберстов.

— Считай. — Мужик спрятал нож в карман. — Девять.

Шеберстов отсчитал девять листов бумаги, прорезанных ножом, и устался на десятый, на котором не осталось и следа.

— Не дрожат, — сказал мужик. — Спасибо.

— Ну и ну, — сказал Шеберстов. — Как я понимаю, такие ножики пером называются? Так ты постарайся пореже его здесь у нас вытаскивать.

По дороге мужчина купил водки, колбасы, шоколада и золотые часики — для Кати.

— Мне? — ахнула Одиночка. — Слушай... как тебя зовут-то хоть?

— Зови Петром. — Он пожал плечами. — Какая разница.

Перед тем как лечь спать, она примерила золотые часики на Сонечкину руку. Часы соскользнули к локтю. Катя поцеловала счастливо улыбающуюся в полусне девочку, от которой пахло шоколадом, брызнула под мышку духи «Красная Москва», подаренные профсоюзом к женскому дню, и поправила лямки ночной рубашки на худеньких плечах. Вдруг спохватилась и взялась стричь ногти на ногах — плотные и искривленные плохой обувью.

— Ну чего ты там? — позвал Петр. — Или заснула?

С недостриженными ногтями, пахнувшая потом и духами, чуть косолапя от смущения, Катя боком пробралась по стенке в комна-

ту, легла на кровать, стараясь выпятить грудь так, чтобы она казалась больше, — и в очередной раз начала новую жизнь.

Отыскав на чердаке кресло-качалку, Петр при помощи проволоки и гвоздей кое-как починил его и целыми днями просиживал, уставившись на стену перед собой, на которой повесил небольшую карту Китая. Одиночка не спрашивала его ни о чем. А он в иной день мог не произнести ни слова: завтракал, обедал, ужинал — и все молчком. Да сидел в кресле перед картой, покуривая папиросы.

За суетой по гостиничным делам Катя и не заметила, когда и куда исчез чемоданчик из-под кровати. «Я убрал», — только и сказал Петр. В конце месяца она нашла на столике перед зеркалом пачку денег. Пересчитала — и у нее перехватило дыхание.

— Да если я с такими приду в магазин, меня засмеют, — прошептала она ночью Петру в плечо. — Или посадят. Это из чемоданчика, что ли?

— Трать понемножку, — сказал Петр. — Жизнь прожита.

Катя тихонько засмеялась: ей было хорошо.

Она располнела, стала забывать, как сжимать губы в ниточку, и не опускала глаза, проходя мимо чужих мужчин.

Вечерами Сонечка взбиралась Петру на колени, и он, тихонько раскачиваясь в кресле, рассказывал ей о Китае. Это была страна желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками. Янцзы, Хуанхэ...

— Это где? Что это? — спрашивала Сонечка.

— Вот. Река. Как эта. — Он кивнул на окно, за которым неслышно текла Преголя. — Хуанхэ.

— Эта хуанхэ называется Преголя, — сказала Сонечка. — Значит, наш китай называется Россия?

— Ну да. А ихняя россия — Китай.

По берегам рек там жили люди с крыльями вместо лопаток. Почувяв приближение смерти, они прощались с родными и улетали на озеро Цилинг-цо, где доживали остаток своей вечности, — но живым путь туда был заказан. Китайцы никогда не путешествовали и не воевали, давно поняв, что пространство и время — это одно и то же. Они никого не любили, но никого и не ненавидели. Друг к другу в гости они летали верхом на пышно-красивых фазанах. Питались яблоками и чаем, который рос в садах, подобно траве. Нарочно для детей вывели породу крошечных животных — волков, слонов и тигров, не выраставших больше котенка.

— Хочу такого слоника... — бормотала сонная девочка.

— Бэйпин, — шептал Петр, — Цзинань... Нанкин... Шанхай... Нинбо... Кантон...

Девочка засыпала, он относил ее на кровать в чуланчик, на стене в котором, на вбитом в стену гвоздике, висели золотые часики: Катя стеснялась носить их.

— Какие-то чудеса ты рассказываешь, — сказала она. — Разве такое бывает?

— А какая разница? — не сразу ответил он. — Откуда мы знаем, что такая страна вообще есть? Нету ее.

— Ну... как же... — растерялась Одиночка. — Про Китай все знают... вот и карта...

— Про ад тоже все знают, — усмехнулся Петр. — Все знают, хотя никто там не бывал. И картинки про ад рисуют. Книжки тоже пишут. Я одну такую читал... как мужики по аду путешествовали. — Опустившись в кресло, добавил: — Лет двадцать с собой эту картинку таскаю. Приколю где-нибудь к стенке — и вот я дома. В Китае. Чунцин, Чэнду, Чифу... С ума сойти!

После таких разговоров Одиночке снились мертвые мужья, и она просыпалась, задыхаясь в их объятиях.

На зиму Петр оформился истопником и слесарем в гостинице. Он таскал уголь из подвала, следил за котлом и менял прокладки в вечно текущих водопроводных кранах. Редкие жильцы, пытавшиеся завязать с ним знакомство, чтобы вместе избывать скуку зимних вечеров, наталкивались на непроницаемую стену молчания. Выслушав их, Петр поворачивался к гостю спиной и погружался в созерцание карты Китая.

Весной Сонечка провалилась под лед. Выпив водки, мужики полезли в реку и долго шарили баграми подо льдом, но так и не нашли девочку. Вернувшись домой, Катя зашла в чулан, посмотрела на золотые часики, висевшие на гвоздике, и упала в обморок.

Петр не утешал Катю. Они часами молча лежали в постели. Было так тихо, что хотелось кричать. Одиночка вжималась в его большое тело, но не могла согреться. Однажды она спросила со стоном:

— Миленький, ну почему от тебя ничем не пахнет? Ни потом, ни ногами... Хоть бы подеколонился, что ли...

— Это бесполезно, — возразил он, но вечером умылся тройным одеколоном.

А утром он отправился в поссовет к Кальсонычу и долго о чем-то с ним разговаривал. Потом зашел к столярам в леспромхоз. После — к Чекушке, возглавлявшему нестройную компанию музыкантов, игравших на свадьбах и похоронах.

В четверг звуки духового оркестра вытащили на улицу молодежь и стариков. В похоронной полуторке, выкрашенной черным лаком, стоял украшенный бумажными цветами и туей детский гроб, возле которого сидела полусонная Одиночка. За полуторкой шагал Петр в черном костюме и надвинутой на брови шляпе. За ним на почтительном расстоянии — оркестранты. Пораженные люди по-

тянулись следом, и на кладбище собралась толпа, какой здесь не видели с похорон памятника Сталину (чтобы не отправлять его в переплавку, мужики похоронили его на Седьмом холме с соблюдением всех правил и обрядов).

— Гроб-то пустой, — прошептала Буяниха, дыша чесноком в ухо Кальсонычу. — Не грех это? Человека-то там нету.

— А людей и не хоронят, — невозмутимо ответил председатель поссовета. — Хоронят мертвых.

Воскресным майским днем Петр вдруг остановил кресло-качалку и, не отрывая взгляда от карты, негромко проговорил:

— Вот и все, Катя.

Вечером Одиночка нашла его на крыльце. Он был убит выстрелом в лицо. Возле трупа валялся разодранный на две половинки чемоданчик. Катя взяла у Юозапаса лошадь и отвезла его в больницу.

Спустя час в больницу примчался участковый Леша Леонтьев.

— Прооперировал? — спросил он у доктора Шеберстова.

Доктор вздернул брови на лоб.

— Это называется эксгумацией. — Он поманил участкового пальцем. — Пойдем-ка. Я еще никогда такого не видал.

Они спустились в подвал и мимо кухни прошли низким сырým коридором с кирпичными стенами в длинную комнату, в углу которой лежали плиты серого льда. Шеберстов включил светильник под потолок и откинул простыню. Леонтьев медленно поднес ладонь ко рту.

— Сколько ж это он... И когда?

— Он умер около года назад, — сказал Шеберстов, накрывая простыней нестерпимо пахнущее разложением тело, киселем расползшееся на гранитной плите. — Выстрел ничего не добавил, можешь мне поверить.

Когда они вернулись в кабинет главврача, Леша жадно выпил стакан кислого компота и, отдышавшись, сказал:

— И как я все это объясню начальству? Дела!

— Эти дела касаются живых людей, — сказал Шеберстов.

Катя опустила в кресло и уставилась на карту Китая, желтевшую в сумерках неровным пятном на серой стене. Она и не заметила, как уснула. Проснувшись, зачем-то отыскала на карте Бэйпин. Проглотила застрявший в горле ком и прошептала:

— Бэйпин. — Перевела взгляд. — Хуанхэ...

Хуанхэ на карте, Преголя за окном. Река и река. Тут Преголя, там — Хуанхэ. Тут и тут. Там и там.

— Хуанхэ! — простонала она — и заплакала.

Она вдруг поняла, что отныне обречена на созерцание этой карты, на жизнь в этом Китае — в этом аду...

ПО ИМЕНИ ЛЕВ

Солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол.

Таков закон.

Первым на поле выбежал Яшка Бой — долговязый, щегольски приволакивающий ноги, в черном свитере с заплатанными локтями и цифрой 1 на спине; за ним выпрыгивал на газон резиновый Кацо — круглая бритая голова, черные лохматые брови в половину лба, из середины которого ледокольным форштевнем выплывал огромный нос, упирившийся в густую щетку черных усов; следом — Молодой Лебезьян, сын Старого Лебезьяна, носивший под трусами, для защиты от коварного удара, заговоренную хлебную корку; Серега Старателев, улыбавшийся двумя рядами стальных зубов, перед игрой тщательно надраенных напильником; Колька Урблюд с красной повязкой на правой ноге, каковой ему запрещалось бить пенальти — во избежание гибели вратарей; Котя Клейн с губами алого мармелада, носивший на груди мешочек с собственными зубами — от выпавших молочных до выбитых коренных; Черная Борода, чья шкура, казалось, того гляди треснет под напором мускульного мяса; Старшина с налитыми кровью глазами и черной ниткой вокруг бычьей шеи — на счастье; Толик — горластый и кадыкастый хохмач, умудрившийся однажды на спор завязать свой член узлом; Алимент, «алиментарно» забивавший в каждом матче по голу благодаря бутсе с секретным гвоздем в подметке; наконец, Иван Студенцов, ничем не примечательный, кроме роста...

Под нестройный свист мальчишек, валявшихся на траве за воротами, на поле трусцой выбежал По Имени Лев — нет-нет, не тот известный всему городку парикмахер, похвалявшийся, что может любого побрить ногтем, толстяк в несвежем халате с прорехой на

вислом пузе, — в черной рубашке с белоснежным отложным воротничком, в черных же трусах и гетрах, с мячом под мышкой, с неизменным плоским свистком, прыгавшим на жирной груди, на середину поля выбежал бог-распорядитель футбольного действия, приветствуемый паровым оркестром — только трубы и барабаны — и восторженным хором мальчишек: «На-мы-ло! На-мы-ло!» После обмена приветствиями, выбора ворот и первого свистка По Имени Лев — уж таков был ритуал — легким касанием бутсы вводил мяч в игру и переставал существовать, как бог, некогда запустивший древнюю машину жизни и вмешивающийся в ее ход лишь по нужде, а не по зову.

В перерыве болельщики устраивались на травке у ограды стадиона, вокруг расстеленных газеток, на которых раскладывали свежие огурцы и помидоры, хлеб и разящее чесноком сало, уже чуть согревшееся и расплавившееся, но незаменимое под стакан водки с горкой.

Дети со своими пяточками и гривенниками осаждали огромный автофургон, где Феня из Красной столовой, во всегдашнем своем клеенчатом фартуке, торговала леденцами, печеньем и скрипящим в носу лимонадом.

Успевшие подпить музыканты исполняли «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны» — во главе оркестра совершенно лысый круглый Чекушка с трубой, на отлете — его сын Чекушонок, уныло раскачивавшийся над постылым барабаном.

По завершении игры команда рассаживалась спиной к раздевалке, и Андрей Фотограф запечатлевал на пленку тщательно выстроенную композицию победы: в центре директор фабрики, содержавшей команду и стадион, тренер и По Имени Лев, перед ними на корточках с кубком или вымпелом капитан Черная Борода, по бокам игроки в мокрых от пота алых футболках. После этого из шкафчика, где хранились награды, извлекался вместительный кубок, заполнявшийся до краев водкой. Пили по кругу — игроки, директор фабрики, дед Муханов с вросшей в нижнюю губу, сигаретой набитой вместо табака грузинским чаем, председатель поссовета Кальсоныч, когда-то работавший вместе со Львом в парикмахерской, и даже старуха Синдбад Мореход, зорко следившая, чтобы мальчишки не утащили из раздевалки ее законную добычу — пустые бутылки.

В случае же поражения выпивка естественно перерастала в драку с финальным битьем вечно попадавшего под руку Чекушонка.

Но ни победа, ни поражение не мешали игрокам и зрителям воздавать по заслугам самому честному, самому беспристрастному и самому твердому судье всех времен и народов, каковым, без превеличений и скидок, являлся По Имени Лев. И если закон гласил, что солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, а по воскресеньям бывает футбол, — то можно с чистой совестью добавить: По

Имени Лев никогда не ошибался. Его достоинства были так хорошо всем известны, что иногда федерация разрешала судить ответственные матчи с участием команды из нашего городка. Однажды игроки и зрители сбросились и закупили в гастрономе все запасы лаврушки, чтобы поднести Льву пусть и лохматый, но зато от всего сердца — огромный венок, размером с автомобильное колесо — в знак признания его заслуг.

И вот все рухнуло.

В финале кубка лиги По Имени Лев остановил игру и назначил пенальти в ворота Яшки Боя: Котя Клейн в своей штрафной площадке коснулся мяча рукой.

Потом многие говорили, будто Котино поведение объяснялось очередным больным зубом, но, как бы там ни было, игрок тихо — на весь стадион — проговорил:

— Руки не было. Не было руки, Лева.

Даже глухой от рождения Вася Войлуков услышал, как севшая ему на лысину муха скребет под мышками.

По Имени Лев опешил. С ним никто никогда не спорил. Никто. Никогда. Он всегда был справедлив. Как воплощение закона. Это все знали. В этом никто не сомневался. Даже он сам.

Котя пошатнулся и клацнул зубами.

— Не было руки, — повторил он и рухнул в обморок.

Судья перевел взгляд с Коти на публику. Такого еще не было. Такого и быть не могло.

— Пенальти, — услышал Лев чей-то голос, и лишь мгновенье спустя сообразил, что голос принадлежит ему. — Пенальти!

И дунул в свисток.

— На мыло! — завопил какой-то карапуз, ужасаясь собственной храбрости. — Су-дью-на-мы-ло!

На Льва обрушился оглушительный гвалт, свист и тысячеголосый вопль — «На-мы-ло!». Голоса тех немногих, кто попытался вступить за судью, утонули в урагане звуков, усугубленном ревом парового оркестра.

По Имени Лев свистнул.

Игрок разбежался и ударил.

Яшка Бой прыгнул.

Мяч крутанулся в сетке и лениво сполз на землю.

По Имени Лев на мгновение представил, что сейчас начнется на стадионе и что будет в раздевалке после игры, и пожалел о том, что население городка больше одного человека, да и этому одному лучше б не родиться на белый свет.

Спас его участковый Леша Леонтьев. По финальному свистку он вылетел на своем мотоцикле на поле, завалил Льва в коляску и на всем газу промчался через тучу камней к воротам, которые никто не догадался закрыть.

Очнувшись во дворе своего дома, По Имени Лев жалобно сморщился.

— В чем моя вина, Леша?

Участковый осторожно помассировал синяк под глазом и проворчал:

— Нету на тебе вины, Лев. Ты был прав, но делать этого не следовало. Понял?

— Нет.

Леша вздохнул.

— У тебя правда, а у них справедливость. Ну, терпи: правда — дело одинокое. И гордое. А гордых не любят. Вылазь-ка.

Тем же вечером игроки вызвали Льва в Белую столовую, где сдвинули столы и усадили судью-парикмахера в середину. Тринадцатым был Леша Леонтьев, которого футболисты пригласили на всякий случай, не надеясь на крепость своих нервов.

Выпив водки, они обвинили Льва в несправедливости. В предательстве. В отсутствии патриотизма. В издевательствах над футболом, городком и миром. В надругательстве над законами человеческими и божескими. В гордыне, наконец.

По Имени Лев тоже выпил водки, но отказался признать себя виновным.

В наступившей тишине поднялся Котя Клейн.

— Клянусь, — сказал он, — что руки не было. А если была, пусть она у меня отсохнет.

И так посмотрел на свою правую руку, что всем стало ясно: она не отсохнет даже после того, как тело превратится в пригоршню праха.

Через несколько дней Котя Клейн не справился с управлением на мокрой дороге, машина врезалась в дерево, водитель почти не пострадал, если не считать довольно сильного удара правой стороной тела о приборный щиток. Но именно этот удар и оказался роковым. Не прошло много времени, как рука начала сохнуть. А когда иссохла и повисла жгутиком, Котя Клейн покончил счеты с жизнью. В гроб ему положили мешочек с зубами — от выпавших молочных до выбитых коренных.

— Ну, рад? — спросил Колька Урблюд у Льва. — Добился своего?

— Я?! — поразился По Имени Лев. — Да ты что, Урблюд!

— А кто?! — поразился Колька. — Не я же!

Похороны Коти Клейна на несколько часов примирили жителей городка, разделившихся на тех, кто считал Котю нарушителем правил (таких было ничтожное меньшинство), и тех, кто винил во всем Льва. Но после похорон люди, симпатизировавшие судье-парикмахеру, уже не осмеливались даже здороваться с ним.

Когда на следующее утро По Имени Лев обнаружил у своего порога первую дохлую кошку и понял, что последнюю ему подбросят в день его похорон, он выпрямился во весь рост, то есть выпятил пузо, и прокричал в небо:

— Я не виновен!

— Виновен! — откликнулось эхо.

Солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол. Солнце может взойти на западе, Прокурор может напиться в лоск, но в воскресенье все равно будет футбол.

И вот закон рухнул.

Колька Урблюд запил.

Лопнула и больше не завязывалась черная нить на бычьей шее Старшины.

Дочка Льва вышла замуж за Черную Бороду, после чего единственным живым существом в доме, с которым По Имени Лев мог без крика поговорить, стало его отражение в зеркале.

В магазине вместо хлеба ему протягивали завернутый в бумагу булжжик. Постоянные клиенты предпочитали резаться тупыми бритвами, чтобы не ходить в парикмахерскую. Дети перестали играть в судью, важно выбегающего на поле со свистком на жирной груди. Люди проходили мимо Льва, словно его и не было. Никто не обращал внимания на его многодневную щетину, сумасшедший блеск в глазах и нетвердую походку.

— По Имени Лев? Восьмая могила слева на Седьмом холме, — отвечали интересующимся, искренне полагая, что говорят правду и ничего, кроме правды.

Однажды Лев ради шутки побывал на кладбище и убедился, что на памятнике, украшавшем восьмую слева могилу на Седьмом холме, было и впрямь начертано: «По Имени Лев. Парикмахер». И ни даты рождения, ни даты смерти, словно под землей лежал бесплотный дух. Бесплотное имя. Имя справедливости.

— Справедливости, которая никому не нужна, — прошептал Лев.

Поначалу он еще пытался спорить с мужчинами, забредавшими в парикмахерскую, но вскоре убедился, что это бессмысленно: один незнакомец остановил его изливания нетерпеливым жестом и сказал:

— Дальше я знаю: он умер и его похоронили в обнимку с футбольным мячом. Люди не помнят зла. Под бокс, пожалуйста. Одеколонить не надо.

Когда же он — ради шутки — украл на базаре яблоко и никто этого не заметил, хотя видели все, включая торговку, — Лев понял, что он и впрямь умер.

Он заколотил входную дверь, задернул шторы и отрастил бороду. Он устроился в парикмахерскую под другим именем и перестал

обращать внимание на все усложнявшуюся историю того рокового футбольного матча, исход которого решил пенальти — «несправедливый», как утверждали одни, — «справедливый», не соглашались другие. С годами тех, кто принимал сторону судьи, становилось все больше. Бородатый парикмахер кивал, соглашаясь со всеми, но в спорах не участвовал: «Я ничего не понимаю в футболе. Да и когда это было? Лет пять или шесть назад? Височек прямой либо закосим?» — «Пожалуй, что и все десять», — задумчиво кивали старики.

По воскресеньям он отправлялся на кладбище, где подолгу сидел на лавочке в ограде, глядя на мутную фотографию веселого судьи с плоским свистком на жирной груди. Иногда он прихватывал с собою ведро с краской или молоток и гвозди. Могила была ухоженной. Раз в год из соседнего городка приезжала дочь, непременно появлявшаяся на кладбище с мужем и детьми. Она благодарила доброго человека, который ухаживал за могилой отца, и совала ему в руку бумажку-другую. Черная Борода наливал стакан водки: «Помянем Льва, хороший был человек, таких судей — поискать. И тот пенальти — слышали? — он назначил правильно». Поминали.

После кладбища Лев шел на стадион. Ограду давно повалили, ворота сгнили и упали, раздевалку растащили по кирпичику. По кочковатому газону бродили коровы и гуся.

Вечерами он допоздна засиживался в парикмахерской перед бездонным зеркалом, время от времени подливая в мензурку спирт из маленькой бутылки, спрятанной от уборщицы в тумбочке с инструментами. Пил, пока в зеленоватой глубине зеркала не появлялись лица футболистов, разинутые рты зрителей и счастливые глаза мальчишек, восторженно приветствующих судью традиционным: «На-мы-ло!»

У него случился инфаркт. В больнице он открыл доктору Шербосту свое подлинное имя.

— Я умер прежде смерти, доктор, — сказал он. — Я одинок.

Он рассказал о своих ежедневных трапезах: каждый день в супе плавал лавровый листок, оторванный от большого венка, когда-то поднесенного ему больельщиками и игроками.

— Все мы умираем прежде смерти, — резонерски заметил Шербостов. — И что имя? Звук.

— Но только имя и остается на памятнике, — возразил Лев, послушно глотая пилюлю.

Выйдя из больницы, он встретил Кольку Урблюда, который и в Белую столовую притащился в обнимку с зеленым чертом, вот уже несколько лет водившим с ним компанию. Была суббота, и Колька безудержно выкрикивал оскорбления в адрес тех, кто порушил мировой закон, отменив по воскресеньям футбол.

— А виноват во всем Котя Клейн, — заключил Колька. — Если б не его упрямство, если б не пенальти...

— Ложь, — заявил Лев. — Котя не виноват.

— Тогда судья виноват, — не унимался Колька, подзуживаемый чертом. — Кто-то же должен быть виноват, футбола-то — нет.

— И судья не виноват, — стоял на своем Лев.

Вконец запутавшийся Урблюд осыпал собеседника оскорблениями. И тогда По Имени Лев вызвал его на дуэль.

На следующий день городок встрепенулся от нестройного рева духового оркестра, и тысячи людей поспешили на стадион. Скотину прогнали с поля, установили новые ворота, в которых занял место По Имени Лев — в черной рубашке с белоснежным отложным воротничком, черных трусах и гетрах. В штрафной площадке кучковались игроки: вислобрюхий Яшка Бой, резиновый Кацо с четверкой сыновей, вечно что-то жующий и давно не молодой Молодой Лебезьян, сын Старого Лебезьяна, Серега Старателев со ржавыми зубами, Колька Урблюд в обнимку с чертом-приятелем, хмуро поглядывавшим на Черную Бороду и Старшину, Толик, потешавший публику новым фокусом: кончиком языка он касался мочек ушей, Алимент и Иван Студенцов... Да, они приняли условие Льва: если хоть кто-нибудь забудет хоть один гол, судья-парикмахер повинится в ошибке перед всем честным народом, а с Коти будет снято обвинение в нечестности.

Первым по свистку пробил Яшка Бой. Это был коварный подкрученный мяч в нижний левый угол ворот, но Лев лишь лениво подставил ногу. Гола не было. Кацо ударил, как из пушки, в грудь вратарю, — Лев принял мяч ладонями и тотчас отправил его под ногу Молодому Лебезьяну. Но ни Лебезьяну, ни Черной Бороде, ни Старшине, ни Сереге Старателеву, ни Толику, ни Алименту (который нарочно надел свою заветную бутсу с секретным гвоздем в подметке), ни Ивану Студенцову не удалось пробить вратарскую защиту. По Имени Лев согласился, чтобы за Котю Клейна пробил любой желающий. Таких желающих нашлось немало: бил дед Муханов, била старуха Синдбад Мореход, не выпускавшая из рук авоську с пустыми бутылками, бил Кальсоныч, била Буяниха, наскочившая на мяч, как қочет на курицу, бил участковый Леша Леонтьев, бил Прокурор, бил доктор Шеберстов, бил зеленый черт, старательно отводивший Льву глаза, и даже мне дали разок ударить, — безрезультатно, никто не смог забить гол, а Лев даже не вспотел, лишь становился все бледнее. И тогда Колька Урблюд снял с правой ноги красную повязку и ударил. Мяч замер в руках у Льва.

Лев вдруг осел, повалился набок — и замер с улыбкой на губах. Он умер.

— И кто же выиграл? — шепотом поинтересовался Кацо.

— Мы, — прохрипел Урблюд. — И он.

Его похоронили с мячом в руках, в судейской форме, со свистком на жирной груди, и никогда еще Чекушка с Чекушонком не играли так слаженно и проникновенно — «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны». На кладбище его провожали всем городком. Его могила — восьмая слева на вершине Седьмого холма. На памятнике начертано: «По Имени Лев. Лев Исаакович Регельсон. Парикмахер». И ни даты рождения, ни даты смерти, словно лежит в земле бесплотный дух, родственный бесплотному же закону: солнце восходит на востоке, Прокурор не пьет, по воскресеньям бывает футбол...

БРАТЯ МОИ ЖАВОРОНКИ

Всю жизнь Чекушонок мечтал об одиночестве. На людях он смущался, терялся, норовил забиться в угол или за спины, лишь бы насмешники не заметили его и не стали привычно вышучивать его нелепую — клочковатую и кустистую — внешность. Голову его следовало бы вылепить из пластилина неумелый и непоседливый ребенок, начавший да и бросивший комок — комком, неровный и со следами пальцев. Волосы у него на голове росли пучочками, кисточками, лохматыми кустиками, не желавшими объединяться во что-нибудь благообразное. Такие же клочья да кустики повывлазили, когда юношей Чекушонок размышлял о бороде и пышных усах: вместо усов вышли веник да хвост — и тот жидкий и драный.

После смерти матери самым страшным человеком для Чекушонка стал отец, которого раздражал пятилетний бездельник, прятанный в уголке помечтать либо же почитать книжку. Отец возглавлял команду вечно пьяных музыкантов, игравших на свадьбах, похоронах да в перерывах футбольных матчей. Чтобы занять чем-нибудь сына, Чекушка притащил домой большой барабан и усадил сына за науку: «Бей!» Наука эта пришлась соседям не по нервам, и тогда отец взялся каждый день отправлять парня в сад, под старую яблоню, где испуганный Чекушонок, страдальчески морщась и смешно дрожа клочковатой головой, бил до потери смысла колотушкой по тугому барабаньему брюху. Бил и бил, чтобы успокоить отца: если Чекушка не слышал доносившихся из сада ударов, он тотчас бросался колотить сына. В конце концов и соседи привыкли к этим ударам, как к биению сердца. Но самому Чекушонку громкий звук мешал сосредоточиться на мечтах.

Продолжительное сидение над барабаном вызывало боли в спине и суставах. Отец, впрочем, не возражал против перекуров: «Но де-

сать минут — не больше!» Чекушонок сваливался в траву, выгибался и бился, как в припадке, стремясь выкручиванием тела снять накопившуюся боль. Он сплетал ноги, складывал руки под спиной и засовывал нос под мышку. Перевернувшись на живот, доставал пятками уши. Лежа на боку, закидывал ногу на шею. И — замирал на несколько минут, переживая блаженство отдыха.

Когда однажды Чекушка увидел его неподвижным в неестественной позе, — он испугался. И Чекушонок от страха утратил дар речи и так зажмурился в ожидании удара, что даже веки свело судорогой. Однако отец не тронул его. Он на цыпочках выбрался из сада и бросился в больницу. «Кататоник, — сказал доктор Шеберстов. — Это от жизни, браток». И тем еще сильнее напугал пьянького Чекушку.

Чекушонок же обрадовался, вскоре уяснив, что отец боится его неестественных поз, и с того дня, если ему вдруг хотелось побыть в одиночестве, готов был изображать едва ли не любую фигуру, явившуюся в бреду сумасшедшему геометру. Путем долгих тренировок он научился выворачивать суставы, придавая неестественным позам вполне естественный вид. Зато теперь, стоило ему замереть в форме восьмерки, его тотчас оставляли в покое, и он часами мог наслаждаться одиночеством, беспрепятственно грезя и фантазируя. Он понял: свобода — это неестественность.

Мечтал же он о выигрыше в лотерею. С замирающим сердцем слушал он истории о счастливых, получивших на сдачу в хлебном лотерейный билетик и оказавшихся в результате — «Не думал, не гадал» — обладателями автомобиля, шерстяного одеяла или авторучки. Вчера еще человек был как все — и вдруг, благодаря случаю, становился другим человеком, пережитившим Закон. Лотерея стала для Чекушонка символом свободы, вырывающей человека из ржавых цепей Закона. Не думал, не гадал — и вдруг! О, это «вдруг!» Нет, он, Чекушонок, пожалуй, не взял бы ни машину, ни одеяло, ни даже авторучку, — получил бы деньгами и купил что-нибудь совершенно бесполезное: уж воля — так воля вольная. Что? Хрустальную вазу. Носовой платок. Певчую птицу. Впрочем, купить птицу за деньги значило бы вступить в сговор с Законом. Птицу он не стал бы покупать.

Птицы вызывали у него зависть и восторг. Хотя зависть и восторг вызывало у него все, что хоть на чуточку выбивалось из рамок, в которые Чекушонка старательно вгонял отец. Мальчик завидовал тем, кто позволял себе не застегивать верхнюю пуговицу рубашки, причесывался пятерней, ложился спать после десяти, швырял камни в окна и подглядывал в пятницу за женщинами в бане. Но люди, тяжелые животные и вещи подчинялись законам, установленным отцом, который мог наказать собаку или разломать вредный стул. Птицы — не подчинялись, потому что летали. Ма-

ленькие, нечистые, безмозглые, несколько тонких косточек, горстка перьев и наперсток крови. Возможно, думал Чекушонок, в древности летали и другие животные, и даже люди: недаром же им временами снится, будто они летают.

Известно, что способность к речи заключена в языке: отрежь его — и человеку останется только мычать, как соседу Афиногену, которому пришили оторванный на фронте осколок язык, но пришили не той стороной, и старик не мог говорить. Значит, и у птиц должен быть орган, содержащий способность к полету. Но Чекушонок его так и не обнаружил, хотя не одну птицу распластал бритвой на ленты и ниточки. Находил косточки, какие-то сизые пленки и кишки — и больше ничего.

Впервые увидев рентгено снимок своей грудной клетки, Чекушонок сделал потрясшее его открытие: человек пуст. И хотя похожая на сморщенную обезьянку рентгенолог мадам Цитриняк объяснила ему, что это не так, Чекушонок остался при своем мнении. Человек пуст. Он состоит из воздушных полостей, заполненных белесовато-голубым туманом, в котором свободно плавают полупрозрачные сердце и печень, ребра и серая вата легких. Он принялся собирать свои рентгено снимки и вскоре накопил целую коллекцию. Доктор Цитриняк иногда уступала его настойчивым просьбам и делала лишний снимок его неровной головы или руки. В комнате Чекушонка повсюду — на абажуре и окнах, на стенах и дверце платяного шкафа — висели на ниточках колеблемые током воздуха рентгено снимки, которые свидетельствовали только о том, что способность к полету издревле присуща человеку, а теперь она просто растворилась в его организме.

Когда парень вырос и окреп, отец взял его в оркестр. Чекушонок бил в барабан на похоронах и в перерывах футбольных матчей, смешно дрожа неровной головой и тоскливо взирая на праздники смерти и праздники жизни. Вслед за отцом он пристрастился к выпивке, но пьянел быстро и неумело, вечно вызывая у собутельников неудержимое желание стукнуть его по физиономии. Не за что-то, а именно — просто так.

Вслед за отцом он наладился заходить к Зойке-с-мясокомбината, известной городской блуднице, обладавшей ужасающей женской силой благодаря питанию сырой говядиной. Зойка работала на мясокомбинате бойцом и любила приканчивать свиней потощее ударом об пол, держа их за задние ноги. Баба она была ненасытная до водки и мужчин, которые, впрочем, побаивались ее неумного и злого языка. Почему-то не трогала она одного Чекушонка: возможно, потому, что и рассказывать о нем было нечего. Он ничего не требовал от женщины. Мог просидеть в уголке весь вечер, не вымолвив ни слова, глядя перед собой в одну точку. Здесь его не донимали расспросами, не спрашивали, почему сидит и молчит и

чем думает заняться завтра. Зойка стряпала, стирала, мыла голову или напивалась в одиночку, забывая о Чекушонке. Иногда он вдруг нарушал молчание каким-нибудь вопросом:

— О чем ты, Зойка, например, мечтаешь?

Зойка отрывалась от созерцания собственного мизинца, который по мере погружения хозяйки в опьянение то двоился, то вырастал в чудовищный член с кривым ногтем, особенно ее забавлявшим, и обстоятельно отвечала:

— Мне еще никто никогда не говорил: я тебя люблю, Зойка. Понимаешь? — Останавливала его энергичным жестом. — И вот я думаю, например: вдруг бы нашелся такой человек да сказал бы: я тебя, Зойка, люблю, — о! — Она сладостно ухмылялась. — Как бы я ему плюнула в рожу! А потом бы еще разок харкнула. И ногой бы — сюда! — Показывала — куда. — И еще разочек! Вот, например, так! А потом бы повалила мордой в дерьмо — и вывозила.

Чекушонок задумчиво кивал.

У Зойки он хранил коробку с птицей. Впервые увидев ее, женщина удивилась:

— Зачем тебе?

— Хочется. — Чекушонок бережно взял в руки крошечную птичку из перышек, железок и проволочек. — Третий год делаю, все глаза проел. Как живая.

— Но зачем? — не унималась Зойка, с интересом разглядывая игрушку.

— Чтоб была как настоящая. Чтоб летала.

— Ну и полетит — и что? Птенцов у нее не будет. Полетает да и заржавеет, голуби ее обосрут, свалится в канаву и все... Бог их каждый день тыщами делает — тебя не спросившись, и летают, и птенцы у них...

Чекушонок уныло кивал.

— Мечтать-то хочется. Хоть о чем-нибудь.

— А еще отца ненавидишь... Одного вы поля ягоды. Дух-то в нее разве вставишь? А без духа она труп, лучше б и не было. Левша!

Но Чекушонок был непреклонен, хотя, конечно, и себе не мог объяснить, зачем делает птицу.

Они снились ему, и он разговаривал с ними. Первой трудностью, как выяснилось, было обратиться к птицам. Как? «Ребята», «мужики», «парни», «бабоньки» — все не подходило. «Братцы»? Это было лучше, но не все птицы откликались, то есть не всем такое обращение нравилось. «Братцы вороны» — разве звучит? Разве так скажешь? «Братец ворон» — еще куда ни шло, но — и только. «Братцы воробы» — сомнительно. А вот «братцы жаворонки» или даже «братья жаворонки» — звучало неплохо. Почти здорово.

Сны о птицах были радостны. Он взлетал и беседовал с жаворонками, употребляя такие слова, какие постеснялся бы употре-

бить в дневной жизни. Ну, скажем, «любовь» или что-нибудь в этом роде. Пробуждения же были тягостны и горьки. Тяжесть собственного тела казалась унижительной.

— Несчастный ты, — говорила Зойка, выслушав бессвязные его рассуждения. — Или просто нормальный: счастливых-то — не должно быть...

— То есть не бывает?

— Не должно быть, — стояла на своем Зойка. — Появись хоть один счастливый — и весь мир развалится. И молчи!

Чекушонок вырослел, старел, играл на барабане, неумело пил водку, покупал лотерейные билетки. Ему исполнилось сорок лет, когда он, наконец, завершил свою птицу-игрушку. Он разговаривал с нею, пел, кричал, умолял, часами дышал ей в разинутый клювик, — все было бесполезно: она не полетела. Он понял, что и не полетит. Поставив коробку с игрушкой на полку рядом с плюшевым зайцем и фаянсовой кошкой-копилкой, Чекушонок запил. Через несколько дней он выиграл в лотерею холодильник, но не обрадовался. На вырученные деньги устроил пьянку. Его отец перебрал и принялся избивать Зойку. Чекушонок вдруг расхорохорился и вступился за ничтожную бабу. Распалившийся Чекушка избил обоих. Первой очухалась Зойка. Услыхав доносившееся из угла тонкое поскуливание пьяного и избитого Чекушонка, женщина впала в ярость и набросилась на него. Била, пока у него кровь горлом не пошла. Потом рухнула в постель и заснула тяжелым, словно чужим, сном. Чекушонок взял коробку с птицей и, постанывая и шатаясь, убрался домой. В своей комнате поставил коробку на подоконник, лег, обвел взглядом неприглядное свое жилище, где на ниточках висели десятки рентгеновских снимков его внутренних органов, — и умер, успев принять перед смертью фантастически неестественную позу, чтоб и после смерти его не трогали, чтоб и после смерти — оставили в покое. И вот когда и эти глаза закрылись и никто уже не мог этого видеть, птица выбралась из коробки, свистнула, взмахнула крыльями и улетела.

Когда его похоронили, Буяниха вдруг ни с того ни с сего изрекла: — Если есть Бог, то должен быть и Чекушонок.

Только эти слова люди потом и вспоминали, самого же Чекушонка — забыли.

ПЯТЬДЕСЯТ ДВА БУКОВЫХ ДЕРЕВА

Семья Засс приехала с Урала в начале пятидесятых и поселилась в двухэтажном светло-сером домике под черепичной крышей, стоявшем у Фридландского шоссе на выезде из городка. Сивоусый, широкий в кости Август Засс устроился в лесничестве, где вскоре занял должность главного лесничего. Это был строгий суховатый человек, никогда не смеявшийся, очень редко улыбавшийся и всегда трезвый. Он носил брезентовую куртку цвета хаки с карманами на заклепках, форменную фуражку и высокие кожаные сапоги. Детей у Зассов не было.

Лену же Засс никто никогда не видел — ни живой, ни мертвой. Многие даже сомневались в том, что в доме у Фридландского шоссе есть хозяйка, — хотя по бумагам Август числился женатым. Фрау Засс, как ее тотчас заглазно прозвали в городке, не появлялась ни на базаре, ни в магазинах, ни даже — что серьезнее — в общественной бане, стоявшей у слияния Преголи и Лавы. Соседей у живших на отшибе Зассов не было, гостей они не звали. Зашедший к ним однажды участковый милиционер Леша Леонтьев был радушно принят, напоен чаем с вареньем и коньяком, но хозяйку увидеть не сподобился. «Живет — и пусть себе живет, — сказал Леша. — Чтобы скрыться по-настоящему, человеку всегда нужны другие люди...»

Поздно вечером, когда городок отходил ко сну, Август запрягал крепкого серого конька в повозку с кожаным верхом, опускал полог и отправлялся колесить по улицам. Колеса повозки со звучным хрустом молили красный кирпич мостовой на Семерке, дребезжали по тесаным, плотно пригнанным мелким гранитным кубикам, которыми была вымощена Липовая, и громко бухали по булыжникам у базара, — и весь городок знал: Август катает свою

фрау. Она тряслась в возке, придерживая рукой кожаный полог и вглядываясь в дома, деревья и заборы, которых по какой-то причине не могла видеть при дневном свете. Так продолжалось больше тридцати лет, до самой ее смерти.

Все женщины в городке были почему-то убеждены в том, что Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, и потому-то Август и не позволяет ей показываться на людях: боится соблазна. В конце концов — быть может, именно потому, что никому ни разу не удалось увидеть ее лица, — это убеждение возобладало: Лена Засс удивительно, необыкновенно красива, а значит, Август имеет право прятать ее от чужих глаз. На то и красавица. При этом, правда, не затыкали рот и тем, кто считал, что она просто чем-нибудь больна. Возможно, что ее красота и болезнь были таинственным образом связаны. Однако доктор Шеберстов ничего про болезнь фрау не знал. Поэтому Колька Урблюд в подпитии и говорил: Зассиха так уродлива, что показать ее людям было бы равнозначно покушению на общественную нравственность. «Настоящая красота всегда болезнь и покушение на общественную нравственность, — возражал хромой библиотекарь Мороз Морозыч. — Красота — это вызов». И долго и нудно рассуждал о красоте внешней, телесной, и внутренней, душевной и духовной, всякий раз завершая свои речи чужими стихами:

Сосуд она, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде?

Но жители городка, вовсе не склонные «разводить философию», хотели лишь одного: ясности. Нельзя же признать красавицей женщину, которую никто не видел. На какие только ухищрения не пускались любопытные — все было напрасно: Август бдительно стерег жену.

Иногда вечерами, вместо катания в кожаном возке, супруги Засс предпринимали вылазку в буковую рощу, насчитывавшую ровно пятьдесят два дерева — они росли в сотне метров от их дома на невысоком холме, отлого спускавшемся в пойму Лавы. Это был жалкий клочок, оставшийся от тех бескрайних буковых лесов, которые когда-то покрывали земли между Вислой и Неманом. Август считал эту рощу своей, берег ее пуще глаза и ради нее даже изменял своей манере сухой правильной речи, почтительно именуя дерево — деревом. Только бук для него и был — деревом. Каждый день он пересчитывал буки, словно поклялся сберечь именно пятьдесят два дерева, не меньше. Может, пятьдесят два было для него число магическое?

Разглядывая красавиц на иллюстрациях к Дюма и Чехову, я пытался представить себе фрау Засс, но, разумеется, безрезультатно. Воображение подростка бедно: он может сочинить историю, но

не лицо или характер. Что же это за женщина была, если ее нужно было прятать, как Железную Маску? Какая она? Как Буйниха, за которой, как говорили, когда-то ухаживали наперебой все мужчины городка, кроме сумасшедших? Как Зойка-с-мясокомбината, к которой вечером мог постучаться любой мужчина, способный купить бутылку вина? Как соседская девочка, любившая дразнить мальчишек своими толстыми ляжками, с ужимками демонстрируя их сквозь деревянную решетку балкона? Или как та дама, которой властями средневекового Авиньона до семидесяти лет было разрешено появляться только под вуалью на балконе не чаще одного раза в неделю, дабы красота ее не послужила причиной опасных массовых волнений? А может быть, она была тем ананасом, о котором жители городка вспоминали всякий раз, когда не находили слов для высшей похвалы, хотя, конечно же, никто из них тогда не знал вкуса ананаса. С иллюстрацией смотрели очаровательные женщины, девушки, ангелы, — но что же привлекало в них? Наверное, в таком же положении оказался французский поэт Венсан Вуатюр, который, отчаявшись поймать красоту сетью слов, 24 января 1642 года в одном из знаменитых своих «Писем» определил то, что неуловимым образом очаровывает и обольщает нас, одной фразой: «Je ne scai quoi». Не знаю-что-такое.

Летним вечером, в час заката, я пробрался в буковую рощу на холме с единственной целью — увидеть таинственную красавицу. Освещенные светло-розовыми и еще теплыми солнечными лучами, гладкие серые стволы стояли как храмовые колонны, возносясь над полом, выложенным мозаикой резных буковых листьев. Легкий ветерок пошумливал высоко в кронах. С полчаса я бродил по рощице, удивляясь отсутствию подростка, — как вдруг услышал негромкий мужской голос. Спрятаться здесь было трудно: роща просматривалась насквозь. Я заметался, наконец плюхнулся в неглубокую яму и зарылся в палую листву. Сердце мое громко колотилось, заглушая звук приближающихся шагов.

— Устала? — спросил Август.

— Нет, — ответила женщина.

Я не смел поднять голову, чтобы не обнаружить себя: они находились в двух-трех метрах от меня. Наконец их шаги стали удаляться. Немного выждав, я привстал и посмотрел им вслед. На руку Августа опиралась невысокая худенькая женщина. Мне показалось, что она слегка прихрамывает.

Совершенно ошалевший от пережитого приключения, я сел и огляделся. Светило заходящее солнце, еле слышно шелестела в вышине листва. Что же случилось? Я слышал ее голос, видел ее со спины — вот и все. Откуда же тогда взялось странное ощущение, будто только что произошло нечто важное? Быть может, все дело

было в моем возбуждении? Эта залитая светло-розовым светом роща, этот шелест листвы, эта таинственная пара... Черт возьми, в отчаянии подумал я, ну какой смысл в том, что он прячет ее ото всех? Какой смысл в ее жизни? Такой же, какой в существовании этой рощи, в розовом свете заката, в шелесте листвы?..

Я еще долго бродил по роще, считая и пересчитывая буки (пятьдесят два, пятьдесят два...) и пытаюсь проникнуть в магический смысл бессмысленного числа. А вдруг это все изменит, и развернутся небеса, и откроется нечто такое, до чего иногда добираешься в глубоком сне, но не успеваешь достигнуть и просыпаешься? Тайна красоты вымогала магию цифр... (Годы спустя я прочел у Де Куинси в «Автобиографии»: «Даже бессвязные звуки бытия представляют собою некие алгебраические задачи и языки, которые предполагают свои решения, свою стройную грамматику и свой синтаксис, так что малые части творения могут быть сокрытыми зеркалами наибольших».) Разумеется, тогда ничего не произошло, буков было пятьдесят два, я начал мерзнуть и был вынужден тащиться домой через топкий луг, мимо старого немецкого кладбища.

Вскоре она умерла. На похороны собралось множество народа, но Август и на этот раз всех перехитрил: Лену хоронили в закрытом гробу.

И сейчас иногда я просыпаюсь от звучного хруста рыхлого красного кирпича под колесами кожаного возка, от дребезжания их по тесаному граниту Липовой и громкого перестука на булыжной мостовой у базара, — и долго стою с сигаретой у окна, выходящего на ярко освещенный вестибюль метро с алой буквой «М», и думаю о том, что по-прежнему ускользает от слов, но без чего немислима жизнь. Что это? *Je ne saai quoi*. Не знаю: тайна Лены Засс осталась неразгаданной.

ФАРФОРОВЫЕ НОГИ

Обувной магазин находился на центральной — и единственной — площади городка, вымощенной сизым тесаным булыжником, по которому в редкие солнечные дни медленно, как часовая стрелка по циферблату, перемещалась тень безверхой кирхи. Прежде чем упасть на плоскую крышу павильончика, где торговали пивом, влажными сигаретами и бутербродами с сухими скукоженными ломтиками колбасы, похожими на палые осенние листья, тень величественно врывалась в витрину обувного магазина, украшенную двумя фарфоровыми женскими ногами в туфлях на высоких каблуках. Еще дюжина таких же ног — белых, желтых и розовых — была расставлена в помещении, пропахшем кожей, ваксой и табаком «амфора» от трубки хозяина магазина — Капитана Леша, чье обтянутое белой войлочной бородой лицо посетители видели только сквозь завесу голубоватого ароматного дыма. Когда его спрашивали, где он раздобыл эти ноги, Капитан отвечал: «Валялись без дела в подсобке...»

И хотя другого обувного магазина в городке не было, — женщины не очень-то любили сюда заглядывать. И все из-за фарфоровых туфель, белевших в углу на фанерной подставке, обтянутой малиновым плюшем. Находилось немало желающих примерить эти туфельки, но за тридцать лет они никому не пришили в пору, что, конечно же, оскорбляло женское самолюбие. Признанная красавица Нина Логунова, не добившись успеха с первого раза, после этого нарочно три дня вымачивала ноги в горячей воде с водкой и глицерином и еще три дня выдерживала их в горячем вазелине, пока они не стали такими мягкими, что могли безболезненно пройти в замочную скважину, — но и ей в конце концов удалось лишь кое-как втиснуться в фарфоровые туфли, а уж сделать в них хоть шажок — об этом не могло быть и речи.

— Так какие ноги для них нужны? — возмущенно воскликнула Нина. — Стройные? Кривые? Толстые? Тонкие?

— Красивые, — с грустью ответил Капитан Леша. — А что это такое — я не знаю.

Провожая восхищенными взглядами какую-нибудь красавицу, проплывавшую по Семерке в клуб на танцы, мужчины причмокивали: «Ну будто в фарфоровых туфлях идет!» Капитан Леша только скептически хмыкал: «Разве что — будто...»

Женщины недолюбливали его. Из уст в уста передавалась история о стареющем одиноким мужчине, который вечерами, под видом уборки помещения, не просто протирал тряпкой фарфоровые ноги, но — гладил, ласкал и чуть ли не — тьфу! — целовал их.

Жил он холостяком в квартирке на Липовой, над овощным магазином, продавщица которого — Фигура (обязанная прозвищем своей совершенно кубической фигуре с кубической грудью и кубическими же ногами, а также тому, что переводила магазинные овощи, картошку да морковь, вырезая из них забавные фигурки, которые выставлялись в витрине) — иногда делила с Капитаном Лешей одинокие вечера. Когда-то Леша служил матросом на траулере, но в результате несчастного случая охромел и был списан на берег. Компаний он чурался, но иногда выпивал в одиночку (таких в городке называли «одноватыми»). Фигура говорила, что дома у него бережно хранится портрет бывшей жены — неопикуемой красавицы, и городские сердцеведы принялись было сплетать душераздирающую историю любви и измены, но тут Колька Урблюд, которого Леша попросил помочь в ремонте квартиры, опознал в фотокрасавице Мерилин Монро, и история скончалась при родах.

В тот день восемнадцатилетняя Лиза Столетова в обувном магазине оказалась случайно: во владения Капитана Леша ее загнал бурный летний ливень. Хозяин пыхнул трубкой, сонно взглянув на невзрачную девушку в стареньком ситцевом платьице, и вновь приспустил веки, возвращаясь то ли в сон, то ли в воспоминания (что, впрочем, одно и то же). Быть может, поэтому и не сразу дошел до него смысл вопроса, заданного Лизой, — он моргнул, закашлялся и, разгоняя дым рукой, подался к ней так резко, что под ним затрещал легкий стульчик.

— То есть... ты хочешь...

— Другим можно, а мне — нет?

Капитан Леша перевел взгляд с ее лица — улыбке мешал испуг — на ноги в рублевых босоножках, из которых торчали пальцы с траурной каймой под ногтями, безыскусно обкусанными при помощи портняжных ножниц, — и почему-то именно эти пальцы вызвали у хозяина приступ веселья.

— Валяй! — сказал он со смехом. — Жила не была!

— Была не жила! — засмеялась Лиза.

И не успел Капитан Леша поднести руку к лицу, чтобы смахнуть выступившую от смеха слезу, как Лиза уже стояла перед ним в фарфоровых туфельках.

— А ну-ка пройдишь, — прошептал Леша. И вдруг, сорвавшись, заорал во всю глотку: — Пройдишь, тебе говорят, шагай!

Лиза шагнула, повернулась и, сделав несколько стремительных и ловких танцевальных движений, с выжидательной улыбкой остановилась перед Капитаном Лешей.

— Еще, — хриплым шепотом попросил он. — Ещё... пожалуй-ста...

Не прошло и часа, как на площади перед магазином образовалась огромная толпа. Не обращая внимания на дождь, изумленные люди молча взирали на замарашку Лизу в фарфоровых туфельках на высоких каблучках. И никто не мог понять, что же такого особенного в этой невзрачной девушке? Почему именно ей туфли пришлось впору? Ноги как ноги, фигура как фигура, лицо как лицо — если и запомнится, то разве что с третьего взгляда...

Что же произошло? Что случилось? А что произошло нечто значительное — в этом уже никто не сомневался.

— Ну и что же это за ноги такие? — прервала молчание Нина Логунова, и в голове ее недоумения было не меньше, чем раздражения. — По-вашему, красивые?

— Фарфоровые, — после недолгих раздумий изрек Капитан Леша. Он бережно помог Лизе переобуться и сказал:

— Подарю тебе их в день свадьбы.

— Договорились, — кивнула Лиза.

И никому и в голову не пришло съязвить по поводу будущего замужества вчерашней замарашки.

— Эх, если б мне было восемнадцать! — вздохнула Граммофониха. — Я б тоже...

Но что «тоже» — не сказала.

— Если бы у бабушки был член, она была бы дедушкой, — глубокомысленно изрек дед Муханов, поворачиваясь к Граммофонихе спиной. — Подумать только: фарфоровые ноги!..

Через полгода Лиза вышла замуж за хорошего парня. Капитан Леша сдержал слово: в день свадьбы он торжественно вручил Лизе обещанный подарок. И сияющая Лиза, в фарфоровых туфельках еще более стройная и красивая, первый вальс — по всеобщему требованию — танцевала с хромым Лешей.

Спустя семь лет Капитан Леша умер. Его нашли в обувном магазине с погасшей трубкой в судорожно стиснутых зубах, в ок-

ружении прекрасных фарфоровых женских ног — белых, желтых и розовых...

К тому времени Лиза стала матерью двоих детей. Закончив курсы бухгалтеров, она работала на маргариновом заводе, где ее муж Иван дослужился до начальника электроцеха. Ноги ее расплнели, стали студенистыми и рифлеными от толстых, как бельевые веревки, вен. Но ежегодно, в день свадьбы она легко и свободно надевала все те же фарфоровые туфли на свои желтые, безнадежно ороговевшие ступни тридцать восьмого размера, — Бог знает, как это получалось, но раз в году — получалось, и всякий раз муж вспоминал, как Капитан Леша назвал ее ноги фарфоровыми, хотя что это такое — никто не знал, как никто не знает, что такое красота, любовь или смерть...

ТЕМА БЫКА, ТЕМА ЛЬВА

Сердца неслись к ее престолу...

Пушкин

Дождь шел за ним по пятам, и если человек останавливался, дождь повисал за его спиной серебряным шелестящим занавесом, смывая с асфальта кровавые пятна. Передохнув, человек продолжал свой путь — медленно, выписывая ногами кренделя и не глядя по сторонам. Его заметили возле Гаража, видели на последнем мосту, напротив Белой столовой, несколько минут он отдыхал, прислонившись к стене парикмахерской, — По Имени Лев выключил свою машинку, опустил влажную ладонь на недостриженную макушку клиента и с неизбывной печалью в голове проговорил: «Из-за этих дождей я уже забыл, когда ел спелые помидоры», — но на человека, который нетвердым шагом направился к площади, никто, конечно, не обратил внимания. В центре площади он упал навзничь, широко раскинув руки. Возвращавшийся с рыбалки дед Муханов замер, глядя из-под ладони на разверстую в груди незнакомца рану, и неизвестно, сколько бы он так простоял, если бы не аптекарша, чей визг переполошил людей на скамейках под каштанами. Двое ребят из компании Ируса помчались за Лешкой Леонтьевым. Не успели они нырнуть в заросли бузины, откуда начинался кратчайший путь через стадион на Семерку, как на площадь обрушился дождь. Люди молча стояли вокруг мертвого, и на их глазах дождевые струи смыли с его груди кровавую рану, потом волосы с головы, немного спустя — глаза и губы, а когда примчался на мотоцикле участковый, затихающий дождик уже только весело барабанил по отмытым до белеска плоским камням, на которых еще десять минут назад лежал труп.

Выслушав невразумительные объяснения Ируса, Леша вперил взгляд в деда Муханова.

— Это ты выдумал всю эту чепуху на постном масле?

Деа вскинул голову, глаза его приобрели осмысленное выражение. Усилием воли он подавил в себе обиду и гнев, основательно затянулся своей ядовитой сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта, и, со странной улыбкой показывая пальцем куда-то за леонтьевскую спину, спросил:

— А это на каком масле, едрит-ангидрит?

Со стороны реки к площади приближался огромный белый бык с золотыми рогами, на котором восседала самая красивая в мире женщина. На поводке она вела красного льва, важно выступавшего рядом с быком.

Так в городок вступила Богиня.

Она поселилась в гостинице за рекой, в крохотной комнатке с круглым окошком, выходившим на озеро. Возникнув в этом лабиринте темных коридоров, пропахших нафталином, жареным луком, керосином и вареной картошкой, она до смерти напугала Зойку, которая, заслышав шаги, вышла из своей кухни, вытирая руки об изнанку клеенчатого фартука, и замерла, узрев самую красивую в мире женщину со львом на поводке. А та, не обращая ровно никакого внимания на истошно вопившую Зойку, легко поднялась на второй этаж и скрылась за дверью номера.

Проснувшийся за стеной постоялец прижал обе руки к груди, пытаясь удержать рвущееся вон из тела сердце. Соскочив с кровати, он распахнул окно и увидел внизу мирно пасущегося белого быка с золотыми рогами. Мужчина закурил. Его блуждающий взгляд задержался на картине, занимавшей почти всю стену над кроватью: дородная девушка в белом чепце огромными ножницами срезала похожие на капустные кочаны розы; рядом, изящно облокотившись на забор, стоял юноша с плетеной корзиной, полной румяных яблок. Но теперь на холсте не было ни девушки, ни юноши, — лишь из кустов торчали чьи-то ритмично дергавшиеся ноги. Не понимая, что с ним происходит, мужчина со стоном опустился на прохладный пол. Внезапно он поднял голову: голая дородная девушка с картины призывно махала ему рукой, к ее левой груди прилипли два розовых лепестка, — и уже теряя сознание, постоялец подумал: ««Шипр» пить — здоровью вредить».

Подставив спину долгожданному солнцу, Фантик опустил голову на руки и блаженно закрыл глаза. Внезапно какая-то сила подняла его сантиметров на двадцать над землей. Фантик вскочил, растерянно озираясь, и тут из зарослей ивняка вышла самая красивая в мире женщина с платьем через плечо — больше на ней ничего не было. Она прошествовала мимо остолбеневшего парня и скрылась за сараями. Ее следы, четко отпечатавшиеся на песчаной дорожке, источали волнующий аромат.

Взвыв, Фантик бросился вперед — не разбирая дороги, через помойку, засыпанную бутылочными осколками и кусками колючей проволоки, — одним духом взлетел на второй этаж, оставляя за собой кровавые следы, и замер перед дверью, на которой было начертано матерное слово. Он постучал — дверь открылась. Красный лев сдержанно рыкнул. Но Фантик, тоненько повизгивая, все топтался на пороге, не отрывая взгляда от золотой капли на богином животе, которая у других женщин называется пупком. И только когда лев с рычанием поднялся и ударом хвоста разбил массивную пепельницу литого стекла, стоявшую на подоконнике, Фантик кинулся в дверь напротив и заперся в туалете.

Зойка слегла в приступе неутоленной злобы — у нее даже зубы разболелись. Но как только ее слуха достиг неясный шум на втором этаже, она тотчас ринулась наверх. Шум доносился из туалета, но, сколько Зойка ни прислушивалась, она не могла понять, что же там происходит. Тогда, отбросив ложные условности, мощным ударом ноги она высадила дверь и остановилась на пороге, уперев руки в бока. Гостиничный туалет представлял собой чудо архитектурно-строительного искусства: это была необыкновенно узкая и длинная комната с высоким потолком и крохотным унитазином у дальней стены, сидя на котором человек с особой остротой ощущал свою ничтожность. Здесь человек чувствовал себя не менее уютно, чем в тюремном карцере. Впечатление довершал оглушительный рев воды, неосторожно спущенной в унитаз, где она скручивалась завывающим мальштремом, плюющим во все стороны брызгами воды и экскрементов, а потом с гулким утробным урчанием уносилась вниз по трубам. Постояльцы покидали туалет с твердым решением никогда не писать стихи и без каких-либо иллюзий насчет своего места в реальном мире. В тусклом свете слабенькой лампочки Зойка разглядела у дальней стены человека на четвереньках. Взвизгнув, она едва успела выскочить в коридор и навалиться на дверь, как та содрогнулась от сильного удара. За ним последовал второй. Воспользовавшись паузой, женщина выхватила из кармана связку ключей и заперла туалет.

Стараясь не шуметь, она выскользнула из гостиницы и перевела дух только на новом мосту. В разгар июльского полдня краснокирпичное здание гостиницы, осененное ветвями гинкго, показало ей особенно мрачным.

— Они все с ума посходили, — простонала Зойка. — И то ли еще будет.

Мужчины собрались в Красной и Белой столовых, пили пиво и говорили только о Богине. Даже старики на ступеньках сберкассы отважно пустились в обсуждение достоинств незнакомки. Городской сумасшедший Вита Маленькая Головка носился на своем мо-

пеле по улицам и кричал что-то настолько невразумительное, что многим в его словах чудился гимн Богине.

Беспрестанно выли коты. Кобели жадно внюхивались в следы, оставленные Богиней на асфальте и камне, и преследовали крохотную Мордашку, которая с жалобным визгом пыталась удрать от одуревших псов. Она спряталась под буяновским крыльцом, где доживал свой век Дед — самый старый пес в городке, последние тридцать лет питавшийся только простоквашей и тертой редькой, так что Буяниха подкладывала под него куриные яйца, из которых среди зимы исправно вылуплялись цыплята, — этот-то Дед, повергнув Мордашку в неопишное изумление, и добился от нее того, чего так тщетно домогались остальные кобели.

Завидев пробегавшую мимо телку, с вывески мясного магазина прыгнул коричневый рогатый зверь, оказавшийся быком, который, однако, смог предложить рыжей девственнице лишь платонические отношения: повинувшись строгим указаниям торгового начальства, художник изобразил быка без органов размножения.

Аркаша и Наташа, пыльные гипсовые манекены из ателье над парикмахерской, вдруг сорвались с мест и пустились в пляс под музыку Чайковского, звучащую из радиоприемника. Покружив по тесной мастерской, они вытанцевали на улицу и затанцевали через площадь к гостинице. За ними бросились гипсовые торсы из «Одежды» и гипсовые ноги из «Обуви».

Внезапно разнеслась весть о том, что Андрею Фотографу удалось запечатлеть Богиню на пленке. Опрокидывая столы, стулья, пивные кружки и заборы, мужчины бросились к Трем Пальмам — фотоателье, на вывеске которого красовались три экзотических растения на берегу фиолетового моря. Не моргнув глазом, Фотограф запросил по двадцать пять рублей за снимок, но это никого не остановило: уже через час первые счастливицы стали обладателями влажноватых картонок с изображением самой красивой в мире женщины, восседающей на белом быке. А толпа перед Тремя Пальмами росла, угрожая гудела, и уже выводили в тень первых битых, размазывающих по лицу кровь.

Воздух сгустился, небо заволкло тучами, но гроза медлила — зато разразились танцы.

Ради такого случая открыли пустовавший летом зал в первом этаже гостиницы, смели пыль с окон и светильников, гроздьями свисавших с потолочных балок, и притащили три тысячи сто семьдесят три пластинки.

— Да вы что? — удивилась Эвдокия, увидев гору черных дисков на сцене, где стоял проигрыватель. — До второго пришествия собралась плясать?

Еще не стемнело, когда в зале вспыхнул свет и толпы нарядных людей ринулись к столику, за которым сидела Эвдокия. В мгновение ока распродав все билеты и совершенно ошалев от духоты, она махнула рукой, уравнив в правах безбилетников и тех, кому достались синие бумажки с черным штампом «Танцы».

Всех желающих зал вместить не мог, и люди толпились во дворе, в ожидании Богини попивая дешевое вино и унимая куревом нервную дрожь. Никто не сомневался, что она явится на танцы.

Рафаила Голубятника прижали к железным перилам крыльца. Он посмотрел в небо, где тревожно перекликались тысячи его голубей, глубоко вздохнул — и вдруг отважно рванулся вперед и вверх и через мгновение, сам не понимая, как это ему удалось, очутился в гостиничном коридоре. Люди во дворе затихли.

С тяжело бьющимся сердцем Рафаил ступил на лестницу, беззвучно повторяя вспомнившуюся вдруг строку:

— Сладкоречивая, светлокудрая там обитает...

Вдали полыхнула молния, но грома люди не слышали: на крыльце появился Рафаил Голубятник, державший за руку самую красивую в мире женщину. Они прошли через раздавшуюся толпу и вступили в зал.

— Чем же от нее пахнет? — задумчиво пробормотал Фотограф.
— Чем-то таким... — Он шелкнул пальцами и причмокнул.

— Дерьмом! — выверилась Эвдокия. — Свинячьим дерьмом!
Помяни мое слово...

Но тут загремела музыка.

Первый танец Богиня подарила Рафаилу Голубятнику, который вдруг понял, что никогда уже ему не прозреть и не обрести дара речи. Не пришел он в себя и после того, как музыка смолкла и его оттерли от партнерши и вытерли из зала. Бесконечно одинокий и счастливый, он брел по пустынным улицам, а над ним шелестели крыльями его голуби. Бормоча: «Сладкоречивая, светлокудрая там обитает...» — он поднялся по загаженной голубями лестнице, которая, штопором ввинчиваясь в гулкую тьму, вознесла его на крышу водонапорной башни. Целыми днями он наблюдал отсюда за полетом голубей и сочинял стихи, но сейчас ему было не до того. При взгляде на чешуйчатую рябь черепичных крыш и булыжных мостовых, на толевые крыши сарайчиков у подножия башни, где возились и хрюкали свиньи, — на городок, внезапно выхваченный из темноты вспышкой молнии, глаза его наполнились слезами, и, вдруг почувствовав, что сердце вот-вот выскочит из груди, Голубятник глубоко вздохнул и с улыбкой изнеможения на лице шагнул в пахнущую свиным навозом пустоту.

С исчезновением Рафаила Голубятника, хотя этого никто и не заметил, в настроении мужчин произошел перелом: многие, утратив сдержанность, шептали партнершам непристойности, адресованные самой красивой в мире женщине. Ребята из компании Ируса бродили по залу, якобы случайно толкая танцующих, но пока никто не откликнулся на их вызов.

Над головам висело облако табачного дыма. Мариночка попросила Чеснока открыть окно. Он взобрался на подоконник и попытался выдернуть ржавый шпингалет из гнезда, но это ему не удалось, и тогда, расสวิрепев, Чеснок ударом ноги высадил окно вместе с рамой, обрушив его на головы собравшихся во дворе зевак. Со звоном повывлетали другие окна — это ребята из компании Ируса довершили начатое Чесноком.

Заметив, что самая красивая в мире женщина направилась в туалет, Шурка натянула белые нитяные перчатки и кинулась к выходу. За ней поспешили Дуля и Медведица. Как только Богиня вышла из кабинки, Шурка схватила ее за волосы — и с помраченным взором упала на Дулю, повалив ее в засыпанную хлоркой лужу мочи. Богиня исчезла.

— Стерва! — прошипела Дуля. — Всегда подгадишь!

И, стиснув зубы, что было силы ударила Шурку кулаком в живот. Подруга скорчилась на полу, но стоило Дуле приподняться, как Шурка нанесла ей мощный удар ногой по почкам. Дуля опрокинулась на спину, ее волосы веером накрыли вонючую лужу, и Шурка, злобно рыча, наступила на них ногой. Внезапно из кабинки, где побывала Богиня, выскочила Медведица. Пинком башмака в зад она отбросила Шурку к умывальнику и, потрясая воздетыми к потолку ручищами, восторженно воскликнула:

— Шушера, слухай: она съят одеколоном!

Ребята из компании Ируса уже дрались за сценой, а он, то и дело встряхивая крашеными локонами, искусно прикрывавшими раннюю лысинку, взახлеб — в который раз — рассказывал Вилипуту и Чесноку о своем танце с самой красивой в мире женщиной: его ударило током, когда она положила руку ему на плечо.

Пролетавшая мимо в танце его жена игриво хлопнула Ируса веером по лысеющей макушке. Он среагировал мгновенно, но его удар достался Аркаше. Оттолкнув Наташу, манекен выхватил из-под полы кое-как сметанной жилетки нож и бросился на обидчика. Ирус отпрянул, в его руке тоже блеснул нож, но не перочинный, который обычно он носил при себе, — этот был тяжелый, с широким и длинным кованым лезвием и вычурной костяной ручкой в форме дракона с красными камнями вместо глаз. Ирус не успел даже удивиться: Аркаша атаковал яростно и слепо. В невероятной тесноте танцующим некуда было податься, и они, зажмурившись,

летели между дерущимися, чудом уворачиваясь от смертоносной стали. Музыка гремела так, что с потолочных балок сыпалась труха и птичий помет. То там то здесь вспыхивали драки, и люди, дико вскрикивая и размахивая невесть откуда взявшимися ножами, мчались вместе со всеми под музыку по кругу... Коля-Миколай, не выдержав, сорвал с Дули воняющее мочой и хлоркой платье и повалил истерически хохочущую девку на пол, — и уже через минуту нельзя было разобрать, где там Коля-Миколай, а где Дуля: танцующие со смехом топтали кровавую лепешку, в центре которой поблескивали четыре глаза — два зеленых и два черных. Медведицу насиловали на сцене, и при каждом подскоке из-под ее монументальной задницы в зал летели осколки грампластинок. Сдавленный со всех сторон людьми, Чеснок с ножом в животе тщетно пытался выбраться из толпы. Богиня летела в объятиях скелета, шептавшего ей на ухо галантные скабрёзности. Другой скелет, в широкополой шляпе и алом плаще, на ходу залез Шурке под юбку, подмигивая при этом Мариночке. Некий черный гигант с витыми рогами на макушке вдруг схватил ее за ноги и, размахивая как дубинкой, бросился вприсядку. Карен вцепился в богинину ногу, и ей стоило немалого труда отделаться от обезумевшего силача. Оставшуюся у него в руках тувельку Карен незамедлительно сожрал. Вэ Пэ огромным кривым ножом отсек свой половой член и с криком «Красота мир спасет!» швырнул его под ноги Богине. Боб и Фролик опустили на четвереньки и, захрюкав, заметались между танцующими. Их примеру последовали еще девяносто семь мужчин, а также две женщины, тайно брившие ноги. В невыносимой духоте голые потные женщины с распущенными волосами неслись под музыку в обнимку с окровавленными мужчинами, визжащими свиньями, манекенами и скелетами. И только Веселая Гертруда, столетняя старуха, подпрыгивала на одном месте у сцены, монотонно выкрикивая: «Зайд умшлюнген, миллионен!» Над головами людей в густом дыму метались тысячи голубей, затмевающих свет и роняющих перья и помет на танцующих. Внезапно в центре зала возник белый бык с золотыми рогами. Он громко протрубил — и тут с потолка хлынули потоки ледяной воды вперемежку с дерьмом: это Фантик, решивший во что бы то ни стало выбраться из туалета, проломил пол, обрушив вниз унитаз и открыв путь воде.

Ледяной душ в мгновение ока отрезвил людей. Женщины спешили прикрыть наготу, мужчины с недоумением разглядывали окровавленные ножи. Свиньи робко жались к стенам.

— Это все эта стерва! — завопила вдруг Шурка, плача от стыда и боли. — Это все она! Она!

Растерянно озираясь, Богиня отступила к сцене. На ее теле не было ни пятнышка, ни царапины.

— Это она! Она! — кричали женщины.

Мужчины обступили сжавшуюся в комок самую красивую в мире женщину.

И тут белый бык протрубил во второй раз, и на пороге появился красный лев, а через выбитое окно на грохочущем мопеде влетел Вита Маленькая Головка. Толпа в ужасе раздалась. Вита подхватил Богиню и, газанув, прынул из зала, задев колесом львиное ухо и остекленевшую от водки Эвдокию.

Бык протрубил в третий раз. Вспыхнула молния, лев прыгнул в толпу, — и все погрузилось во тьму — во тьму рычащую, воющую, вопящую, визжащую, лягающую, трещащую и хрюкающую.

Хватаясь руками за стены, Эвдокия кое-как выбралась из зала, закрыла двери, навесила амбарный замок и нетвердым шагом отправилась домой, по пути прихватив под мышку маленького поросеночка, жалобно хрюкавшего в кустах бузины.

Рано утром городок был разбужен дикими воплями похмельной Эвдокии. Мешая матерщину с пророчествами о конце света, она требовала вернуть ей поросеночка, который назло хозяйке превратился в человека.

Вооруженные охотничьими ружьями мужчины кинулись к гостинице. В танцевальном зале они обнаружили гору мертвых голубей, из которой высовывалась морда и грозная лапа мертвого льва, в туалете на втором этаже — обессиленного Фантика, висевшего на дверной ручке над провалом в зал, а в номере рядом с тем, что занимала Богиня, — постояльца, во сне прижимавшего к груди кусок холста, выданный из картины над кроватью. Самая красивая в мире женщина исчезла.

В тот же день установили, что все участники вчерашних танцев живы-здоровы, но никто из них не имел желания делиться какими бы то ни было воспоминаниями.

И лишь под вечер на отмели ниже водопада нашли белого быка с золотыми рогами, облепленного окровавленными птичьими перьями, а под новым мостом — Виту Маленькую Головку с улыбкой изнеможения на лице и разверстой раной в груди...

ЧЕРТ И АПТЕКАРЬ

В поле бес нас водит, видно...

Пушкин

И откуда взяли, что черт выпал из пахнущего шафраном жаркого пыльного вихря, стремительно промчавшегося по сонным улочкам городка, выпал — в пестро размалеванном автомобильчике, одной рукой держась за руль, а другой обнимая божественно красивую девушку, у которой вместо губ была плотно сжатая кольцевая мышца — навряд ли той, что запирает заднепроходное отверстие у людей и животных?

Агут и свидетели, уверяющие, будто ошеломленная Зойка без слов выдала постояльцам ключ от номера окнами на сквер с памятником Генералиссимусу и сделала в гостиничной книге запись следующего содержания: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям».

Врут и те, кто пытается убедить нас, будто в тот момент, когда за постояльцами захлопнулась дверь, на вечернем небе вспыхнула длиннохвостая, похожая на березовый веник комета, а из мутно-желтых вод Преголи, напротив бани, всплыла грудастая женщина с ржавой чешуей ниже пупка и рыбьим хвостом вместо ног, которая на чистейшем русском языке попросила хлеба у проходившей по мосту Буяники.

Брешут и те, кто говорит, что черт возник в парикмахерской, что будто, когда он вошел в полутемный зальчик и сел в кресло перед бездонным зеленоватым зеркалом в резной раме черного дерева, По Имени Лев подбрасывал дрова в обшитую железом высокую круглую печь и, не услышав традиционного «Здорово, начальник!» (на что полагалось отвечать: «Здорово, директор!» или хотя бы: «Здоровее видали»), якобы величественно выпрямился и не без иронии поинтересовался: «Где бы найти такую должность, чтобы не здороваться?» Но и эта традиционная шутка не возымела ника-

кого результата. Как брешут очевидцы, черт провел ладонью по лысине, растекшейся меж витых рогов, и задумчиво спросил: «Что посоветуете — наголо или под бокс?» И будто бы парикмахер понял, что, если он рухнет на беспорядочно сваленные у печки дрова, ему будет очень больно, и упал в другую сторону — к ногам гипсового манекена, облаченного в свежий белый халат.

Агут, врут и брешут свидетели!

Все было по-другому.

Итак, свидетельствую.

Черт появился у нас в четверг, сразу по окончании затяжных дождей, когда у человека, рискнувшего проболтать на улице с приятелем больше пяти минут, в сапогах завопились крохотные головки, а в ушах выростала бледно-желтая травка, — да-да, это случилось в четверг, когда утренний рижский поезд столкнулся на Парковом переезде с тигровой акулой, лакомящейся на рельсах бродячей курицей.

Плюгавый косоглазый человечек в гадкой шляпчонке, кургузом малиновом пиджачке и лимонно-желтых брючишках без видимых усилий втащил в благоухающий плесенью городок тележку с черноокой красавицей — ее было нипочем не отличить от роскошного атласного банта на грифе семиструнной гитары, на которую красотка небрежно облокотилась. За ее спиной возвышался огромный черный кобель неведомой, но свирепой породы, издали похожий на рыбу.

— Стрикулистка, — тотчас определила Буяниха. — Но красивая. А где красавица, там и черт.

Парочка заняла квартиру за аптекой, в нижнем этаже узкого и ветхого трехэтажного здания под жестяной крышей, украшенной четырьмя флюгерами в форме всадников Апокалипсиса. Флюгера давным-давно намертво прикипели к своим шесткам и все, как один, вопреки капризам погоды, упрямо взирали на северо-северо-запад, туда, где под пышными купами каштанов возносились могучие плечи, прекрасной лепки голова в бронзовой фуражке и благословляющая нашу жизнь бронзовая длань, обгаженная голубями.

Плюгавый заявил, что на квартиру у него имеются соответствующие документы. Вкупе с весьма важным письмом он готов предьявить их председателю совета. Однако встречу с Кальсонычем пришлось отложить, поскольку после шестого стакана самогона с куриным пометом председатель крепко заснул в служебном кабинете, засунув указательный палец левой руки в правую ноздрю, а похожий на слегка протухшую сардельку член — в отверстие в кожаной обшивке дивана. Когда Кальсоныча попытались разбудить, он скорчил свирепую рожу, трахнул кулаком по дивану и прорычал: «Смирно, Дуня!» И снова заснул.

Неспроста, ох, неспроста явились черт с красавицей в наш городок, и это стало ясно уже на следующее утро, наступившее при гробовом петушином молчании. При тщательном обследовании выяснилось, что вместо языков у петухов в одну ночь выросли трехрублевые бумажки. Поначалу этому не придали значения, как не придали значения и внезапно изменившемуся выражению лица бронзового Генералиссимуса, словно почувявшего угрозу. Не заметили также, что за четвергом вместо пятницы наступила суббота.

В то утро, как обычно, люди отправились на базар, где уже вовсю шла торговля салом, вениками и махоркой.

И никто не обратил внимания на плюгавого косоглазого человека в гадчайшей шляпчонке. Танцующей походкой приблизился он к рядам и остановился перед Колькой Урблюдом. На коленях у него нежился базарный кот по имени Дух.

— Кота продаете? — вежливо хихикнув, поинтересовался желто-малиновый.

Не открывая глаз и боясь даже пошевелить раскалывающейся с похмелья головой, Колька промычал что-то невразумительное.

— И сколько просите? — не унимался человек.

— Трояк за штуку, — прохрипел Колька, с трудом разлепив веки.

— Трояк! — восторженно взвизгнул черт.

— Разве это кот? — сказал Урблюд. — Царь.

— И что же вы сделаете с трояком? — осторожно поинтересовался покупатель.

— Похмелюсь. — Колька закрыл глаза и со стоном повторил: — Похмелюсь, екалэманэоколожэпэчешеце. И вся азбука.

— Ну а если не трояк, а, скажем, триста? Тогда какая мечта?

— Загуляю. И буду гулять, пока не пропьюсь.

— Ну а если три тысячи?

— Программа та же. — Колька хмуро посмотрел на покупателя. — Только сколько ж это котов надо — на три-то тысячи? Ловить обживотишься.

— И не надо! — Человечишко широким жестом шлепнул на замызганный прилавок толстенную пачку денег. — Деньги ваши — звери наши.

И кот, только что тарасившийся на малиновый пиджак, ментально куда-то исчез.

Колька внимательно посмотрел на деньги, потом — на человека. «Где-то я эту рожу видел. Шпион, наверное, — подумал Колька. — Но зачем шпиону русский кот? О, Господи». Он вдруг почувствовал, что пропадает. И пропал. А возник в Красной столовой перед стойкой, за которой восседала Феня, осененная журнальной улыбкой великого воина Албании Скандербега на лице Акакия Хорава, наклеенном на жалобную книгу. Колька положил на мок-

рюю клеенку десятку — и заплакал, не в силах выговорить хоть слово. Феня смахнула толстой ладонью купюру в ящик, поставила перед Урблюдом пивную кружку с водкой и ворчливо спросила:

— Плачешь?

— Плачу, — прошептал Колька. — За все плачу.

Вселение странноватой супружеской четы в дом под флюгерами-всадниками обернулось несчастьем и для молодого человека невзрачной наружности, управлявшего аптекой до прибытия новых хозяев и занимавшего в той же квартире комнатку, больше похожую на чулан.

По какой-то непонятной прихоти для своих любовных упражнений новоселы облюбовали курятник, откуда под несмолкающий аккомпанемент куриного переполоха то и дело доносились кошачьи вопли черноокой. Молодой человек бледнел, краснел, дрожал и упорно пепелил взглядом черного кобеля, привязанного тяжелой цепью к курятнику, что, однако, ничуть не мешало ему разгуливать по двору, волоча за собой мяукающий и кудахчущий сарайчик, и нагло скалиться в ответ на жгучие взоры бывшего хозяина аптеки.

Молодой человек чувствовал себя уязвленным, ибо его собственная супружеская жизнь сложилась неудачно. Он был робок. Он неудержимо краснел в ответ на просьбу отпустить «сотню на четыре рубля», за что и был прозван женщинами Гандончиком. Жена обвиняла его во всех смертных мужских грехах. И однажды, после бесплодных ночных молитв перед памятником Генералиссимусу (которые обычно помогали и от запоров, и от клопов, и от супружеской неверности), он тайком отправился к Зойке-с-мясокомбината, известной блуднице и колдунье, обладавшей ужасающей женской силой благодаря питанию сырой говядиной. Но и она не смогла ему помочь, а когда, наконец, он робко спросил, не попробовать ли ему корень женьшень, она с грубым хохотом ответила: «Только не забудь привязать!» Зойка-то и установила, что Гандончик парализован всепоглощающей любовью к бронзовому мужчине на площади. «Вот пусть они с бронзовым и играют по ночам в шахматы, а с меня хватит», — заявила жена — и ушла к знаменитому на весь городок обжоре Аркаше Стратонову, который за один присест съедает ведро вареных яиц и с такой силой выпускал газы, что, если бы не подшивал штаны жестью, они через день после покупки превращались бы в лохмотья.

А в довершение всего Гандончика донимали мухи. Днем и ночью, летом и зимой они висели гудящим облачком над его лысинкой, коварно падали в суп, дерзко лезли в ноздри и выдавали его присутствие, когда он, провертев дырку в стенке дошатого туалета, подглядывал за женщинами.

Не в силах более выносить сладостные вопли черноокой красавицы, молодой человек сначала растерзал зубами атласный бант на грифе гитары, после чего отважно приник к замочной скважине, когда красотка безмятежно плескалась в ванне, вылизывая свою атласную шерсть длинным алым языком. С трудом сглотив ватный воздух, аптекарь в отчаянии взялся за дверную ручку, — как вдруг за спиной у него раздалось мерзкое хихиканье.

Гандончик в ужасе обернулся. Перед ним стоял черт. Черноокая кошка за дверью продолжала громко мурлыкать. «Звери, — подумал молодой человек. — Одни звери вокруг». И вдруг почувствовал необыкновенно сильную зависть к зверям.

— Как я вас понимаю, — прегадко ухмыльнулся косоглазый. — Душу б, кажется, черту продал, кабы было что продавать. А?

Гандончик опустил голову — и похолодел, упершись взглядом в копыто, еще секунду назад бывшее его ногой в ботинке сорок второго размера.

— Иго-го! — дружелюбно улыбнулся плюгавый. — То ли еще будет.

И что было силы врезал Гандончику башмаком по заднице. С возмущенным воплем молодой человек вылетел на улицу и только на мостовой оценил главное преимущество четвероногих — повышенную устойчивость к ударам судьбы.

Да, Гандончик превратился в кентавра — худого, с лишайными боками и козлиной бороденкой. По вечерам он кланчил на пиво или стопочку водки в Красной столовой, распевая жалобным голоском: «Я родственник графа Толстого, его незаконнорожденный внук, — подайте, подайте, хрестьяне, из ваших мозолистых рук!» Иногда ему подносили, хотя и знали, что за этим последует. Захмелевший кентавр широко расставлял четыре конечности и обильно мочился на пол под восторженный рев мужиков: «Во бранзбойт!» Буфетчица Феня была чуду-юду веником и гнала вон. Перепадало ему и от Круглой Дуни, из жалости приютившей бывшего аптекаря. Она носила кирзовые сапоги сорок шестого размера, умела считать до десяти и любила рисовать своими какашками на стенах, у которых пристраивалась справить нужду. Дуня держала кентавра в дровянике, кормила сушеным укропом и заставляла носить штаны, выкроенные из картофельного мешка, а если напивалась, безжалостно била палкой по тощей заднице.

Но больше всего доставалось бедолаге от собак. Спасался он от них обычно в зарослях ивняка и бузины между баней и базаром. Здесь, поблизости от дощатой будки женского туалета, он даже оборудовал себе что-то вроде ложа из битого кирпича и драного ватника с Урблюдова плеча. Тут он нередко проводил целые дни, в

страхе перед подстерегавшими его повсюду черными кобелями неведомой, но свирепой породы, издали похожими на рыб.

Единственное место, где он находил утешение, был сквер на центральной площади. Иногда жалобно поскуливающий кентавр приползал туда, утыкался носом в бронзовые сапоги и затихал, чувствуя на затылке успокаивающую прохладу и тяжесть отцовской ладони...

Как известно, все дурное случается в пятницу, но случившимся признается лишь в понедельник. Однако после четверга у нас в городке наступила суббота, за которой без предупреждения последовал понедельник. Для многих, в том числе и для председателя совета Кальсоныча, это стало полной неожиданностью. С трудом освободив крайнюю плоть, защемленную диванной пружиной, он уставился мутным взором на бумагу, с утра пораньше поднесенную ему лимонно-малиновым. Когда же до него дошел смысл написанного, перед ним вместо косоглазого оказалась невесть откуда взявшаяся старуха по прозвищу Синдбад Мореход, прославленная неутомимостью в многокилометровых походах за пустыми бутылками.

— Ну, Катерина! — выдохнул Кальсоныч. — Теперь — пропадем.

Перепуганная старуха, вообще-то зашедшая только на всякий случай пожаловаться на донимавших ее мальчишек (они то и дело перехватывали у нее добычу и непочтительно орали в ответ на ее угрозы: «Почем фунт старушатины?»), явно хватив лишку председательского перегара, бросилась на базар, потом по магазинам, сея смуту в наших сердцах и умах невразумительными предсказаниями конца света со ссылкой на власть, то есть на Кальсоныча, будто бы получившего достоверное известие о грядущем армагеддоне с приложением точного маршрута следования в Иосафатскую долину, где и состоится заседание Страшного Суда.

Когда встревоженные мужчины отыскивали Кальсоныча в Белой столовой, он приканчивал пятую кружку жигулевского пополам с водкой.

— Хана, мужики, — зловеще изрек он, шепотью бросая на язык крупную соль. — Велено Его убрать — и в переплавку!

Мужчины даже не смогли извлечь Кальсоныча из-под стола — так они были потрясены.

Три года доносились до нас вражеские домыслы о Его смерти, три года писали об этом газеты, изготовленные шпионскими ведомствами. Но памятник-то стоял! А пока памятник стоит, жив и Он. И вот выходит, что шпионские газеты писали правду? Выходит, и впрямь умер тот, по воле которого текли облака в небесах и реки в назначенных руслах, тот, кто был единственным мужем наших матерей и единственным дедом наших внуков? Легко сказать: умер.

Но кто же тогда будет поднимать нас по утрам могучими гудками фабрик и заводов? Кто будет растить нашу картошку и наших детей? Кто будет выпускать бумагу, макаронные изделия и высококачественные гробы с латунными ручками, прославившие наш городок на весь мир? Кто будет выдавать нам зарплату, крутить кино, продавать леденцы на палочке и поплевывать на наших червячков, прежде чем насадить их на крючки и забросить в воду? Кто избавит нас от запоров и взгромоздит кобелей на сучек? Кто, наконец, будет возвышаться над пышными купами каштанов в скверике на центральной площади? Ведь без этого нельзя, потому что без этого нельзя никак.

И вдруг — вдруг! — этот приказ... Памятник ночью свалить и отправить в переплавку. Памятник, который был нами в большей степени, чем мы — собою. Монумент из настоящей бронзы.

— Новый поставят, — робко предположил затесавшийся в компанию некий незнакомец, чье имя избытком согласных напоминало обглоданный костяк хищной рыбы.

— Новый! — хмыкнул дед Муханов. — Да любой другой памятник, будь он хоть из золота, в сравнении с этим — пластилиновый.

— А мы будем пластилиновым народом, — подлил масла в огонь Аркаша Стратонов, громко скрипнув жестяной подкладкой своих штанов.

Мы и не заметили, как к нам остороженько присоединился плюгавый в своем пиджачишке и лимонно-желтых штанах. Поначалу он все кивал да поддакивал, а затем, лицемерно проливая слезы и подло пряча рога под гадкой шляпчонкой, проблекотал:

— А надо Его похоронить. На городском кладбище. Как человека. Кто осмелится могилку порушить?

И пока мы, несколько ошеломленные этим предложением, молчали, он свистнул Валюхе насчет каждому по триста и по конфетке «Ласточка». Мысль показалась нам заслуживающей внимания. В самом деле, приказ есть приказ, памятник свалят и переплавят. Спрятать его невозможно, ибо в нашем городке тайну сохранить еще никому не удавалось, да и зачем? Памятник перестает быть памятником, если его убрать с центральной площади. А вот если похоронить...

Из Белой столовой мы перебрались в Красную, где плюгавый заказал всем еще по сто пятьдесят и по конфетке «Буревестник». Оказавшийся тут Вита Маленькая Головка, городской сумасшедший и опытный кладбищенский землекоп, согласился выкопать могилу быстро и за умеренную цену. Косоглазый с улыбочкой тотчас и выдал требуемую сумму. Вот тут бы нам спохватиться да поинтересоваться, что означает его улыбочка и с чего бы это ему вздумалось швыряться деньгами, — но черт, словно упреждая вопросы, вновь заказал всем водки и по конфетке «Белочка». Явился

Колька Урблюд с гармошкой, подсади к нашему столу Феня с сестренкой Лидочкой, весьма интересной девушкой, весившей ровно восемь пудов — без ботинок и лифчика... Спустия еще раз по триста и по конфетке «Чародейка» мы вдруг обнаружили себя у подножия памятника Генералиссимусу. Кальсоныч ходил между нами с клочком бумаги и пальцем, обмокнутым в кровавое вино, и составлял список присутствующих. Когда незнакомый бородач с ослепительно-белыми зубами невозмутимо сообщил, что его зовут Малютой Скуратовым-Бельским, а его товарища — Ванькой Каином, председатель со вздохом убрал палец в нагрудный карман и велел послать пожарную машину за водкой.

Тем временем народ развеселился. Круглая Дуня лихо отплясывала с Колькой Урблюдом, а восьмипудовая девушка Лидочка — с незнакомцем, чье имя избытком согласных напоминало обглоданный костяк хищной рыбы. Лесхозовский бухгалтер Глаз Петрович, уставившись стеклянным глазом на черноокою красотку, галантно приглашал ее пройтись в близрасположенные кустики для продолжения знакомства. Привлеченная общим весельем, из ателье над парикмахерской явилась Наташа, гипсовый манекен весьма интересной наружности, — и по такому случаю ей просверлили соответствующее отверстие и, за неимением собственных, подвязали шелковыми лентами прекрасные гипсовые ноги, позаимствованные в магазине «Обувь».

Женщины упрямо пытались влезть на постамент, чтобы поднести Генералиссимусу отвальную, но он не соглашался. Сдался он только после того, как за дело взялась черноокая красотка, которой наскучил одноглазый кавалер, клятвенно заверявший ее, что в головку его члена для усиления эффекта вживлены три волчьих картечины и что любая женщина, хоть раз отведавшая это чудо, уже никогда его не забудет. Генералиссимус заметил, что гораздо эффективнее точно подобранное металлическое кольцо, а то и два, упрятанные под крайнюю плоть. Красотка взялась рассудить их спор. Через полчаса, выбравшись из кустов, Генералиссимус, без бронзовой фуражки и в разорванной на спине шинели, вдруг попросил собравшихся не церемониться и называть его Иосифом или даже просто — Джо. Ему налили штрафную и усадили верхом на кентавра. Кости у бывшего Гандончика хрустнули. Прилетевший на дирижабле большой эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Аркадия Райкина прочувствованно грянул «Чижика-пыжика». Оглушительно бухнул Аркаша в свои жестяные штаны — и мы пустились в путь по улочкам засыпающего городка, предводительствуемые кривляющимся и пританцовывающим чертом. За ним медленно ехала пожарная машина, поливавшая нас время от времени водкой из брандспойта.

Бедный кентавр едва передвигал ноги. Вдобавок к Генералиссимусу на его хребте расположилась черноокая красавица неведомой, но свирепой породы, издали похожая на рыбу. Не обращая внимания на облепивших его мух, Генералиссимус щекотал бронзовыми усами красоткину шею и прерывающимся от страсти голосом звал ее собой в Париж, где у него была прибыльная фабричка, выпускавшая высококачественную колючую проволоку. За ними плелся задумчивый Глаз Петрович. Он никак не мог вспомнить и понять, что же с ним произошло и куда подевался его стеклянный глаз: то ли он сам его впопыхах проглотил, то ли красotka слямзила.

С веселыми песнями и громкими криками миновали мы мост через Преголю и тут, на перекрестке, единодушно решили непременно свернуть налево, к кладбищу, после чего незамедлительно свернули направо, за детдом, откуда начиналась дорога к болотам.

Внезапно изнывающий под тяжестью седоков кентавр почувствовал, как переломившийся пополам хребет ударил в низ брюха, и из пробоины в дорожную грязь хлынули, как змеи из мешка, влажные сизые кишки. Кентавр упал.

— Ничего, сынок, — сказал Генералиссимус. — Дальше будет веселее.

— Шея станет тоньше, но зато длиннее, — подхватила черноокая.

Кентавра оттащили в сторонку и оставили под присмотром Круглой Дуни.

Мы же продолжали путь, следуя за сверкавшим при луне Генералиссимусом. В обнимку с черноокой красоткой он уверенно шагал по топкому лугу. Мы увязали в грязи, но черт то и дело подбадривал нас водкой из брандспойта. Генералиссимус ушел далеко вперед — и вдруг пропал в тумане. Когда мы приблизились к тому месту, над его бронзовой макушкой сомкнулась болотная ряска...

Первым пришел в себя Кальсоныч.

— Ну, Сусанин! — прошипел он, засучивая рукава. — Ну, сукин кот!..

Плюгавый подпрыгнул и прегадко рассмеялся.

— Не по-русски это, Кальсоныч! Где это ты видел кота, матерью которого была бы сука? — Вокруг него закрутился пахнувший шафраном туманный вихрь. — Не по-русски!

Мы уже все поняли. Все, все мы поняли, и потому, дрожа от холода и пробирающего до костей похмелья, лишь молча наблюдали за уносящимся в пестро размалеванном автомобильчике чертом, издевательски мяукающим и обнимающим одной рукой красотку со стеклянным глазом, у которой вместо губ была плотно сжатая кольцевая мышца — навроде той, что запирает заднепроходное отверстие у людей и животных. Пахнувший шафраном вихрь унесся, словно и не было его, и только откуда-то из туманной выси

долго еще доносилось до нас ядовитое хихиканье этого сукиного кота черта...

Не выдержав мушиного гудения и приближающегося утра, Круглая Дуня собрала в ржавую кастрюлю все, что осталось от кентавра, и закопала на городском кладбище в могиле, предназначенной для Генералиссимуса. И долго искала Дуня подходящие слова, чтобы проститься с покойным, душа которого устремилась в те края, где нет ни мух, ни черных кобелей неведомой, но свирепой породы, издали похожих на рыб, — но так и не нашла ничего лучше, как приветствовать восходящее солнце фразой:

— Прощай, Гандончик!

Прощай, Гандончик, прощай!..

КРАСАВИЦА МУ

Сожженные перекисью прямые волосы до плеч, три лезвийных прорези на белом лице — глаза и рот, черная кожаная куртка, глухо запахнутая на плоской грудке, и черные кожаные штаны на прямых, как палки, ногах — именно такой и запомнилась всем Красавица Му: черно-белое узкое тело верхом на огнедышащем звероподобном мотоцикле БМВ, подаренном ей дядюшкой в день рождения. Вечерами она выводила мотоцикл из гаража, прыгала в седло — и ревущая машина, приседая на заднее колесо и вздымая клубы красной пыли, с грохотом уносилась в центр городка, на площадь, куда уже стягивались юные обладатели «яв» и «ковровцев», чтобы допоздна шумной стаей носиться по темным улицам, доводя до осатанения собак и их хозяев. Но чаще Красавица Му разъезжала на мотоцикле одна по окрестностям и проселочным дорогам, решительно пресекая попытки моторизованных ухажеров набиться в компанию. Для самых упрямых у нее на широком кожаном поясе висела старая галоша, которой она безжалостно лупила нахалов по органу дерзости.

Мужчин она боялась и ненавидела с раннего детства. Их взгляды вызывали у нее рвоту, а прикосновения — ожоги, которые ее матушка, сумасшедшая по прозвищу Мадам Лю-Лю (мальчишки кричали ей вслед: «Мадам Лю-Лю, я вас люблю, однажды вечером убью!»), лечила свежей сметаной и яичным белком. Единственное существо мужского пола, встречавшееся в их доме без содрогания, был дядюшка Брутто-Нетто. Родство этого забубенного пьяницы и бабника с Мадам Лю-Лю было весьма проблематичным, но только он один во всем городке хоть как-то поддерживал эту ненормальную бабу, круглый год носившую сделанную из старого тюля шляпку, похожую на сломанного бумажного змея, и выкрашенные желтой

масляной краской мужские ботинки. Работала она в детском саду на кухне, и все ребятишки в городке знали наизусть песенку-молитву, которой она напутствовала их на сон грядущий:

Ангел мой,
ляг со мной.
А ты, сатана,
уйди от меня,
от окон, от дверей,
от кровати моей.

Брутто-Нетто помогал бедной дурочке запастись углем и дровами на зиму, обрабатывать огород и ремонтировать квартирнку, а когда его спрашивали, почему он это делает, отвечал: «Так они же без меня сдохнут, брутто-нетто-мать-ети!» Частенько дядюшка оставался ночевать, и тогда девочка долго не могла заснуть, мучительно гадая о природе загадочных звуков, издаваемых материнным ложем. Наутро Мадам Лю-Лю не без смущения оправдывалась: «У меня от него грудь не вянет...» Дядюшка и подарил девочке старательно восстановленный мотоцикл, при первом же взгляде на который она испытала сложное чувство — смесь влечения и ужаса перед этой железной мужской мощью, сравнимой разве что с мощью жившего у Мадам Лю-Лю бронзово-алого петуха, подаренного тем же дядюшкой.

Этого петуха держали в клетке и старались пореже выпускать на волю, ибо, едва выбравшись во двор и размяв ноги, он начинал утробно клекотать в поисках жертвы. Не всякая курица выдерживала его чудовищный натиск, иных, послабее, он затапывал насмерть. Со временем он стал набрасываться и на других животных женского пола, неизменно добиваясь успеха в поединках с индюшками, кошками, собаками и свиньями. Буяниха клялась и божилась, что своими глазами видела, как этот петух пытался завалить пьяненькую Общую Лизу, чье имя в городке давно стало нарицательным, и при этом пророчествовала, что, если петуха не остановить, рано или поздно он станет серьезной угрозой женской чести. «Размечталась!» — хохотал Брутто-Нетто.

После школы Красавица Му устроилась на службу в страховое агентство. Верхом на ревушем мотозвере она врывается в тихие дворики и с перекошенным от ярости лицом рассказывает бабам такие ужасы о грядущих землетрясениях, наводнениях, пожарах и убийствах, что женщины норовили поскорее спрятаться, забиться в ближайшую щель и ни под каким видом не соглашались страховать жизнь или имущество: кому нужна компенсация за ущерб в том обугленном и разгромленном грядущем, где наверняка не будет места никому, кроме этой сумасшедшей, ее мотоцикла да петуха?

Красавица Му никогда не ходила купаться в компании, а загорала летом и вовсе в своем саду, вытоптав в зарослях лютой крапивы местечко ровно для одного тела плюс пять сантиметров «для самочувствия». Если в сад забредал петух, девушка затаивала дыхание, зажмуривалась, сжималась — лишь бы зверюга не обнаружил ее присутствие и не начал утробно-угрожающе выклекотывать свое «ко-ко-ко». А петух словно чувал, что в саду кто-то от него прячется, и с каждым днем рыскал все ближе от зарослей крапивы. Девушка слышала его тяжелую поступь, металлическое позвякивание перьев, и в голове у нее мутилось, и не было сил вскочить и бежать от опасности, такой страшной и такой сладостной...

Однажды она открыла глаза, решив, что петух убрался восвояси, и увидела над собой облитую жаркой бронзой шею, хищно разинутый клюв с твердым алым языком и распахнутые вполнеба атласные крылья. Она потянулась к галоше, с которой никогда не расставалась, но петух опередил ее: он клюнул ее в лоб, и девушка потеряла сознание.

Когда она очнулась, зверя уже не было. Крапива вокруг была втерта в землю, галоша валялась поодаль. Тело девушки покрылось пупырышками, покраснело и пылало.

Уже через три месяца у Красавицы Му заметно обозначился живот, а спустя еще полгода она произвела на свет крупное белое яйцо.

— Ну что ж, — задумчиво проговорил доктор Шеберстов, принимавший роды, — придется тебе, милая, его высиживать.

Плача от унижения и страха перед неизвестностью, Красавица Му соорудила на своей постели что-то вроде гнезда из подушек, простыней и полотенец и целый месяц не слезала с яйца, в то время как Мадам Лю-Лю безропотно кормила ее с ложечки и выносила ночной горшок. Наконец скорлупа треснула, и молодая мать узрела покрытого желтым пушком мальчика с голыми крылышками вместо лопаток. Той же ночью он был водворен в подвал и заперт на три замка.

Красавица Му раздалась в груди, ее лицо обрело объемность, шея и бедра — полноту. Она перестала сжигать свои волосы перекисью, и прическа ее приобрела сходство с пегой копешкой сена после дождя. Грудь ее постоянно сочилась молоком — его было так много, что хватало на выпойку соседских телят (отсюда-то и пошло ее простое, как мычание, прозвище — Красавица Му). С сонным безразличием улыбалась она мужчинам, пожирившим взглядами ее млечную полноту, и с сонным же безразличием отвергала их домогательства. Кто из них мог сравниться с ее безжалостным и могучим бронзово-алым возлюбленным? Кто из них мог бы вызвать у нее предощущение рая одним сильным ударом в лоб, на котором цвела незасыхающая алая язва?

Тем временем в подвале подрастал ее сын. Ключи от замков мать не доверяла никому. Дважды в день она просовывала в узкую щель алюминиевую миску с кашей и тотчас накрепко запирала дверь. Шли годы, а Красавица Му боялась даже помыслить о том, чтобы увидеть сына: воображение рисовало ей чудовищ. Однажды стены в ее комнате, расположенной над подвалом, вдруг покрылись желтым пушистым мхом; в другой раз золотые фазаны ни с того ни с сего посыпались с обоев и устроили на полу любовное побоище...

Спустя ровно шестнадцать лет с того дня, как из яйца вылупилось крылатое существо, из подвала донесся нарастающий вой, затем раздался оглушительный удар. Подвальная дверь вылетела вместе со ржавыми запорами, из темноты хлынул головокружительный запах зоопарка, и взорам Красавицы Му, Мадам Лю-Лю и дядюшки Брутто-Нетто предстал юноша божественной красоты, с белоснежной кожей, огромными крыльями за спиной и черными птичьими глазами.

— Змея! — воскликнула Мадам Лю-Лю, не отрывая взгляда от того места, которое внук смущенно почесывал.

— Это не змея, — пролепетала Красавица Му.

— Но лучше б это была змея, — сказал дядюшка. — Для всех баб лучше встретиться со змеей, чем с этим...

Уже через несколько дней развеялись страхи матери, опасавшейся, что ее белоснежному чаду придется туго среди бескрылых людей. Петушок (так прозвали парня) оказался хорошо оснащен для встречи с людьми. Даже слишком хорошо, как считала Буяниха. Он пил водку, дрался и ругался, как закоренелый хулиган, и едва ли не в первый день взялся реализовывать свои богоданные мужские качества. Первой жертвой пала Общая Лиза, которая после встречи с Петушком утратила дар речи и ботинки. Второй жертвой стала соседская корова Ночка. Третьей — девятидвухлетняя старуха Макариха, у которой после этого черная змея грусти, сосавшая ее сердце сорок лет со дня смерти мужа, удалилась через задний проход, дав Макарихе умереть тихо и весело. Змею Петушок тоже не пропустил.

Он кидался на женщин без разбору, и ни одна из них не была надежно защищена от его притязаний (впрочем, многие и не злоупотребили своим правом на защиту). Бесшумно взмахивая крыльями, он сваливался с неба в чужие спальни, врасплох застигал женщин на пляжах и в садах, в общественной бане и даже в туалете. Крылья же помогали ему спастись от разгневанных мужчин, которые спешили обзавестись охотничьими ружьями и в свободное время отрабатывали технику стрельбы влет. Подранный дробью и поцарапанный камнями, каждый день он все равно вылетал на охоту, с высоты высматривая жертву своими птичьими глазами.

Обиженные требовали от его матери утихомирить парня. Красавица Му обещала, но слово не держала. Она изнывала от томления по бронзово-алому возлюбленному и испытывала страх перед сыном. Иногда он бросал на нее взгляды, вызывавшие у нее давно забытые приступы тошноты и пробуждавшие желание взяться за галошу. Его случайные прикосновения оставляли на ее теле ожоги. По ночам ей снились спаривающиеся золотые фазаны.

Доведенная до отчаянья, она распахивала в доме все двери, рассыпала на полу дорожкой пшено и ложилась на кровать в своей комнате с зернышком на лбу, дожидаясь, когда прожорливый зверь доберется до последнего зерна. Дождалась она сладостного удара в лоб и тем июльским полднем, когда весь городок впал в сонную дрему, — но вслед за ударом последовал второй — и такой силы, что внутренности ее вмиг превратились в одну прямую железную трубу, едва не лопавшуюся от бешеного хода раскаленного стального поршня. Со стоном открыв глаза, она увидела над собою вдохновенное лицо Петушка, а на полу — поверженного петуха. Красавица Му чувствовала себя цыпленком, насаженным на вертел. Она громко закричала. Петух на полу встрепенулся, захопал могучими крыльями, с возмущенным воплем бросился на соперника и сорвал его с женщины. Сцепившиеся отец и сын покатались по полу. Яростно вопя и хлопая крыльями, они выкатились из дома, потом со двора и покатались вниз по улице к старому деревянному мосту через Лаву, называвшемуся в обиходе Банным (в двух шагах от него располагалась городская баня).

Так началась роковая битва на Банном мосту, в которую были вовлечены сотни людей и которая завершилась трагическим исходом.

Сегодня уже точно не установить, почему драка один на один переросла в многолюдное побоище. Одни говорят, что собравшиеся на мосту люди попытались под сурдинку свести счеты с драчунами, да кто-то кого-то нечаянно задел, кто-то обиделся, кто-то вспомнил старые обиды, и драка стала всеобщей. Роковую роль сыграла старинная вражда между улицами и районами городка, и когда какой-то запыхавшийся пацан пробежал по Семерке с воплем «Наших Питер бьет!», десятки бойцов сорвались кто откуда и, наматывая солдатские ремни на руку, тотчас ринулись к мосту, служившему границей между извечными врагами — Питером и Семеркой. А поскольку к тому времени у моста уже собрались питерские, забавлявшиеся зрелищем петушиного боя, — естественно, общая битва просто уже не могла не случиться. Со всех ног к полю боя спешили мужчины в возрасте от двенадцати до тридцати лет. Возглавляемые королями и подгоняемые оруженосцами, сбегались на брань Красные Дома, Генеральский Поселок, Фабрика, Маргаринка, Макаронка, Станция, Кладбище, Тюрьма, Офицерс-

кая, Лесопилка, Маленькая Школа и Школа Дураков, Площадь и даже Казармы. На мосту становилось тесно. Трещали отдираемые доски настила. Со свистом резали воздух пряжки солдатских ремней. От громового мата лопались стекла в гостинице на одном и в бане на другом берегу реки, посередине которой покачивался вверх брюхом оглушенный мирный водяной. Испарения от разгоряченных тел сгустились в нижних слоях атмосферы в свинцовые тучи. Сверкнули первые молнии.

Растерзанная и поцарапанная Красавица Му с трудом доковыляла до зеркала и долго всматривалась в свое отражение. Блеск молнии и удар грома привели ее в чувство. Она решительно распахнула дверцы шкафа и сорвала с вешалки затвердевший от ненужности свой кожаный костюм. Брюки трещали по швам на ее расплывшихся бедрах, но она все-таки натянула их и даже застегнула. Млечная грудь никак не вмещалась в куртку. Женщина со злобой вновь взглянула на свое отражение в зеркале. Глаза ее сузились, рот стал похож на бритвенный порез. В саду в зарослях крапивы отыскалась резиновая галоша со сгнившей стелькой. Мотоцикл не желал заводиться, но, прочихавшись и прокашлявшись, взревел и задрожал, как встарь. И как встарь, Красавица Му испытала мгновенное и острое чувство страха перед его железной мужской мощью.

Драка была в разгаре, когда со стороны Семерки донесся звериный рев и на бульжную мостовую, которая вела к Банному мосту, вылетел мотозверь, оседланный узкой черно-белой фигуркой. В считанные мгновения Красавица Му достигла поля боя и врезалась в колышущееся людское месиво. Мотозверь увяз. Сорвав с пояса галошу, она ринулась в гущу драки, пробиваясь к ее эпицентру — туда, где не на жизнь, а на смерть бились петух и Петушок. Она действовала хладнокровно, решительно и жестоко.

Издали нам было видно мелькавшее то там, то здесь ее белое лицо, разметавшиеся белым пламенем волосы и белая рука с черной галошей — все ближе к тому месту, откуда доносился клекот петуха и нечленораздельные выкрики Петушка.

Не сразу мы заметили, как от удара молнии загорелись деревянные опоры моста. Но после второго и третьего ударов огромное деревянное сооружение вспыхнуло, как порох. Опомнившиеся вдруг драчуны прыгали в воду, бежали в разные стороны, — а молнии все били и били одна за другой в гудящее пламя, словно сам Всевышний во гневе решил раз и навсегда покончить со скверной. Внезапным сильным порывом ветра пламя прижало к настилу, и мы увидели то ли сцепившихся, то ли обнявшихся черно-белую Красавицу Му, белоснежного Петушка и бронзово-алого петуха, —

но уже в следующий миг огонь взметнулся до неба, раздался ужасающий грохот, и мост с непереносимым хрустом, скрежетом и визгом, разбрызгивая пылающие головни и стреляя во все стороны языками пламени, всем своим чудовищным ярко-золотым скелетом обрушился в воду...

Долго не расходились зеваки, оцепенело наблюдавшие за дотлевающими и дымящимися останками моста.

Все молчали.

И только Мадам Лю-Лю в своей нелепой шляпке и нелепых желтых ботинках на берегу сидела и плакала, снова и снова выставляя:

Ангел мой,
ляг со мной,
а ты, сатана,
уйди от меня,
от окон, от дверей,
от кровати моей...

ВАНДА БАНДА

До самой смерти ее мать была убеждена, что внутри у нее живет лягушка, которая проникла в желудок — а оттуда в печень — головастиком, когда женщина однажды в лесу утолила жажду из придорожной лужи. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, она глушила лягушку водкой, пока в один прекрасный день взбесившаяся рептилия не укусила ее в сердце.

Ее отец был известен лишь тем, что, в отличие от других забойщиков скота, пользовавшихся ножами, приканчивал созревшую свинью ударом головы. Ничего не подозревавшее животное удивленно взирало на невзрачного мужчинку, приближавшегося к жертве на четвереньках, и вот тут-то он хватал свинью за уши и бил лбом промеж глаз. На спор он заколачивал лбом гвозди в стену. В конце концов его нашли в свином закуте, где у него разорвалось сердце. За ночь животные объели у него все выступающие части лица, поэтому хоронить его пришлось в закрытом гробу.

Люди как люди. Как все. Вот у них-то и родилась Ванда Банда, самая сильная в мире женщина, чью верхнюю губу украшали усы твердые и острые, как щучьи ребра, а левую ногу — до колена — сшитый отцом из свиной кожи грубый ботинок на шнуровке. Этот ботинок, по преданию, Ванда никогда не снимала, не чистила и не мыла.

Ее необыкновенный дар проявился уже в раннем детстве, когда семилетняя девочка принесла домой упившуюся мать и только тогда обнаружила, что всю дорогу матушка не выпускала из рук мешок с украденной на ферме трехпудовой свиньей.

Одноклассники вскоре поняли, что с Вандой, получившей прозвище Банда, лучше не связываться: одним ударом она валила десяток хулиганов, забор, возле которого происходило дело, и коро-

ву, забравшуюся в палисадник и тайком пожиравшую цветы. Позрелев, она для устрашения противников голыми руками разорвала пополам живую кошку.

Созревала она пугающе быстро. Что бы она ни надевала на себя, даже если вещь была впору, одежда трещала по швам и лишалась пуговиц, сыпавшихся с Ванды, как переспелые вишни. Мальчики слепо преследовали ее, с хрустом дробя каблуками пуговки и умоляя снять ботинок с левой ноги. Позднее на ее верхней губе пробились усики — твердые и острые, как щучьи ребра. Она украшала их крошечными серебряными колокольчиками, чей непрерывный тонкий звон вызывал у мужчин смещение сердца к мочевому пузырю.

Не понимая, что с нею происходит, Ванда потерянно бродила по дому, натываясь на мебель и задевая дверные косяки. Висевшая на стене в гостиной гитара при ее появлении начинала гудеть, и со временем звук становился громче, пока однажды не полопались все струны.

Когда же она в женской парикмахерской спросила у немой Тарзанихи (получившей прозвище после смерти мужа, когда она принялась раз-другой в месяц забираться на дерево во дворе, чтобы побыть в одиночестве), что все это значит, парикмахерша припудрила зеркало и вывела пальцем на стекле — «лебовь».

— И что? — не поняла Ванда, ужасно покраснев. — Что это такое?

— Это что-то вроде уродства, — объяснила Буяниха. — То, без чего ты не можешь обойтись, хотя и хотела бы. Ну, скажем, горб у красавицы. Или красота.

После смерти родителей Ванда устроилась грузчицей на мукомольный завод, где в одиночку за смену разгружала пять-шесть вагонов с зерном, и завела кота — черного зверюгу, вскоре ставшего грозой и любимцем кошачьей округи. От диких его воплей Вандино сердечко переворачивалось и гнало кровь в обратном направлении. Она думала, что кот мучается своей безымянностью, но предложение Буянихи назвать его Чертом тотчас отвергла:

— Этого? Тогда он обязательно и станет чертом.

Она подолгу не засыпала, боясь темноты, как в детстве боялась цыгана, — от страха темнота становилась такой густой, что сновидения увязали в ней и не могли добраться до Вандиной постели. Среди ночи она скидывалась и хохотала глупым оперным басом.

Измученная бессонными ночами и кошачьими криками, Ванда однажды кастрировала своего черного зверя и привязала шелковой ленточкой к ножке стола в гостиной. Теперь, едва завидев ее, кот всякий раз испускал ужасный вопль и вставал на дыбы, норовя сожрать хозяйку, и с такой силой дергал стол, что ваза с цветами неизменно летела на пол. На него не действовала ни ласка, ни

таска. В конце концов Ванде пришлось оставить кота в покое. Она наловчилась покидать дом через окно спальни.

И вот, наконец, она влюбилась.

И как!

И в кого!

Это был мужчина тридцатисантиметрового роста. Она нашла его в саду возле свежей кротовины и решила было, что это крот какой-то неведомой породы. Преодолев мгновенное и непроизвольное отвращение, она подняла его на ладони к глазам и убедилась, что перед нею самый настоящий, самый всамделишный человек, мужчина со всеми его атрибутами (он был наг), дрожавший от холода и страха, явственно читавшегося на его личике. Он был гармонично сложен, красив и беспомощен. Он протянул руки к Ванде и что-то проговорил то ли на кротовьем, то ли на птичьем языке. Девушка засмеялась, поднесла его ближе к губам, человечек укололся усом — твердым и острым, как щучье ребро, — и вскрикнул, девушка испугалась, сердце ее перевернулось, погнав кровь в обратном направлении, и тут-то она и поняла, что влюбилась, и произнесла это вслух таким голосом, каким говорят: «Я умираю», или: «Я убила его», или: «Я наделала в штанишки».

Целый год человечек прожил в ее спальне, прежде чем она убедилась, что это не ребенок, а зрелый мужчина, достигший предела в росте. Она назвала его Мыней, образовав прозвище от слова «мышонок». Она соорудила ему одежду и постель, купила игрушечную мебель и посуду и заколотила дверь в гостиную огромными ржавыми гвоздями, чтобы человечек случайно не стал жертвой кровожадного черного кота.

Влезая после работы в окно спальни, она испытывала неведомую ей прежде радость лишь оттого, что в уголке, где было устроено Мынино жилие, горит свет (в роли светильника выступал карманый фонарик), что человечек цел и невредим и даже, кажется, рад ее возвращению. Ванда тотчас бросалась в кухню готовить для Мыни что-нибудь вкусненькое, а потом с умилением наблюдала за тем, как он орудует кукольной вилкой и кукольным ножом...

Ванда мучилась немотой, постепенно осознавая, какая это опасная болезнь — любовь. Ей хотелось поведать Мыне о своих чувствах, и она не раз пыталась сделать это, однако ей не давалась даже простейшая фраза — «Я тебя люблю». Она выучила ее наизусть, но так и не смогла двинуться дальше местоищений. Слово же «люблю» застревало в горле, вызывая удушье. Тогда Ванда попробовала обойтись без него: «Я... тебя... понимаешь? Я — тебя...» И строила умильную физиономию, на которой были глаза, нос, губы и усы с колокольчиками, но не было слова «люблю». Она попыталась выразить чувство жестами, но все кончилось тем, что, ткнув

пальцем в грудь себя и Мыню, она упала в обморок, каковой мог означать что угодно. Она зажигала спичку, чтобы объяснить Мыне, как она пылает. Она пила воду, чтоб он понял, как она жаждет. Наконец она прибегла к самому сильному средству, с трудом выдавив из себя единственную известную ей фразу на литовском языке: «Аш тавя милю», — но и это усилие оказалось бесплодным.

Человечек с любопытством и тревогой следил за Вандиными ужимками, но, кажется, ничего не понимал.

Ванда мучительно размышляла о слове «любовь», недоумевая, почему именно оно должно выражать то, что чувствует она, Ванда (а не тот человек, который, возможно, изобрел это слово для себя и своих чувств), и не обман ли это, и нет ли более подходящих слов, которые не действовали бы на ее язык подобно уколу анестезина перед удалением зуба...

Наконец девушка сообразила, что они должны научиться понимать друг друга, и взялась учить Мыню русскому языку. Поскольку Ванда не читала ничего, кроме школьных учебников, а любознательность ее не простиралась дальше вопроса, какают ли ангелы, Мыня скоро освоил весь ее словарь. Теперь он понимал, что стул — это стул, но не понимал, что любовь — это любовь. Ванда прибегла к самому обыкновенному и самому пагубному средству: она записалась в библиотеку и принялась читать книги. Как и следовало ожидать, даже то, что было ясно вчера, отныне превратилось в нечто зыбкое и ускользающее...

Совершенствуясь в шитье лилипутской одежды и изготовлении миниатюрной мебели, Ванда думала о Мыниной родине. Откуда он? Где находится страна, населенная крошечными человечками, мужчинами и женщинами, щебечущими на птичьем языке, в котором слово «любовь», возможно, означает что-нибудь иное, или, маленькое и слабое, вовсе лишено тяжести смысла, озабоченное разве что выживанием в маленьком, слабосильном словаре? Разве сравнится их слово с «любовью» Ванды, голыми руками разорвавшей пополам живую кошку. А какие там птицы и кошки? Не может же быть, чтобы такие крошечные коты испытывали такие же чувства — к птицам ли, людям ли, все равно, — какие испытывает зверь в ее гостиной, вмещающий столько злобы в черном бесполом теле...

— Ты жил под землей? — спрашивала она Мыню.

— Нет.

— На небе?

— Нет. В гдетии.

— Кем же ты там был?

Ей хотелось, чтоб в этой самой «гдетии» он был принцем, хотя она не знала, где эта страна и какое там государственное и политическое устройство (как в муравейнике? в пчелином рое?).

— Я был аретом.

— Принцем?

— Аретом великой тефелы. Я лепулил для такси.

Иногда она испытывала что-то вроде ревности к возможной сопернице из иного мира и готова была уничтожить неведомую страну, чтобы Мыня не смог туда вернуться. Словно отвечая этому темному движению ее души, черный кот в гостиной грохал столом и гнусаво орал. Ванда спохватывалась, гнала дурные мысли, утешаясь тем, что Мыня по собственному желанию никогда не заговаривал ни о своей родине, ни о возвращении.

Мыня освоился в чужом мире. Он уже отваживался на продолжительные прогулки по спальне и кухне. А однажды вернувшаяся с работы Ванда обнаружила его в гостиной. Можно вообразить, каких усилий стоило Мыне взобраться по свисающему краю одеяла на хозяйкину кровать, перебраться на стол, с него на подоконник, спуститься в сад, а затем — видимо, его привлек тяжелый кошачий запах из открытого окна, — по плющу подняться в жилище черного зверя. Кот кричал дурным голосом, встав на дыбы и разинув злую алую пасть, дергал стол и пытался когтистой лапой дотнуться до человечка, который дерзко бегал в опасной близости от зверя.

Ванда унесла Мыню в спальню. После этого случая она задумалась: как уберечь человечка от опасностей, подстерегавших его в этом мире? Выход один: надо поместить его в клетку Закона, управляющего этим миром.

Председатель поссовета Адольф Иванович Кацнельсон, по прозвищу Кальсоныч, отмалчивался, а у Ванды спрашивать было и вовсе бесполезно, — поэтому так никто и не узнал, каким образом утрясли вопрос о документах, необходимых для бракосочетания. Скорее всего Кальсоныч за бутылку самогона состряпал для мышонка бумаги, удостоверяющие, что тот действительно является человеком. Переговоры велись за закрытыми дверями. Однако уже на следующий день весь городок знал, что Ванда Банда выходит замуж за карлика. А может быть, за кролика. Или даже за ученую крысу.

По соображениям конспирации церемония была назначена на раннее утро, но Ванде стало известно, что поглазеть на ее суженого сбегутся все, кроме умирающих, новорожденных и заключенных местной тюрьмы. Это, однако, не поколебало ее решимости.

В белом жестком платье, хрустевшем при ходьбе, словно оно было сделано из лютого мороза, в грубом своем башмаке, ради такого случая покрашенном белой краской, сыпавшейся крошками на асфальт, с металлическим подносом в руках, посреди которого

кусочком пластилина был закреплен Мыня, Ванда гордо, не глядя по сторонам, прошествовала в загс и вышла оттуда замужней женщиной.

— Ей бы коня в мужья, — проворчала Буяниха. — Первый раз в жизни вижу лошадь, которая выходит замуж за сено.

Очутившись, наконец, в спальне, Ванда рухнула на постель и долго отлеживалась в полубморочном забытьи.

Очнувшись, спросила у Мыни:

— Чего же ты хочешь?

Он ответил, для верности указав пальцем на ее левый башмак.

Ванда заплакала. С трудом расшнуровала ботинок. Сняла.

— Ты этого хотел? — спросила она таким голосом, каким говорят: «Я умираю», или: «Я убила его», или: «Я наделала в штанишки».

Известнейшие городские охальники несколько недель состязались в предположениях насчет семейной жизни Ванды и Мыни. Но вскоре эта тема наскучила даже женщинам. А Буяниха и вовсе всех озадачила, сказав однажды: «Вы-то, большие, чем лучше? Бедная девочка...» И заплакала.

В Вандиной жизни мало что изменилось. Она по-прежнему работала на мукомольном заводе, таскала на спине мешки с зерном, ходила за покупками, хлопотала по дому. Как и прежде, гостиная оставалась запретной зоной для Мыни. Как и прежде, вечера они коротали за чтением вслух. И лишь одно все сильнее тревожило Ванду: она не знала, о чем говорить с Мыней. Снова и снова она возвращалась к разговору о «гдетии», показывала пальцем то на пол, то на потолок (где?), но Мыня только пожимал плечами, давая понять, что нет таких человеческих понятий — верх, низ, право, лево, — которые помогли бы указать путь в «гдетию».

Теперь Мыня спал рядом с Вандой в углублении на подушке. Глядя на его умиротворенное лицо, она засыпала с улыбкой на губах. Ей снилось, будто она постепенно, изо сна в сон, становится все меньше, и это радовало ее, и с этой радостью она и просыпалась. Даже мерзкие кошачьи вопли, доносившиеся из гостиной, не омрачали Вандину радость. Даже смутное предчувствие того, что неомраченная радость не может длиться всегда, не причиняло ей боли, словно она перестала быть человеком. Когда она задумалась об этом, ей вспомнилась фраза из прочитанной недавно книги — и она произнесла ее вслух:

— Совершенная любовь убивает страх.

А в том, что любовь ее совершенна, она нисколько не сомневалась, хотя и не знала, хорошо ли это.

Тревога шевелилась в ее душе в те минуты, когда она снимала левый башмак.

Произошло же то, что, наверное, и не могло не произойти. В отсутствие жены Мыня вновь забрался в гостиную, чтобы исполнить профессиональный долг арета. Увидев человечка, черный кот обезумел. От его рывка стол упал набок, шелковая петля соскочила с ножи, и зверь одним прыжком достиг бросившегося бежать Мыню. Человечек хотя и выхватил лепу, но не успел слепулить. Кошачьи зубы сомкнулись на его шее.

Вечером Ванда отыскала Мынины останки в гостиной. Она легла ничком. Не лежалось. Она пошла в кухню и долго пила из-под крана. Долго сидела у окна, зажигая спичку за спичкой. Наконец сняла с кухонного стола клеенку, тщательно выскоблила столешницу ножом и легла. И бесполоая черная ночь объяла ее.

Там ее и обнаружили — на столе в кухне, со скрещенными на груди руками, с жалобной улыбкой, замерзшей на губах.

Пришлось звать десяток здоровенных мужиков, чтобы вынести из дома ее огромное тело. Под его тяжестью полопались рессоры у грузовика. Часа два, с пыхтеньем и руганью, мужики втаскивали Ванду на верхний этаж больницы, где женщину должен был осмотреть доктор Шеберстов. Но прежде надо было освободить ее левую ногу от уродливого грязного ботинка. Поглазеть на эту процедуру сбежался весь персонал. Доктор Шеберстов так долго возился с заскорузлой шнуровкой, что некоторые медсестры и санитарки, не выдержав напряжения, попадали в обморок. Наконец башмак был снят, и мы увидели — да-да, мы увидели, что у этой огромной бабищи левая нога была ножкой — маленькой, изящной, божественно красивой, с жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый бутон и благоухала, как три, как тридцать три, нет, как триста тридцать три роскошных августовских сада, плодоносящих в том краю, которого могут достигнуть лишь сердце, смерть и любовь...

БЕДНЫЙ КРЕСТЬЯНИН

Никто никогда не называл Алексея Иринархова по имени. Чаще — Бедным Крестьянином, как он сам о себе любил говорить: «Нам, бедным крестьянам, лимонады не нады, — нам водочки подавай...» Он был прославленный неудачник, враль и пьяница и даже в нашем городке раза по два, по три успел перебрать все места, где дважды в месяц зовут к кассе.

В конце концов жена не выдержала и ушла от него вместе с дочкой, которую Бедный Крестьянин ласково звал Селедочкой, хотя у нее было красивое имя Светлана.

После ухода жены Алешка и вовсе загулял и даже попал в больницу с тяжелым сердечным приступом. А оклемавшись, укатил на заработки за Урал. Вернулся через год гол как сокол, но с запасом историй, превосходивших все слышанное завсегдатаями Красной столовой, где по субботам собирались лучшие в городке брехуны, краснобаи, болтуны и бесстыднейшие лжецы. Под Урблюдову гармошку, водку и вечную котлету из неизвестного мяса они наперебой рассказывали необыкновенно правдивые истории, хвастались, спорили и пережевывали свежие слухи и сплетни. Чего нельзя было делать в Красной столовой, так это драться. Желаящие разобраться махали кулаками на столовской помойке, под аккомпанемент дикорастущих котов и собак.

В первый же по возвращении вечер Бедный Крестьянин поведал мужикам историю своего обогащения, завершившуюся, впрочем, как и следовало ожидать, полным провалом. Примкнув к старательской артели, он рыл золото в сибирских горах, и однажды ему повезло: Алешка вывернул заступом самородок величиной с медвежьей головой. Артельщики — бандит к бандиту, любившие полакомиться человечинкой, — сговорились отнять у Бедного Кре-

стянина золото. Он вовремя почуял угрозу и бежал. Ему пришлось три месяца уходить от погони, бедствуя в непролазной тайге и суровой тундре. Когда иссякла скудная провизия, он перешел на подножный корм — на мох и снег. Спасаясь от цинги, Алешка прибегнул к самому эффективному средству: добавлял к пище золотые опилки, обтачивая потихоньку самородок. Когда впереди показались крыши таежного поселка, от куска золота уже ничего не осталось: Бедный Крестьянин съел его.

— Десять кило триста пятьдесят семь граммов, — с мечтательным вздохом уточнил Бедный Крестьянин. — Видели бы вы тогда мой кал...

В качестве доказательства правдивости своих слов он продемонстрировал мужикам свой золотой пупок, рядом с которым была наколка — «Аи 1940», и хотя было ясно, что «Аи» вовсе не «Аи», а 1940 — не проба, а год Алешкиного рождения, народ, само собой, спорить не стал: в истории всегда ценится не правда, а интерес.

По возвращении из сибирского похода Бедный Крестьянин, вообще-то человек робкий, стал пить еще пуще. Пьяный это был совершенно иной человек. Несколько раз он пытался вернуть жену и дочь, но ничего у него не вышло. Иногда целыми днями он бесцельно бродил по опустевшему дому, бормоча себе под нос (стих?), который когда-то сочинил для дочки и читал ей перед сном:

Крокодил, крокодил,
он по полюсу ходил,
он подметки отморозил
и ботинки простудил...

Кажется, именно тогда и возникла у него причуда: напившись, он надевал картонную заячью маску, которую когда-то купили Седючке к новогоднему карнавалу в детском саду. И вот теперь взрослый мужчина повсюду таскал ее с собою... Надев маску, он становился лихорадочно оживленным, пил еще больше, хотя пить совершенно не умел, и однажды даже влез на стол в Красной столовой и томочился на пол. Правда, после этого недели две старался не попадать знакомым на глаза, мучительно переживая очередное свое падение. Если наутро ему (напоминали?) о том, как он вечером набедакурил, Бедный Крестьянин закрывал глаза и со стоном отвечал: «Да не помню! не помню я ничего! Пьян же был, сами видели... И охота же вам вспоминать...» Однако все он, к сожалению, помнил.

Напившись и тотчас забыв о муках совести, он принимался глести очередную историю, — например, о причинах разрыва с женой. Выяснялось, что виною всему тайная любовная связь. Однако всем было известно, что единственной бабой, которая его ненадолго пригрела, была Машка Геббельс. После третьего стакана замогона с куринным пометом она обычно призывала тотчас пове-

свить всех городских евреев — директора школы, слесаря-сантехника и врача-рентгенолога — и тем самым отомстить иудину племени за украденных у Машки кур...

Продолжая сибирский эпос, Бедный Крестьянин поведал обалдевшим мужикам о теле товарища Сталина, хранящемся в недоступном месте и ждущем своего часа...

— Станет народу плохо — он и восстанет и всех спасет, — вдохновенно плел Алешка.

Дав страшную клятву молчания и пройдя обряд посвящения, Бедный Крестьянин сподобился лицезреть Генералиссимуса. Но прежде чем попасть в заветное место, ему пришлось пешком одолеть не одну сотню километров по тайге, то и дело вступая в единоборство с тиграми, вражескими шпионами и комарами. Всюду подстерегали опасности, но Алешка оказался тертым калачом. Наконец в сопровождении молчаливых офицеров он спустился на лифте во глубину сибирских руд и там, на глубине приблизительно пяти с половиной километров, в особом зале увидел хрустальный гроб, висевший на золотых цепях, а в том гробу — Генералиссимуса, как две капли воды похожего на родителя лошади Пржевальского. Вождь приветливо улыбнулся Бедному Крестьянину. Тело Генералиссимуса предохраняла от порчи собачья сперма, в которую он был погружен до губ. Охрана зорко следила за тем, чтобы в этот зал не проникли сучки, которые тыщами метались по тайге, выли по ночам и норовили прорваться к Телу, чуя, надо полагать, мужской запах. Кобелей же собирали со всей страны и даже покупали за границей якобы для опытов, а на самом деле доили, как коров, обеспечивая вождя свежим соусом. И никто, кроме Алешки, не знает об этом, а если он проболтается, ему каюк... Тут он начинал плакать — из-под маски текли крупные желтые слезы — и требовать от мужиков клятвы молчания. Мужики охотно клялись, положив правую руку на жалобную книгу, на которую был наклеен портрет Акакия Хоравы в роли великого воина Албании Скандербег.

Протрезвев, Бедный Крестьянин не хотел даже в зеркале себя видеть и, конечно же, не верил, что после десятой стопки ходил по воздуху на высоте пяти метров.

Получив в очередной раз где-нибудь толику денег, он подстерегал возвращающуюся из школы дочку и овечкой трусил рядом с нею, умоляя взять хоть рублик, хоть десяточку на расходы. Сжав губы, Светлана держала голову так, чтобы всякому было ясно: к этому человеку она не имеет никакого отношения. К человеку, напяливающему детскую картонную маску. Живущему с Машкой Геббельс. Пьющему и врущему. В детстве она не любила зеркала, и отец говорил ей: «Если не будешь каждый день смотреться в зеркало, однажды потеряешь лицо». Смотрелся ли он в зеркало — Бог весть, но совершенно ясно, что свое лицо он давно потерял. А он со

смущенным смешком вдруг напомнил ей, как в детстве она выговаривала слово «львенок»: получалось — «ивленисек»...

— А, Селедочка? — вопрошал он, сбоку заглядывая ей в лицо.
— Ну, пожалуйста...

Она останавливалась и чеканила, вся леденя от ужаса, жалости и ненависти:

— Я тебе не Селедочка! Не позорь хоть меня! Я не возьму твоих денег! Мне стыдно за такого отца! Не подходи ко мне больше никогда!

И убегала, едва сдерживая рыдания. Однажды она рассказала обо всем матери, и та вдруг со вздохом сказала: «Ну и взяла б ты у него эти деньги... хоть меньше пропьет...»

После смерти обжоры Аркаши Стратонова по городку разнесся слух: из его могилы по ночам доносятся какие-то звуки. Поначалу было решили, что Аркаша и после смерти продолжает пукать, из-за чего при жизни ему приходилось подшивать штаны жестью, не то уже через день-другой брюки превращались в лохмотья. Но Бедный Крестьянин сразу понял, в чем дело. В действительности же, объяснил он, Аркаша, как и все мертвецы, просто-напросто хрюкает в гробу и жрет что ни попадя: костюм, червей, себя, наконец соседей. Кончится тем, что он слопает всех мертвецов, выберется наружу и примется за живых. Но Бедный Крестьянин знал, как управиться с Аркашей. Ночью на кладбище он выкопал яму, в которую на веревочке опустил большой стакан водки с медной монеткой на дне. Учувя угощение, Аркаша, разумеется, бросился на запах, хлопнул стакан и вместе с водкой — монету, которая и заперла ему рот. После этого Аркаша с ворчанием удалился и успокоился навсегда. Кладбище, городок и мир в который раз были спасены Бедным Крестьянином.

Под такую историю ему подливали и подливали, пока он не дошел до состояния, когда мог ходить по воздуху. Его вывели во двор. Мужчины с интересом наблюдали за Аркашкой, который с вытянутыми перед собою руками поднялся, словно по лесенке, на пятиметровую высоту и, что-то бормоча из-под маски, сделал по воздуху несколько шагов, задев левой ногой макушку тополя. Покачнулся.

Насмерть перепуганная Селедочка, которую мать послала в Красную столовую за горчицей, закричала что было мочи:

— Расшибешься! Папа!..

Бедный Крестьянин вздрогнул, оступился и упал. С него сняли истрепанную картонную маску — и никто не узнал его лица. Засомневались даже, Аркашка ли это Иринархов, и только по наколке возле ярко-желтого пупка — «Аи 1940» — он был в точности опознан. Через три дня его похоронили. А маску его вдова повесила на стенку в темной кладовке, где иногда Селедочка любила молча посидеть, осененная нарисованной улыбкой картонного зайца...

ЧУДО О БУЯНИХЕ

Поэма

Елью и твоей пропах городок, елью и твоей, — Буяниха умерла!

У Капитолины вода в чайнике внезапно забила ключом и превратилась в кровь, и старуха поняла: Буяниха умерла.

Дряхлеющий Афиноген вдруг почувствовал, как пустота во рту заполнилась живой плотью — это вырос язык, оторванный сорок лет назад осколком фугасного снаряда, — и первой его мыслью была: «Буяниха умерла», а первым словом:

— Подлецы!

Но это уже относилось к зятю и его друзьям, допивавшим в саду последний флакон «Сирени». Митроха опрокинул пузырек в рот и чуть не задохнулся: в горло посыпались пахучие цветы сирени.

Весть о кончине Буянихи передавалась из уст в уста, из магазина в магазин, из автобуса в автобус, с бумажной фабрики на макаронную, с маргаринового завода на мясокомбинат, из леспромхоза в городок нефтяников, — и последним, кто ее услышал, был Прокурор.

Он бросил собакам последний кусок мяса, вытер руки полотенцем, висевшим на спинке стула, чьи ножки, казалось, вросли в землю (после смерти прокурорши стул не убирали со двора ни зимой, ни летом; ранней весной Прокурор сдирал с его железного каркаса толстую кору ржавчины и огромной маховой кистью вымазывал весь стул светло-голубой краской, которая еще кое-как держалась на деревянных планках сиденья и спинки, но к середине лета облезала с каркасных прутьев, словно они были сделаны из какого-то особого металла, обладавшего неукротимой способностью сбрасывать с себя краску), и, обратив к собеседнику длинное лошадиное лицо, воскликнул:

— Впору пожалеть, что у нас нет ни одного колокола.

Он опустился на стул и, широко расставив ноги и упершись руками в колени, вновь заговорил своим бесстрастным, невыразительным голосом, который вполне мог принадлежать какому-нибудь неодушевленному предмету — ну, скажем, его поношенным, но аккуратно начищенным ботинкам:

— Такие новости следует возвещать под аккомпанемент траурного колокольного звона. Подумать только: Буяниха умерла.

Откинувшись на спинку стула, он поставил правую ногу на сиденье и обхватил руками худую лодыжку. В такой неудобной позе он просиживал с утра до обеда, глядя прямо перед собой крохотными серыми глазками, но не замечая ни приветствовавших его прохожих, ни собак, греющихся на солнышке или роющих под забором, собак, на содержание которых, по слухам, он тратил большую часть своей пенсии. Даже не взглянув на часы, ровно в двенадцать он отправлялся обедать. А после обеда, вернувшись на привычное место и водрузив на стул уже левую ногу, он дремал, пока некий внутренний часомерный механизм не подсказывал ему, что пора пить чай. Вечера он проводил на том же стуле с книгой в руках. Иногда это были стихи, но чаще — один из томов «Истории государства Российского», аккуратно обернутый белой бумагой. В дождливую погоду поверх полотняного костюма он надевал прорезиненный плащ. Посетителей (а они не перевелись и после того, как он вышел на пенсию) он принимал тут же, во дворе, сидя на своем стуле под окном кухни, и только сильный дождь заставлял его пригласить человека в дом — в холодную полутемную комнату с портретом прокурорши на стене, с застеленным клеенкой столом, на котором красовалась бронзовая чернильница, с разнокалиберными шкафами, набитыми потрепанными книжками.

Внезапно он пошевелился.

— Неужели она умерла дома?

И впервые в его голосе прозвучало нечто очень отдаленно напоминающее печаль или недоумение.

— Нет, — сказал Сашка, — на базаре.

И это было недалеко от истины.

С трудом преодолевая боль, терзавшую ее вот уже два года, никем не замеченная (что само по себе можно считать чудом), она как добралась до базара, где и обнаружил ее участковый Леша Леонтьев. Просто волосая, рыхлая, старая, больная женщина сидела на земле, привалившись спиной к стене бывшей керосиновой лавки. Она не отвечала на Лешины вопросы, только качала головой, глядя широко раскрытыми глазами на разор и запустение, постигшее базар после того, как он лишился ее попечения: керосиновую лавку давным-давно превратили в мебельный склад; ее «резиденция», а также буфет, где красные от мороза мужчины в распахнутых полушубках

принимали из рук вечно простуженной Зинаиды свои сто пятьдесят и конфетку, стали пристанищем пауков и мышей; холодный каменный мешок, где когда-то размещался хозмаг, был отдан под водочный магазин, а скобяным товаром торговали в недавно выстроенном стеклянном ящике возле бани; под навесами, откуда, казалось, еще не выветрились запахи махорки, копченостей, ваксы, лука и жареных семечек, громоздились пустые ящики из-под вина и водки. Исчез и угол, образованный двумя кирпичными стенами, — тут привязывали лошадей, тут толкались торговцы тряпками, ветхой обувью и самодельными ножичками, тут подпившие Васька Петух и цыган Серега на спор плясали под Буянову гармошку — два полуголых, мокрых от пота, алых от водки, азарта и мороза мужика, которые схватывались в пляске каждое воскресенье, но так и не выяснили, кто же из них самый ярый плясун. Угол снесли, когда строили этот стеклянный ящик для хозтоваров.

Бережно поддерживая ее под руки, Леша кое-как усадил женщину в мотоциклетную коляску. Всю дорогу он не мог выкашлять застрявший в горле ком. Буяниха сидела с закрытыми глазами. На этот раз ее видели десятки людей — они останавливались и долго смотрели вслед мотоциклу, который, развалисто покачиваясь на неровностях, медленно полз по булыжной мостовой.

У больницы Леша помог ей выбраться из коляски, и вот тут-то силы окончательно покинули ее и она грузно осела на дорогу. Мгновенно собравшиеся вокруг люди были так поражены случившимся, что никто даже не сообразил как-то помочь умирающей или хотя бы заплакать.

Сашка нахлобучил кепку на затылок и с гордостью добавил:

— Ее положат в клубе, чтобы все могли с ней попрощаться.

Когда он ушел, Прокурор с внезапной и острой болью вдруг почувствовал: от того камня, который он обычно называл своей душой, что-то откололось и безвозвратно кануло в некую бездну.

— Что бы это могло быть? — пробормотал он, проводя кончиком языка по пересохшим губам. — Что кончилось?

— Пятница, — печально откликнулась Катерина, повесив на забор последний мокрый половик.

Доктор Шеберстов не стал слушать робких возражений жены, детей и внуков. Презрительно фыркнув, он вставил искусственную челюсть, взял в руки тяжеленную трость с ручкой в виде змеиной головки и зашагал к больнице — гибрид бегемота с портовым краном, как говаривала Буяниха. На углу Седьмой улицы он вдруг остановился — у него занялось дыхание от простой и скорбной мысли: отныне он станет иным. И радоваться тут было нечему, ибо лишь одну метаморфозу — смерть — он считал более или менее пристойной в его годы.

Погрозив палкой жене, неосторожно высунувшейся из-за угла ближайшего дома, доктор Шеберстов уверенно преодолел сто метров до больницы. Толпа расступилась, и он важно прошествовал мимо безмолвных людей наверх, на самый верх, в крохотную комнату под крышей, где под белоснежной простыней на оцинкованном столе покоилось тело Буянихи.

Главный врач — молодой человек с льняной бородкой и руками молотобойца — растерялся, увидев на пороге огромного старика с круглой лысой головой и закрученными кверху длинными усами. Дряхлая старуха Цитриняк, притащившаяся сюда из голубоватой полутьмы своего рентгеновского кабинета, прищурила красные слезящиеся глазки и быстро-быстро закивала сморщенной обезьяньей мордачкой:

— Проходите, Иван Матвеевич, пожалуйста, легкий мой...

— Сядь, Клавдия!

Переложив трость в левую руку, Шеберстов правой откинул простыню.

— Умерла! — Никто не понял, чего больше было в этом возгласе — растерянности или возмущения. — Буяниха! — Он резко обернулся к медикам. — Какая баба была! Походка! Грудь! Сон и аппетит, да, сон и аппетит!

Старуха Цитриняк — мумия в белом халате — всплеснула своими обезьяньими лапками.

— Вы так и умрете бабником, Иван Матвеевич, легкий мой!

Махнув рукой, Шеберстов вышел из кабинета, шаркая подошвами своих чудовищных башмаков.

Внизу на крыльце он остановился, обвел гневным взглядом притихшую толпу и, сильно стукнув палкой в мраморную ступеньку, воскликнул с возмущением:

— Умерла, черт побери! Умерла!

Когда врачи и медсестры покинули кабинет, главный врач сдавленным голосом спросил:

— Это там... что это, Клавдия Лейбовна?

Она посмотрела на тело под простыней — и внезапно улыбнулась, а в голосе ее прозвучала гордость:

— Это единственная женщина, которая не ответила на домогательства доктора Шеберстова.

Главврачу показалось, что сквозь стойкую желтизну на лице рентгенолога проступила красная краска.

— Простите... — Он поймал себя на том, что говорит суше, чем ему хотелось бы. — Что у нее на спине... и на животе?

— Звезды, — тотчас откликнулась обезьянка. — Это память о минском гестапо, легкий мой. Их семь — и столько же у нее детей. Не ее детей.

Молодой человек вспомнил этих пятерых мужчин и женщину (вторую, ее сестру, он знал лишь понаслышке) — шесть, а с той, которую он знал понаслышке, семь безупречных копий Буяники.

— Вы хотите сказать... — Он запнулся. — Ага, значит, эти шестеро... то есть — семеро...

— Ну да, конечно, легкий мой. — Обезьянка покивала крохотной головкой. — Ведь они ровесники. Говорят, она привезла их в мешке, как котят, но это неправда. Никуда и не надо было ездить: детдом тогда был возле старой лесопилки.

Она вытряхнула из мятой пачки папиросу и закурила, крепко прикусив гильзу мелкими черными зубками.

Когда в комнате стемнело, она вдруг очнулась и с горечью подумала, что опять осталась одна и опять не может вспомнить, о чем думала все это время. Держась за стенку, она поплелась вниз — за ней шлейфом потянулся запах крепкого табака и сапожной ваксы, которой она ежедневно начищала свои сморщенные туфли. На площадке второго этажа она остановилась, пораженная внезапной мыслью: «Кто же ее похоронит? И вообще — возможно ли это?»

Окошко телеграфа закрывала чья-то широченная спина, обтянутая выгоревшим брезентом. Из-за фанерной перегородки доносился плачущий голос Миленькой:

— Дежуренькая, будьте добреньки, проверьте заказ на Мозырь! Мозырь!

Ее сестра Масенькая сидела в уголке на жестком стуле со своей Мордашкой на коленях и сердито разглядывала образцы почтовых отправок, которыми была заклеена стена напротив.

— Нет, но когда в городе будет порядок? — раздраженно спросила она, не глядя на Леонтьева, за которым с треском закрылась входная дверь. — Некоторые полагают, будто психам можно разгуживать где им вздумается!

— Он же никому не делает плохого. — Леша постучал согнутым пальцем по брезентовой спине. — Разрешите?

Спина отодвинулась в сторону, и в образовавшуюся щель Леша увидел Миленькую с наушником на шее.

— Буян не отправлял никаких телеграмм? — спросил Леша. — Ну, детям?

— Буян? — Миленькая глубоко вздохнула. — Да ведь он и не знает, где почта. Ох, горе-то! — Она схватила телефонную трубку и отчаянно закричала: — Дежуренькая, ну как там Мозырь? Тебе чего еще, Леша?

Леонтьев просунул в щель сложенную вдвое бумажку и мятый червонец.

— По этим адресам пробей телеграмму про Буяники. — Немного подумав, уточнил: — Срочные. — И добавил пять рублей.

— Я напишу заявление! — с угрозой в голосе сказала Масенькая. — Ты обязан отвечать на заявления граждан!

Проснувшаяся Мордашка зарычала на участкового. Он вздохнул.

— Тогда лучше сразу жалобу на меня пиши. Без подписи.

Виту Маленькую Головку он увидел издали: сумасшедший стоял у перил, напряженно вглядываясь в темноту, его мопед лежал посреди моста. Леша затормозил, заглушил двигатель. Вита Маленькая Головка отчаянно замахал руками.

— Оно туда поскакало! — И снова вперил взгляд в темноту, в которой утонул базар, с трех сторон окруженный зарослями ивняка и бузины.

— Ага. — Леша кивнул. — Какое оно?

— Голова обезьянья, шея и лапы лошадиные, а тулово — слепой собаки...

— Тулово слепой собаки, — задумчиво повторил Леша. — Ты зачем с Масенькой поругался?

Склонив голову набок, Вита внимательно посмотрел на участкового.

— Я говорю, с Масенькой...

— Лахудра! — сквозь зубы процедил Вита. — Ардухал. Лахудре-мудрия. Муруроа. Аорурум!

И снова, в который раз, Леша подумал: «Никакой он не чокнутый. Просто дурит. Чуть больше других».

— Не ругайся больше. И не лезь в темноту.

Ну, в этом-то он был уверен: в темноту Вита не полезет. Ночи напролет он гонял на своем мопедишке по городку — только по хорошо освещенным улицам: темнота вызывала у него панический ужас. Спал он днем — в комнате без штор, занавесок или хотя бы клочка тюля на окнах. С наступлением темноты он выводил из ветхой сараюшки свой битый-перебитый мопед («Интересно, — подумал Леша, — кто ему его ремонтирует? Ясно, что не Калабаха — этот и с родной матери сдерет. Или уж Моргач?») и принимался курсировать по засыпающему, по спящему городку — громоздкая туша с маленькой головкой на длинной шее верхом на жалком дребезжащем мопедике, неведомо как попавшем ему в руки. Он был дозорным, готовым в любой миг предупредить городок о внезапном нашествии исполинских муравьев, инопланетян, пьянчик или детей. К нему привыкли, как привыкли и к Желтухе — она тоже иногда по ночам раскатывала по городку на велосипеде, если не прыгала через скакалку, или не размахивала гантелями, или не пожирала морковь, любовь к которой с небывалой силой разгорелась у нее к семидесяти годам (она занимала морковь весь огород и каждый день съедала ее не меньше килограмма); как привыкли и к Масенькой с ее капризами, с ее горбом и ее собачонкой, с ее

обшарпанным лотком — с него она, сжав ярко накрашенные губы и презирая весь род людской, торговала на автобусной станции, в двух шагах от женского туалета, плоскими пирожками с капустой, рыбой или повидлом...

Только свернув в Седьмую улицу, Леша сообразил, что же не давало ему покоя с той минуты, как доктор Шеберстов возвестил о кончине Буяники: это был все усиливающийся запах ели и туи — запах смерти, печали, грядущего преобразования и памяти. Черепичные крыши, бегущие собаки, позеленевшие от нескончаемых дождей заборы, тусклый свет уличных фонарей, стены домов, дым из печных труб (спасаясь от сырости, многие топили печи и в разгар лета) — все источало запах ели и туи, запах густой, как сироп, как темно-зеленое смолистое вино, от которого кружилась голова...

В буяновском доме (здесь жили еще три семьи, но дом назывался буяновским) было темно и тихо. Леша постучал — звук гулко разнесся по пустой квартире, точнее — по опустевшей, ибо та, которая могла с избытком заполнить работой, суетой, голосом да просто плотью своей любое пространство, даже такое, что не было заключено между четырьмя стенами и накрыто кровлей, — ведь она лежала там, на третьем этаже больницы, под самой обыкновенной простыней — ее с лихвой хватило, чтобы сокрыть от глаз людских ком плоти, лишь по инерции именуемый Буяником, — всего-навсего еще одна смертная и мертвая женщина, пусть даже и промчавшаяся по жизни подобно смерчу, вихрю, урагану... И вот теперь незанятое ею пространство гудело — эхом ее голоса, ее поступи, ее жизни, — гудела отсутствующая жизнь: она отсутствовала в пропахшем плесенью коридоре-прихожей, она отсутствовала в кухне, она отсутствовала в детской, где по голому полу бесшумно пробежал какой-то бесхвостый зверек, она отсутствовала в гостиной, она отсутствовала в спальне... Леонтьеву казалось (более того, он готов был поклясться, что так оно и было), что оставшиеся без хозяйки вещи, книги и мебель рассыпались, разваливались, истлевали, растворялись в этой темноте с умопомрачительной быстротой, и стоит ему покинуть эту квартиру, как спустя несколько мгновений вещи, книги и мебель превратятся в пыль. В гостиной только сундук да шкаф с треснувшим зеркалом стояли где обычно, оставшая мебель исчезла, как пропала куда-то и картина, занимавшая всю глухую стену, — написанная безвестным мастером копия «Трех богатырей», на которой у всех богатырей были окладистые зеленые бороды. Сундук, о котором так много говорили. Таких в городке было всего два, — но первый, принадлежавший Тане-Ване, не таил никаких секретов — уж это-то Леша знал наверняка: он присутствовал на церемонии вскрытия старухиной укладки, где, к изумлению и невыразимому огорчению многочисленных родственников, чаявших огромного наследства, был спрятан ржавый само-

гонный аппарат (давным-давно, устранившись леонтьевских увещеваний, Таня-Ваня убрала аппарат в сундук, да так и не нашла времени ни сдать его в милицию, ни выбросить). Леша взялся за замок — он рассыпался в прах. Тяжелая крышка поддавалась без скрипа, но не успел Леонтьев прислонить ее к стене, как из сундука ему в лицо ударил какой-то мягкий, рыхлый, тотчас рассыпавшийся по комнате ком. Крышка с грохотом опустилась на место. Слабо освещенная уличным фонарем комната наполнилась плывущими снежинками — тысячами крупных мохнатых хлопьев.

— Ну и моли! — Бабушка Почемучето включила свет в коридоре, и теперь и Леша увидел тысячи бабочек моли: стряхивая с крылышек пыльцу, они бестолково толкались в дверном проеме.

Участковый захлопнул дверь и провел по лицу ладонью.

— Ты почему здесь, Андросовна?

— Почемучето меня за книжкой послали. Буян говорит: в спальне она, на этажерке.

— А где сам?

— В сарайке.

Он вышел во двор. Из темноты кто-то проворчал: «Никуда он не пойдет», но сколько ни вглядывался участковый, никого не смог разглядеть, кроме старого коня Птицы, который что-то жевал, прислонившись боком к стене дома. Из-за сарая несло нечистотами, — значит, где-то там стояла ассенизационная бочка, точнее — деревянный ящик на колесах с квадратным, плохо пригнанным люком наверху и вечно слезящейся задвижкой сзади, — верхом на этом ящике, влекомом спящим одром, Буян методично объезжал дворы, оставляя за собой специфический запах и вызывая восторг у детей — едва завидев ароматический выезд, они начинали хором кричать: «Жук навозный, жук навозный! Прокати на говновозе!»

Леша подергал замок на двери, из-за которой доносился визг плохо разведенной пилы, потом позвал Буяна, но тот не откликнулся. В сарае было темно.

— Может, тебе свет включить? — с надеждой спросил Леша.

— Мне свет не мешает, — проговорил Буян так вятно, будто и не было между ними никакой преграды. — Ты сам видел, Алексей Федотыч?

— Конечно, — тотчас ответил Леша и лишь после этого сообразил, о чем спросил его Буян. — Теперь уж, наверно, ее перевезли в клуб.

— А потом?

— Что — потом? Суп с котом.

— Ага. — Буян помолчал. — Значит, вы решили ее похоронить, это самое, в землю закопать...

— А ты что решил? — сердито спросил Леша.

Буян засмеялся.

— Увидишь. Все увидят.

«Чокнулся, — подумал Леша. — Хотя ведь все мы... Никто не верит, что она взаправду умерла. Чего ж тогда верить, что ее похоронят?» Да, не стало той, которая всем старожилам, да и многим из молодых, казалась такой же неотъемлемой частью, такой же характерной приметой городка, как древняя церковь на площади, как краснокирпичная водонапорная башня у железнодорожного переезда возле старого кладбища, как водопад на Лаве, как черепичные кровли, алеющие в разливе липовой зелени, как Цыганский Квартал, как горбатые мосты, прегольские мосты, булыжные мостовые, заросли бузины и шпалеры туи, и многое, многое другое, без чего невозможно представить этот городишко, разрезанный на три части двумя реками, чьи мутные воды неспешно текут в низких глинистых берегах, опушенных зарослями ивняка и боярышника. Сколько помнил себя Леша в этом городке, она всегда была тут, рядом, — казалось, сразу во многих местах, казалось, не только рядом с ним, Лешей Леонтьевым, но и рядом с каждым жителем городка — еще в ту пору, когда он назывался Поселком. Она была здесь и повсюду, сейчас и всегда. Она была всеведущей и бессмертной. Летом — в не очень свежем халате, застегнутом на две пуговицы, и домашних тапках на босу ногу; зимой — в черном жестком пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике («Она сама изловила его и задушила собственными руками», — понизив голос, в котором сквозили восторг и священный ужас, говорил пьяненький Буян, и почему-то ни у кого не поворачивался язык назвать его брехуном). Целыми днями она носилась по улицам и магазинам, встревала во все разговоры, которые сразу приобретали бурный характер, карала и миловала, подбирала выпавших из гнезда птенцов, больных кошек и бродячих собак, обличала пьяниц, драла за вихры драчунов, царила и правила на базаре, а кое-кому — особенно детям — казалось, что вдобавок ко всему она повелевала облаками и сновидениями, — и все это она проделывала с одинаковым и неослабевающим пылом, так что оставалось только удивляться, как она находит время и силы, чтобы вести домашнее хозяйство, воспитывать семерых детей и работать: сначала — лет двадцать без перерывов — упаковщицей на макаронной фабрике, а потом — смотрительницей — или как там это называется — на базаре, а летом, по вечерам, билетершей на открытых киноплощадках... Казалось, энергия, выработанная этой женщиной, продолжала жить и после ее смерти, — а можно ли уложить в гроб и похоронить энергию — вихрь, смерч, ураган?

Весь дрожа, задыхающийся Васька Петух кое-как выбрался из под тяжелой мокрой сети сна и с трудом разлепил распухшие веки. Несколько минут он бездумно смотрел в потолок, прислушиваясь

к удаляющемуся топоту копыт. Голова болела, тело разбухло, сердце при каждом движении превращалось в комок мурашек, как если бы это была отсиженная нога. В темноте что-то чавкнуло, и Васька понял, что, если сейчас он не выпьет хотя бы воды, ему никогда не избавиться от ощущения, будто он наелся горячего пепла. Превозмогая головокружение и боль в груди, он поднялся с постели и, растопырив руки, кинулся к двери. Уже в кухне спохватился: кто же это был в комнате, этот, чавкающий? Или примерещилась толстогубая мордища, покрытая лягушечьей слизью? Васька нащарил выключатель — его несильно ударило током, вспомнил: давно пора починить проводку. Схватив со стола замызганный стакан, он едва не упал в раковину: от резкого движения вся кровь бросилась в голову, сердце бешено заколотилось, а тело от темечка до пят покрылось горячим щиплющим потом. Из водопроводного крана ударила струя водки. «Так, — подумал Васька. — Или с Буянихой что-то случилось — или пора в дурдом. Но сперва похмелиться — со святыми упокой». Зажав пальцами нос и зажмурившись, он залпом проглотил содержимое стакана — и только после этого услышал скрип половиц и еще такой звук, будто через дверной проем тащили огромный кусище мокрого брезента. Он открыл глаза — и так и замер: со стаканом в правой руке, с зажатым пальцами носом и вытянутыми в трубочку — на выдохе — губами, — и последней его мыслью было: «Господи, какой же тогда у него хвост?!»

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее двоих детей, благоговейно вынесли из больницы тело Буянихи, источавшее запах только что распустившихся пионов, и погрузили его в полуторку — единственную на весь городок, чудом уцелевшую, — вероятно, лишь потому, что с незапамятных времен ее использовали только как катафалк. За рулем выкрашенной черным лаком машины сидел Никита Петрович Москвич, чья желтая борода ниспадала до пояса, закрывая надетые по такому случаю фронтовые награды. Тело бережно опустили в лодку (ибо не нашлось пока подходящего гроба). Никита Петрович поправил портрет Генералиссимуса на ветровом стекле и, заклинив клаксон, повел машину к клубу.

Восемьдесят пять самых крепких мужчин, у каждого из которых было не менее троих детей, благоговейно сняли лодку с машины, торжественно внесли в паркетный зал, где по стенам уже сидели старушки — одна к одной, как горошины в стручке: белые платочки, черные юбки и жакеты, и водрузили его на крытый алым плюшем постамент.

Первой заплакала Капитолина, за ней Эвдокия, у которой не хватало шести пальцев на руках и двух на ногах, потом Валька, потом Геновефа на пару с Данголей, а за ними и Веселая Гертруда,

столетняя сумасшедшая, завсегда тай похорон, от которой никто никогда не слышал ничего, кроме «Зайд умшлюнген, миллионен», — за ними остальные женщины — те, что в паркетном зале, и те, что в парке за клубом, и те, что на прегольской дамбе, и те, что на заречных сенокосах, и те, что в бане (пятница — женский день), и те, что в супружеских постелях, и те, что в роддоме...

Когда мужчины, сдержанно покашливая и толкаясь в широком проходе, покинули клуб, оставив покойную наедине со старухами, — в паркетный зал стремительно вошел закутанный в ветхий плащ человек — с него ручьями текла вода, словно он только что вылез из реки. Ни к кому в отдельности не обращаясь, он заинтересовался, кто из родственников покойной соблаговолит принять от него тридцать талеров — долг, который, по словам незнакомца, тяготит его вот уже скоро двести сорок лет. Ему попытались втолковать, что Буяника умерла шестидесяти пяти лет от роду, — но незнакомец только горько усмехнулся и спросил, как, в таком случае, ему добраться до ближайшего постоялого двора. Его, конечно, отправили к Зойке-с-мясокомбината. Незнакомец удалился, оставив на полу огромную лужу воды, которую двенадцать женщин полтора часа собирали и выносили ведрами, взятыми на время у Калюкаихи, Сунгорцевых и у Славки.

И только после этого появилась, наконец, бабушка Почемучето с любимой книгой Буяники. Рыдания стихли, явственнее запахло пионами, когда Капитолина раскрыла потрепанный том, обвела женщин строгим взглядом и звучным, торжественным голосом продекламировала: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!»

Рано утром Мороз Морозыч обнаружил, что все розы в его палисаднике этой ночью превратились в пионы, благоухающие елью и туей. Выпив сырое яйцо и стакан подсоленной воды, он отправился в клуб, где в бывшей буфетной уже собрались доктор Шеберстов, Прокурор, Капитолина, Леша Леонтьев и Веселая Гертруда — она спала, прислонившись спиной к круглой железной печке и смущая всякого входящего строгим взглядом широко открытых глаз. Как только Мороз Морозыч, аккуратно прислонив к стене свой костыль, опустился на стул, доктор Шеберстов, словно продолжая разговор (хотя до прихода библиотекаря они хранили молчание), спросил у Леонтьева:

— Значит, хоронить ее нам?

В его вопросе не было ничего от вопроса, если не считать слабого намека на специфическую интонацию, — более того, библиотекарю даже показалось, что в голосе доктора он уловил что-то вроде удовлетворения.

Леша пожал плечами.

— Я дал телеграммы детям.

— Не в счет! — Доктору Шеберстову не сиделось, он вскочил и, размахивая палкой, тяжело прошелся из угла в угол. — Гости к столу! — Он взмахнул палкой, заставив всех отшатнуться. — Итак?

Прокурор вынул из кармана крохотный блокнот в самодельной обложке и, не раскрывая его, стал говорить своим сухим, бесцветным голосом, который вполне мог принадлежать тем фигуркам, которые он иногда вырезывал из бумаги, — собственно, это был реестр обязанностей родных и близких усопшей: надо было заказать гроб, позаботиться о костюме для покойной, о катафалке, могильной яме, памятнике, поминальном обеде и т.д. Слушая этого костлявого старикашку, который даже в такой день не изменил своей канцелярской манере говорить о чем угодно — о любви, разделе имущества или проблемах мелвилловской метафизики, Мороз Морозыч вспомнил, как однажды Буяниха сказала о Прокуроре, что он и дышит только из упрямства, да еще, может, назло ей. Тогда он, Мороз Морозыч, с присущей ему склонностью к выпренности, сказал, кажется, примерно следующее: если горстке обреченных защитников уже почти поверженной твердыни понадобился бы флаг — символ стойкости или хотя бы только упрямства, на эту роль вполне сгодился бы Прокурор, чье тощее туловище запросто сойдет за древко, а слишком просторный полотняный костюм — за полотнище; и даже если крепость падет, а человек-знамя, человек-символ случайно уцелеет, он, вопреки очевидности, сохранит уверенность в том, что твердыня устояла, дело не проиграно, и никому не удастся его переубедить, так что останется одно — уничтожить его физически, перепахать землю, в которой его похоронят, и запретить людям даже приближаться к этому месту, дабы и случайно не заразиться упрямством. И тогда доктор Шеберстов согласился: да, в упрямстве с Прокурором могли сравниться немногие. Ну, Стрельцы. Ну, Уразовы. Ну, наконец, сама Буяниха. Умудрилась же она — о, разумеется, только из упрямства — выйти замуж за этого человека, точнее, умудрилась взять в мужья такого человека, как Буян, который, в конце концов, сгодился только на то, чтобы более или менее регулярно чистить выгребные ямы, так ведь, если постараться, этому можно научить и ветхого конягу Птицу... «Вы это говорите только потому, — закричала Буяниха, — что я отказалась выйти за вас, бабника чертова!» Она швырнула книгу на стойку и ушла, сокрушая каблуками гнилую библиотечную лестницу. «Может, и так. — Огромным клетчатым платком доктор Шеберстов вытер жилистую шею. — Но ведь все дело в том, что она упряма — разве нет? — Он уставился на библиотекаря своими выпуклыми глазами. — Она дала слово — и вышла за того, кому дала слово. Слово!» — «В конце концов, она отказала всем, — заметил Мороз Морозыч. — И вам, и Прокурору...» — «Прокуро-

ру! — закричал доктор. — Воображаю! Не руку и сердце — брак! Не желаете ли зарегистрироваться!» — «Он читал ей стихи, — возразил Мороз Морозыч. — Кажется, Пушкина. Но не Блока — это точно». — «Стихи! — Шеберстов был ошеломлен. — Откуда вам знать?» — «Это произошло вот тут, где вы стоите. — Мороз Морозыч ткнул пальцем под ноги директору, и тот от неожиданности поспешно отступил в сторону. — Она стояла здесь. Он — тут. И она ему отказала». — «Еще бы! — закричал доктор. — Она отвергла всех самостоятельных мужчин, чтобы помыкать этой устрицей!»

— Значит, осталось выкопать яму и сварить кисель! — заключил доктор Шеберстов нудную (иной она и быть не могла) речь Прокурора, и Мороз Морозыч понял, что пропустил почти все, ради чего здесь собрались эти люди, и, чтобы не остаться в стороне, спросил:

— А оркестр?

— Это — Прокурор! — Доктор Шеберстов повелительно взмахнул палкой. — Ты, Леша, — родню! А ты... — Он резко повернулся к Капитолине. — Ты — поминки. Баб много.

— Тебе всегда их не хватало, — язвительно напомнила Капитолина.

— Ты была за двоих! — прокричал доктор, хлопнув по плечу утратившую дар речи старушку. — Итак!

И грохая палкой по деревянным половицам, он вышел из буфетной.

Прокурор помог библиотекарю спуститься по крутой лестнице. На улице, глядя прямо перед собой, то есть как бы в никуда, он проговорил:

— У меня странное предчувствие...

— Сегодня день предчувствий, — живо откликнулся Мороз Морозыч. — И воспоминаний.

— Мне кажется, будто все это от начала до конца придумано самой Буянихой. И будто после того, как она исчезнет, все это тоже исчезнет. Или нет?

Они помолчали.

— В конце концов, — голос библиотекаря прозвучал, как всегда, мягко, — любое изменение — это исчезновение чего-то. И возникновение чего-то.

— Просто мы все перемрем, — сухо сказал Прокурор. — А она останется.

Он не договорил. Едва не задев крыши домов, на поляну перед клубом плюхнулся штурмовик ИЛ-2, из которого выпрыгнул пилот в окровавленном комбинезоне. Приволакивая левую ногу, он прошел в паркетный зал и, сдернув шлем, припал к плюшевому постаменту.

— Чиримэ... шени чиримэ... — Он смахнул что-то с ресниц и обратился к старухам: — Как это произошло?

Ему рассказывали о кончине Буянихи, а он кивал головой и печально шевелил губами. Его отвели на перевязку, а потом уложили в бильярдной.

Сбежавшиеся люди молча стояли вокруг самолета, и никто не осмеливался приблизиться к машине, чье жесткое тело еще не остыло от ярости войны.

— Смертью пахнет, — вдруг проговорил слепой Дмитрий. Он подошел к самолету, приник щекой к броне и заплакал. — Ангел мой...

И с той минуты началось паломничество к гробу Буянихи. Первой в сопровождении пятерых прелестных детей явилась дородная красавица, державшаяся с тем самообладанием, что сродни высокомерию, и люди вспомнили некую чрезвычайно взбалмошную семнадцатилетнюю девочку, которая с презрением отвергла ухаживания заезжего артиста — фокусника, чревовещателя и гипнотизера. Махнув рукой на гастроль в Париже, Юрбаркасе и Рио-де-Жанейро, он застрял в городке, изнывая от безнадежного чувства. Утром его видели в парикмахерской, где По Имени Лев тщетно старался соорудить на голом черепе клиента хотя бы подобие прически; обедал он у Фени, в Красной столовой; вечерами, облаченный во все черное, он прогуливался по Седьмой улице, осторожно ступая между коровьими лепешками и пытаясь взглядом прожечь окна непрístupной красавицы. Чтобы привлечь ее внимание, он давал бесплатные представления прямо на улице: доставал из шелкового цилиндра пахнущих нафталином живых кроликов, выпускал из рукавов стаи голубей, читал мысли, предсказывал прошлое и глотал шпаги, а когда они кончились — кухонные ножи и безопасные бритвы. Вскоре он наскучил даже детям, но так и не удостоился ни одного знака внимания от жестокой красавицы. И тогда он объявил прощальное представление в клубе — на него собралось почти все платежеспособное население городка. Продемонстрировав каскад умопомрачительных фокусов, он перешел к гипнозу. Желающих подвергнуться воздействию его колдовского взгляда было предостаточно, но не было среди них той, единственной, и тогда, употребив свои чары, он вывел ее из зала на сцену и заставил маршировать, и она маршировала, почему-то припадая на левую ногу и визгливо распевая какую-то дурацкую песенку, начинающуюся со слов «Солдат Маруся». Она послушно выполняла приказы артиста, а он стоял в глубине сцены со сложенными на груди руками и мрачно шептал: «Ватерлоо... Ватерлоо...» Внезапно посреди хохочущего, стонущего, плачущего зала поднялась Буяниха. Мановением руки она установила мертвую тишину, поднялась на сцену и что-то вполголоса сказала артисту. Забыв про свой плащ, цилиндр и треножник, он вылетел из клуба, кинулся в поджидавший его черный автомо-

бель, который тотчас превратился в черного, как гнилой зуб, коня, и прынул за стоячее облако. Буяниха вынула девочку из петли и отнесла к себе. А через месяц, получив благословение от парализованной бабушки и средства от Буянихи, девочка уехала на ленинградском поезде. И вот спустя пятнадцать лет она явилась к гробу женщины, благодаря которой никто не осмеливался в глаза называть ее Солдатом Марусей. Следом явился Резаный — тот самый, что когда-то покинул городок, восседая на ассенизационной бочке за спиной Буяна. Нет, не Буянихе принадлежала заслуга разоблачения этого дельца, который тайно занимался торговлей леденцовыми петушками, самодельным конфетами, подержанной мебелью, поношенной одеждой и обувью, а также самогоном — разумеется, через посредников — бедных старичков и старушек (им перепали крохи), многие из которых даже не знали, на кого работают. Нет, не Буяниха разоблачила его, но восьмилетний Алеша Рязанцев и жалкий пьяница Сергеюшка. Пропив выданный ему сахар, Сергеюшка, чтобы как-то выйти из положения, залил формочки водой, подкрасил и выставил на ночь на крыльцо — дело было зимой. На что он рассчитывал? Очевидно, на то, что взрослые обычно сразу не пробуют купленные для детей петушки. Потому-то так и испугался он, когда к его лотку неожиданно подошел Алеша, потому-то и бросился бежать от мальчика, который упорно преследовал его с пятачком в кулачке. В конце концов мальчик заполучил розового петушка, и тут-то и обнаружилось, что леденец — ледяной. Но именно Буяниха, с пристрастием допросив Сергеюшку, выяснила, на кого пьяница работал. И именно ей принадлежит знаменитая фраза, произнесенная в присутствии ста семидесяти шести ошеломленных свидетелей, — «У нас так не делают», и именно она повелела выдворить негодяя Резаного из городка верхом на вонючей бочке, что и было сделано под бдительным присмотром Миши Рубщика, Васьки Петуха и Аввакума Муханова. Пришла проститься Граммофониха, благодарная Буянихе за то, что некогда та спасла ее дочь от дьявола, вознамерившегося обесчестить ее дуру дочь и дурака зятя, — все знали эту историю, в которой Буяниха выступала в героической роли экзорцистки: с ружьем в руках она бесстрашно вошла ночью в сад, где дьявол, по некоторым сведениям, назначил несчастной свидание, и могучими и безжалостными ударами приклада загнала прятавшегося за кустом смородины Князя Тьмы в Гнилую Канаву, куда толевый завод спускал мазут. Тысячи и тысячи людей шли и шли по Седьмой улице к клубу, толпились в паркетном зале, где сменяющиеся старухи нараспев читали любимую книгу Женщины-Вихря, Царицы Базара, Повелительницы Облаков и Сновидений. Прощались с Непорочной Девой, Попечительницей Слабых и Убогих, с Девой-Богатыршей; прощались со Сводницей и Воровкой — так кричала Носиха: ее новоиспеченного

зятя буяновская дочка увела из «честной супружеской постели»; прощались с женщиной, при появлении которой в городке железный петух на школьных часах, этот ржавый золотой петушок, выскочил из своего домика да так и замер навеки — с открытым клювом, вытянутой шеей, распахнутыми крыльями и застрявшим в глотке «кукареку»; прощались с Вельмой и Змеей — многие, многие женщины, чьи мужья когда-то, словно обезумев, наперебой ухаживали за Буянихой, знали наверняка, что в карманах, пришитых к ночной рубашке, Ведьма носит сушеные сердца многочисленных возлюбленных, своими глазами видели, как по ночам Ведьма летала в ступе (на помеле, на красном быке, на белом льве, на черном вороне, на ассенизационной бочке, на Буяне, на Недотыкомке, на сложноподчиненных предложениях с придаточными образа действия, меры и степени), видели, как, оставив свою лживую плоть в постели, она ползала по спящему городку в образе прекрасной Змеи, высасывая молоко у коров и вызывая сексуальные галлюцинации у несовершеннолетних; прощались с Буянихой...

...И снова, как и часом ранее, он подумал: «Все, что я делаю, придумано не мною». Он остановился на мосту, невидящим взглядом скользнул по играющей бликами воде и громко проговорил:

— Это переутомление.

Конечно, переутомление. Эта женщина способна и после смерти утомить кого угодно, заставив кого угодно делать то, что она задумала. Недаром же когда-то ее считали колдуньей, с усмешкой подумал Прокурор. И вовсе не исключено, что все это было ею задумано и продумано от начала и до конца, во всех деталях. О, она позаботилась обо всем: о том, чтобы умереть именно там, где умерла, и именно так, а не иначе; о том, чтобы своей смертью взбудоражить весь городок и вывести из равновесия даже тех, кто почти ничего не знал о ее прошлом; о том, чтобы ее уложили в лодку вместо гроба, пока кто-то — только, конечно, не ее близкие — будет хлопотать о более или менее достойном вместилище ее мертвой плоти; о том, чтобы все цветы во всех палисадниках в одну ночь превратились в ее любимые пионы; о том, чтобы все разговоры — о ком бы и о чем бы то ни было — в конце концов обязательно становились разговорами о ней; о том, чтобы ее положили в паркетном зале, куда непременно потянутся люди — некоторые действительно проститься, другие — чтобы погрузиться в свои воспоминания о событиях, атрибутом которых была Буяниха (ибо не было в городке сколько-нибудь заметных событий, к которым она не имела бы касательства) — таким же атрибутом, как истончившиеся до прозрачности золингеновские бритвы, дамские ботинки и бурки, керогазы, утратившие цвет лепестки шиповника и рассыпающиеся в прах крылышки бабочек между листьями пятого

(Барыкова — Бессалько) и пятьдесят девятого (Француз — Хокусаи) томов шмидтовской энциклопедии, трети — просто поглазеть; о том, что скажет доктор Шеберстов и что ответит ему Прокурор, как будет чертыхаться Данголя и сколько бензина спалит Вита Маленькая Головка... Она все это придумала, как придумывала события, имена и людей, которые почти безропотно поддавались яростному напору этой базарной магии. Нет, она никому не давала прозвища — она нарекала телефонистку Анастасию Миленькой, гробатенькую Марию — Масенькой, Ивана Андреевича с его ватной шевелюрой и ватной бородой — Морозом Морозычем, а вздорную и болтливую старуху Граматько — Граммофонихой, и с той минуты никому и в голову не приходило, что у этих людей были когда-то другие имена, а события можно толковать не так, как их толкует Буяника. Это был мир, который она сотворила, — точнее, перевоссоздала по своей воле и разумению, и именно этот мир (быть может, и мало чем отличающийся от того, который мог существовать и без Буяники, но все же — иной) должен исчезнуть, кануть в небытие. Водокачка Буяники. Мостовые Буяники. Голуби Буяники. Водопад Буяники. Шлюзы Буяники. Облака Буяники. Сновидения Буяники. Дожди Буяники. Солнце, Луна и Звезды Буяники. Пространство Буяники. Время Буяники. Наконец — Красная столовая Буяники, не без иронии завершил этот реестр Прокурор, который еще никогда не чувствовал себя таким старым, немощным и никому не нужным. И уже склонив голову под низкой аркой входа, откуда тянуло прохладой и запахом кислого пива, он вдруг подумал: «Да ведь мне больно. Больно».

Договориться с музыкантами Прокурору неожиданно помог черный незнакомец. С него по-прежнему текло ручьем, так что Фене пришлось усадить его за столик поближе к сливному отверстию в полу и строго-настрого запретить менять место. Когда Гриша, выкрикивая обвинения по адресу всех «больно умных» и «больно грамотных», заявил, что за обычную плату они на этих похоронах играть не согласны, черный вдруг оторвался от макарон с пивом и вмешался в разговор:

— Обойдемся и без вас.

Его попытка приподняться — вероятно, для вящей внушительности — была тотчас пресечена грозным взглядом Фени, которая, как обычно, дремала под жалобной книгой с портретом Софии Ротару на обложке, но при этом, как всегда, бдительно надзирала за каждым посетителем. Со вздохом закурив, незнакомец бросил спичку в бокал с пивом — оно вспыхнуло дрожащим голубым пламенем.

— Это как же? — язвительно поинтересовался Гриша.

И тотчас сваленные в углу инструменты вылетели из обшарпанных футляров и, повиснув в воздухе, согласно запели траурный

марш Шопена. Придя в себя, музыканты бросились ловить свои трубы и тарелки, но инструменты мигом поднялись под потолок, где их было не достать.

— Итак? — задумчиво спросил черный.

— Ваша цена? — простонал Гриша.

Прокурор выложил деньги на стол.

Степан Муханов, двадцать лет странствовавший неведомо где и изредка присылавший отцу письма с обратным адресом «Сибирь, до востребования», вернулся в городок, чтобы прославиться как создатель самых кособоких в мире гробов и самых ненадежных в мире лодок. Он наотрез отказался взять деньги за домовину для Буянихи («Только не подумайте, пожалуйста, что я бессребреник, боже упаси! Просто это не тот случай: ведь уже сегодня все будут знать, что я взял деньги за этот гроб. А мне здесь жить. Понимаете?») и предложил Прокурору выбирать изделие по вкусу.

— Берите вон тот. — Он кивнул на какое-то сооружение в углу сарая, отдаленно напоминавшее баркас. — Поди уложи такую кобылу в обычный ящик.

Прокурор договорился с Фотографом об эпитафии, которая, разумеется, должна была украсить надгробие, — и Фотограф, обычно хладнокровно сообщавший клиентам, что за строку прозы на камне он берет пять рублей, а за стихотворную — червонец, отверг предложенный гонорар.

— Наградой будет результат, — пояснил он. — Пока я даже приблизительно не представляю себе, как достойно запечатлеть в нескольких строках наше представление о ее жизни: сирота, партизанка, труженица, Пенелопа, знахарка (тут Прокурор едва удержался от улыбки), возмутительница спокойствия и великая примирительница, вихрь, смерч, ураган, — словом, женщина, попытавшаяся исчерпать все возможные варианты бытия... Кстати, а кто оплатит памятник? Неужели вы? Или доктор Шеберстов?

Прокурор сжал губы и зашагал быстрее.

— Не обижайтесь, — сказал Фотограф. — Пожалуй, мне не стоит братья за это дело. В конце концов, все, что мы можем сказать о ней, вмещает одно слово — «Буяниха». И что тут добавишь?

Вита Маленькая Головка пообещал к вечеру вырыть могилу — у него был богатый опыт по этой части. Надо было только не забыть расплатиться с ним червонцем по рублю: получая ту же десятку одной бумажкой, Вита обижался, считая, что ему мало дали.

Вернувшись домой, Прокурор заперся в кабинете. Несколько часов он неподвижно сидел в кабинете, не замечая, как постепенно

меркнет свет за окном. По улице, громыхая на выбоинах, проехала телега. В тот вечер тоже сначала прогромыхала телега, и еще не затих этот звук, как в дверь постучали и вошел Буян. Нет, Прокурор (тогда следователь) не вызывал его. Более того, ему даже не очень хотелось встречаться — не то что разговаривать с этим человеком, появление которого вызвало такое оживление в городке: что же это за сокровище такое, что его так ждут, ради кого же Буяниха отказывает всем подряд? Ага, вот ради кого, вот ради этого обмылка, что ни ростом ни пузом не вышел, что смотрит на мир сонными глазами, тоскующими на равнодушном лице. Ну что ж, хорошая хозяйка всякой вещи найдет применение. И вот он равнодушным, усталым голосом поздоровался и, даже не сняв замусоленную кепчонку и не посмотрев, куда садится, опустился на стул у двери и заговорил.

— Нет, — сказал Прокурор (тогда еще следователь), — это какая-то ошибка: мне это вовсе необязательно знать. Это ваше личное дело.

— Ага, — равнодушно согласился Буян. — Так вот, значит, када немцы пришли, мене еще семнадцати не было...

— Это ваше личное дело, — снова сказал Прокурор. — До свидания.

Не шелохнувшись, Буян продолжал свой рассказ:

— Дядька после смерти бати у нас за старшего был, он и грит: либо, грит, в Германию, либо в полицию. А у мене на руках три сеструхи да мамаша. Ладно. Дали мене винтовку, а как я сопливый был, ставили мене сторожем — то к зерну, то к сену, то к коням. Среди полицаев я навроде паршивой овцы, Анисим Романов мене ссулем прозвал, среди народа тоже навроде гада. Этого Анисима скоро партизаны повесили, я сам ходил на евонный язык смотреть — синий, чуть не до пояса висит. Думаю себе: поймают мене партизаны — не станут разбирать, что я сторож, повесят за здорово живешь рядом с иудами. Ладно. Раз я сено сторожил, тут партизаны нагрязнули за сеном. Помог я им погрузиться. Один — из чужих — все наскакивал, все к стенке мене хотел. Женилка, грит, не выросла, а уже гад. Командир ихний заступился: не гад пока, грит, а дурак. За сено дядька мене шонполом отодрал. Партизанам, грит, помогаешь, советских испугался? Пока они досюда дойдут, мы всех партизанов переловим и с тебе, суки, сто шкур спустим. Тут мене заело. Кто это, грю, мы? А хотя бы немцы, грит. А я, грю, в немцы не записывался. За это мене добавили шонполов. Када фронт близко подкатился, немцы с полицаями совсем озверели, акции делали — народ по деревням палили. Одним днем и у нас похватали всех баб, у кого мужики в партизанах или в Красной Армии. Кинули их в конюшню, в поместье бывшем. Будешь, дядька мене грит, этих кобыл охранять. А за тобой Амросий посмотрит, чтоб не бало-

вался. Амросий при колхозах в конюхах ходил, а еще в колдунах, детей от икоты заговаривал, скотину пользовал. Шептун. Када немцы пришли, сразу к им подался. Он у их на допросах отличался, особо баб и девок любил мучить. Амросий как мене увидел — обрадовался. Одному-то, грит, скукота самогонку глушить. Пошли мы в сторожку, пахнет там чем-то, тока поначалу я к запаху не прислушивался. Выпили. Хочешь, грит, я тебе оттуда бабу выну? Не бойсь, грит, напоследок они забористые. Напоследок, грю. И тут мене запах в голову ударил: бензин. Бензин, грю. Он самый, Амросий смеется. Утром, грит, угодников жарить будем. И детей, грю, жарить? А ты, грит, лучше выпей. Выпили. Так-то я на выпивку слабый, а тут как воду пью. Не воду — бензин. Все бензином пахнет. Еще выпили. Амросий спать завалился, а мене велел посматривать. Пошел я, хожу, слушаю — нету партизанов, хоть плачь. Вдруг зовут мене. Подошел — она. Дверь на цепке была, щель большая. Выпусти, грит, нас. У мене, грю, и ключа-то нету. Выпусти, грит, хоть детей, а потом хоть что проси, хочешь — мене. Шас, грю, а сам как пришибленный: за ей-то парни как бегали — и какие, а она — мене... Ты, грит, не веришь? Слово тебе даю, выпусти. Шас, Амросий вдруг сзади, шас выпущу, чего, грит, ссуль, эту хочешь? Не бойсь, грит, Амросий не выдаст. И тут вдруг она: убей, грит, его, убей. У мене мороз по спине. Чего, Амросий тут, чего? Шагнул к мене, да оскользнулся, тут я его штыком и вдарил. Что силы было. Он зашипел и упал. Ключ у его, она мене, забири. Кинулся я к Амросию, а он живой еще, в грязи возится и шипит. Я его еще раза два саданул штыком, а после навалился на его, стал ключ отбирать. Он мертвый почти, а не дается, пихается и все шипит. Я руками все мимо да мимо — весь в евоных кишках да кровях перемазался, пока ключ нашел. Дверь открыл. Она мене за руку взяла. В чем это ты, грит, мокрый? В Амросии, грю, скока вас тут? С детьми сорок, грит. А бабы в рев да лезут мене руки целовать. Я на их поорал — отстали. Побежали. Тока до Травкиной канавы добежали, слышу: мотоциклы. Ну, грю, бабоньки, дуйте — не выдавайте. Побежали они, а я в канаву полез. Сумерки уже. Тут мотоцикл на пригорок выскочил и ну строчить по бабам да деткам. Я раза три стрельнул — мотоцикл замолк. Я обратно гляжу: бабам совсем ничего до лесу осталось. А мотоциклы обратно из пулеметов строчат. Переднего я снял, тада они к мене повернулись, разозлились. Ну и хорошо, думаю, а сам в их стреляю. И вдруг сзади застреляли. Глянул я: баб моих не видать, а от лесу бегут какие-то. Я и в этих на всякий случай пальнул. Возле лесу запукало — это партизаны из минометов по немцам вдарили. Соскочил к мене в канаву который, када за сеном приходили, к стенке мене хотел. Ты чего, грит, по своим лупишь, а? Дай-ка, грит, я тебе, гада, поцелую. В партизанах мы недолго воевали. Ее сперва ранило, потом она в

гестапо попала. А как наши пришли, мене куда надо отправили, я не жалуюсь. Я уже года полтора отсидел, как она мене письмо написала. Жду, пишет, какого ни есть, тока ворочайся живой. Вот я и воротился.

— Ага, — сказал Прокурор. — Только я не понимаю...

— Я ее не неволил, — сказал Буян. — Я ей с лагерей так и отписал: можешь мене не ждать, слово тебе ворочаю.

— Только я не понимаю, — сказал Прокурор, — зачем вы мне это все рассказали?

— Чтоб знали. — Буян поднялся. — Вы ж про ее хотите знать... ну, и про мене...

Он ушел, а Прокурор (тогда еще только следователь прокуратуры) долго сидел в кабинете. Наутро он сделал предложение той, которая стала его женой. И когда доктор Шеберстов насмешливо спросил, с чего бы это «достоуважаемый правовед так скоропалительно забыл даму сердца и обзавелся дамой желудка», Прокурор ровным голосом ответил:

— Если вы еще раз позволите себе неуважительный выпад по адресу моей жены, я набью вам морду, доктор Шеберстов.

Он вытянул ящик стола, нащупал конверт, вытряхнул из него сложенный вчетверо листок бумаги — и только тогда догадался включить свет. Эту бумагу ему отдал тогдашний прокурор — астматический старик, даже летом носивший толстое пальто, покровом напоминавшее шинель.

— Вы что-нибудь понимаете? — сердито спросил он, заметив улыбку на лице помощника, пробежавшего глазами заявление. — Я даже не представляю, как к этому относиться.

— Если не возражаете, я возьму это себе.

— И что вы собираетесь делать?

— Ума не приложу. Скорее всего — ничего.

Вернувшись к себе, он перечитал заявление: семнадцать женщин требовали положить конец бесчинствам Буяниках, насылавшей порчу на мужчин, которые ни о чем и ни о ком, кроме как о ней, змее, не могли думать.

Встретив Надю Сергееву, чья подпись под заявлением стояла первой, он напрямик спросил:

— Неужели вы верите во всю эту чушь?

Кажется, он недооценил силу женской ненависти. Смерив его с головы до ног пылающим от негодования взором, Надя процедила сквозь зубы:

— А это как раз неважно, верим или нет. Если вам на это плевать, мы сами займемся этим.

Тем же вечером авторессы заявления ворвались в любешкинскую кухню, где Буяника ждала, когда припаяют ручку к ее кастрюле, и потребовали бесспорных доказательств ее непричастности к

волшбе. С презрительной улыбкой она недрогнувшей рукой достала из кузнечного горна раскаленную добела гайку и зажала ее в кулаке. Когда женщины пришли в себя после обморока, она разжала ладонь и бросила гайку в горн — рука ее даже не покраснела. И позже, когда она прославилась как знахарка, наложением рук избавлявшая от зубной боли, бессонницы, икоты и рака прямой кишки, Буяниха называла тех, кто видел в этом чудо, суеверными дураками.

Он посмотрел на часы, сунул конверт в карман и, погасив свет, надел шляпу.

Собаки во дворе зашевелились, но Прокурор не взял их с собой.

— Мог бы и свет зажечь. — Леша провел рукой по стене в поисках выключателя. — Где он тут?..

— Не надо, дядя Леша, — остановил его голос. — Теперь-то все равно.

— Без фокусов не можешь. — Леонтьев неодобрительно покачал головой. — Что люди скажут?

— Ну, остальные-то нормально явились?

— Давно спят.

— И слава богу. Да не ищи ты выключатель! — уже с раздражением воскликнул молодой человек. — Успеешь еще налюбоваться на меня. Или ты... — Он тихонько засмеялся. — Или ты тоже пришел в сундук заглянуть?

Участковый почувствовал, как лицо его заливают краска.

— Ты мать-то хоть видел? — строго спросил он.

Глаза привыкли к темноте, и теперь он различал узкую фигуру того, кто сидел на сундуке.

— Мать. Ага, мать, а кто же еще? И директриса тогда сказала: вот ваша мать. Не мама — мать. Но это мелочь, на которую мы не обратили внимания. Мы ведь тогда просто испугались той бабы, которая ворвалась в общую комнату и грозно приказала нам собираться. Она-то как раз не кривлялась, не назвалась матерью — просто велела собираться. Пойдете жить ко мне, сказала она, не обращая внимания на директрису, которая лепетала, что все это не так просто, что надо еще оформить, что все это делается в установленном порядке... Вот и устанавливай порядок, сказала она, а я этих беру. Сколько их тут? Семеро? Семерых.

— Откуда тебе помнить? — прервал его Леша. — Ты же был самый младший. Сколько тебе было — четыре? пять?

Молодой человек снова засмеялся.

— Ты разве забыл, что дети Буянихи — одногодки?

— Но ты же всегда был самый младший, — возразил Леша.

— Казался. — Он помолчал. — Я и до сих пор удивляюсь: почему она нас не перекрестила? Ну, почему позволила нам носить

детдомовские имена? Ведь это не в ее духе. — Он закурил, бросил спичку на пол. — Пять мальчиков и две девочки вдруг стали братьями и сестрами. А ведь мы не были братьями и сестрами...

— Какая разница, — пробормотал Леша.

— Поначалу, конечно, никакой, а потом...

— Ты не крути. — Леша тяжело вздохнул. — Я же знаю, куда ты гнешь. Могилу рядом вырыли.

— И правильно! Мать и дочь — рядом.

И он стал говорить — сумбурно, почти бессвязно, в отчаянной попытке снова вернуться в то далекое утро, яростно вырывая у прошлого миг за мигом, час за часом, день за днем, задыхаясь от боли, ненависти и страха, как будто с того дня и не прошло десяти (или больше?) лет, как будто все это произошло вчера, нет, даже не вчера, даже не час назад, — как будто это происходит — сейчас, сию минуту, сейчас и здесь, вновь и вновь. Леша, поднятый на заре Желтухой, снова бежит на базар, бежит через залитый дождями стадион, через заросшие бузиной развалины, забыв о мотоцикле, забыв, то есть — не успев как следует одеться, бежит, задыхаясь и думая только об одном, не думая — страстно желая, чтобы все это почудилось этой треклятой Желтухе, которая всю ночь, как обычно, раскатывала на своем велосипеде по городку и уже под утро зачем-то заглянула на базар. Почудилось. Конечно, ведь она так и сказала: мне почудилось, будто кто-то оттуда выбежал, а увидел меня — и кинулся за баню, к реке. Конечно, почудилось и остальное, чему еще не было названия, но что уже вразгон перло навстречу — не разбирая дороги, слепо и неостановимо. Он выбрался на дорогу (почудилось!) и увидел людей, столпившихся у ворот (почудилось!). Кто-то взял участкового за плечо и сказал — почему-то шепотом: «Не туда, Алексей Федотыч, — налево». В углу, где когда-то привязывали лошадей, где по воскресеньям Васька Петух и цыган Серега спорили, кто из них плясовитее, — на куче мусора, возле которой замер бульдозер, — почудилось! — лежала эта девочка — лицом вниз, подсунув левую руку под себя, а правой вцепившись в рваное сапожное голенище, торчавшее из мусора. «Теплая была, когда я ее нашла», — проскрипела за спиной Желтуха. Леша растерянно огляделся: заколоченные досками окна магазинов, навесы, под которыми громоздились горы пустых ящиков из-под вина, изрытая земля, бульдозер, сизые ивняки, с трех сторон обступившие базар... Значит, этой ночью, скорее всего — под утро, она выскользнула из дома, презрев материны запреты и мольбы брата, и по пустынным улицам побежала сюда, побежала, дрожа от ночной прохлады, а еще, быть может, от страха — неужели она ничего не чувствовала, не предчувствовала, зная того, кто заставил ее ночью покинуть постель и, пугливо озираясь, бежать на базар? «Моргач, — не оборачиваясь позвал Леша, — сходи с мужиками в гостиницу...»

— «Уже были, — тотчас откликнулся Моргач. — Нету его там, Алексей Федотыч. Зойка говорит: ночью ушел, она и не слыхала — когда». — «Капитолина. — Леша поискал взглядом женщину, сморщился. — Капа, поди к ней... только не одна... с Граммофонихой, что ли... Дусю возьмите, Данголю...» Но она уже расталкивала людей, пробиваясь к участковому, — нет, впрочем, его она даже не видела, — полезла на кучу, а Леша стоял олух олухом и тупо смотрел на ее толстые ноги с варикозными венами, обутые в стоптанные мужские ботинки без шнурков, смотрел, пока она не прикрикнула: «А ну помоги!» — и тогда послушно полез наверх и взялся за ледяные ноги. «Нет, нельзя, — прохрипел он. — Не по закону». — «Да пошел ты, — огрызнулась она. — Господи, зачем же он ее обрил? Да помоги же, сука!» Моргач принес брезент, в который ее и завернули — осторожно, чтобы не оторвалась голова, державшаяся на тонкой ленточке кожи, туда же положили и сверток, найденный неподалеку, — Буяниха заглянула в него — и молча положила рядом с дочкой... Так что этот парень ничего этого не видел, то есть даже не видел ее до той минуты, когда гроб привезли в дом и поставили в самой большой комнате, в этой самой, где сундук, — но тогда он только глянул на нее и отвернулся, и уже через час его не было в городке. Так что и на похоронах его не было. «Конечно, — сказала Буяниха, — я ей не мать. Я матерью только сейчас стала. Это я во всем виновата. (Но в ее голосе не было раскаяния.) Это я запретила ей даже видеться с этим мерзавцем, с этим убийцей, с этим... Его надо найти, Леша. («Его ищут», — сказал Леша.) Да, я сразу распознала, что он за птица: перекаати-поле, вор, бродяга, убийца, у которого никогда не было ни отца, ни тем более матери, он из плесени родился, это же сразу видно. И сюда он явился только затем, чтобы обмануть ее и убить. И все, что он тут делал, он делал для отвода глаз. И что в гостинице поселился. И что работать пошел. И что детдомовских искал. И что вел себя тихо — до поры до времени, пока не убил того человека... («Никаких доказательств нету», — возразил Леша.) А это твое дело — искать доказательства. Мое дело сказать: это он убил, все знают, хотя никто и не видал. Ну и что? Будто для того, чтобы знать, надо обязательно видеть. Это он заманил того человека на Свалку, убил его и ограбил, а потом закопал в макулатуру, думал небось, что его ненароком в гидропульпер сунут, кардон из него сделают — и всех делов... («Никто не знает, — снова возразил Леша. — Никто до сих пор ничего не знает») И плевать. И ладно». И даже когда она узнала, что убийца пойман, ее не заинтересовало, кто он такой на самом деле, — только и спросила: «Куда ж он одежду ееную дел?» — и все. Да и что говорить, если все, что можно, уже было и сказано и сделано: в одну ночь она потеряла и дочь и сына — сына, который не был братом этой девочке, который любил ее, которому она строго-на-

строго велела выкинуть из головы эту самую любовь, черт бы ее взял: как бы там ни было, она считалась его сестрой. И все. Да и потом, девочка сама сделала выбор — в пользу прищельца с косой челкой и тонкой ниточкой усов на толстой верхней губе, в пользу человека, который ни у кого — ни у кого — не вызывал иного чувства, кроме безразличности, будто нарочно сам к этому стремился, в пользу этого полукалеки с нарисованными на сером лице серыми глазами...

— Ладно, Леша. — Он снова закурил, откинув длинные волосы со лба. — Чего тут. Ей было наплевать на меня, и я и сам удивляюсь, почему эта история до сих пор не дает мне покоя. В конце концов она сама выбрала себе судьбу, хотя, конечно, это и было глупо: назло матери — так это выглядело, а может, и было — связаться с человеком, который и ей внушал страх, — я в этом уверен: он внушал ей страх, хотя она, наверное, и не понимала — почему. Она сказала мне тогда: он увезет меня отсюда. А ведь он ничего ей не обещал. Вот она и ушла из дома. Потому что, если бы она осталась со мной, она никуда не ушла бы отсюда, даже если б потом мы и уехали куда-нибудь. Понимаешь? Ей хотелось уехать — в другой мир. Ведь это мать... нет, я не виню ее! Но ведь это мать научила ее грезить о другом мире. Мать и тетка. Но начала мать. Это она называла ее не Верой, а Вероникой, это мать рассказывала ей о райской жизни, о теплом море на юге, где сама никогда не бывала, это мать показала ей платье...

Он соскочил с сундука и рывком поднял крышку.

— Включи свет! Слева!

И когда вспыхнул свет, он достал из сундука (Леша узнал сверток, который положили рядом с мертвой девочкой) изъеденное молью, мягкое, потускневшее бархатное платье с кружевным воротником, — да, алый бархат, сквозивший маленькими дырочками, потускнел и запылится, но платье, как и встарь, было головкружительно красиво, и от каждой его складки веяло той жизнью, где не было вульгарных Верок, а были только прекрасные Вероники, где всегда играла музыка, где плескалось теплое море и шелестели пальмы — и что там еще придумала эта женщина, которая всю жизнь читала лишь две книги — «Три мушкетера» да «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая никогда не видела вблизи мир своей мечты — ну, разве что в «Индийской гробнице» или «Парижских тайнах», — платье, которое надевали только в этой комнате, перед этим тусклым зеркалом, всего несколько раз в году, тайком от всех, даже от домашних, и это, конечно, были праздники мечты — для матери и дочери, — словом, это уже было не платье, но символ другой жизни, той жизни, которую мать не смогла прожить, — может, потому, что дала слово этому человеку, своему мужу, может, просто потому, что у нее не хватило отваги, как знать, — во

всяком случае, ее дочь не связала себя словом с тем человеком, который считался ее братом, но не потому, что он считался ее братом, а потому, что он был частью этого — этого — мира, из которого предстояло бежать, и вот она отважилась, она бросилась навстречу тайне, навстречу прекрасному, которое все заставляло себя ждать, — кинулась очертя голову, и, наверное, все-таки не ее вина в том, что этот путь уткнулся в мусорную кучу на базаре...

Он осторожно повесил платье на плечики и пристроил на дверце шкафа.

— Вот и все, — уже спокойно сказал он. — То есть это все, что было в сундуке. Ни денег, ни драгоценностей, ни сберкнижки, ни дракона, — мечта. Какая б она ни была. Грязная, пыльная, мятая, траченная молью, пошлая, смертоносная, наконец.

Под утро браконьеры, которые уже несколько ночей подряд выслеживали того, кто рвет их снасти, на песчаном островке ниже водопада забили веслами некое чудовище с обезьяньей головой на длинной шее, конскими ногами и туловищем слепой собаки. В желудке чудовища обнаружили три рваных бредня, ржавую швейную машинку и резко пахнущий водкой граненый стакан. Собаки это мясо жрать отказались.

В полдень похоронная процессия двинулась по Седьмой улице. С непереносимым визгом, разбрызгивая искры из-под колес, остановились три поезда — два товарных и вильнюсский пассажирский. Над крышами городка, над липами и реками, над окрестными полями и лесами поплыл густой голос Трубы — могучего гудка бумажной фабрики. К нему присоединились гудки макаронки и маргаринки, мясокомбината и мельницы, трикотажки и хлебозавода... Загудели тепловозы, подал голос Чарли Чаплин — доживавший свой век на запасных путях, не годившийся уже даже в маневровые паровозик. Гудели автомобили и автобусы, мотоциклы и мопеды. С Преголи донеслись гудки барж, шедших в карьер за песком и гравием. В скорбном молчании замерли птицы в небе, звери в лесах и рыбы в реках.

Во главе похоронной процессии шла Капитолина с маленькой подушечкой, на которой тускло мерцала медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени. За нею Геновефа и Данголя несли портрет Буяники — в последний момент вдруг обнаружилось, что ни у кого не сохранилось ни одной ее фотографии, и пришлось вырезать снимок из районной газеты двадцатилетней давности, на котором сквозь полиграфический туман проступала чья-то фигура в обнимку с коробкой вермишели. Далее следовали двести человек с траурными венками и еще двадцать — с крышкой гроба. С приличествующей случаю скоростью ползла чернота

ковая полуторка, в ее открытом на все стороны кузове, устланном ветками ели и туи, стояла лодка (ночью покойницу попытались переложить в мухановский гроб — он развалился) с телом Буянихи, которая сложенными накрест мертвыми руками прижимала к груди какую-то бумажку, подсунутую в последний момент Прокурором.

В первом ряду за машиной, неотрывно глядя на покачивающийся задний борт, шли Валентина, Григорий, Михаил, Петр Большой и Петр Рыжий (тот самый Рыжий, которого однажды ночью разъяренная Буяниха ружейным прикладом выгнала вон из сада, где он поджидал эту похотливую дурочку), Иван и Вера-Вероника (Буяна так и не смогли извлечь из сарая, где он что-то остервенело мастерил), а также Солдат Маруся со своими прелестными детьми. За ними шагали Леша Леонтьев в парадном мундире, доктор Шенберстов со всеми орденами на необъятной груди, Прокурор, Мороз Морозыч, Веселая Гертруда, пилот штурмовика, уже получивший прозвище Чиримэ, и черный незнакомец, с которого по-прежнему ручьем текло. Сбоку, отталкиваясь ногами от земли, катил на мопеде с выключенным мотором Вита Маленькая Головка. За ними шли Граммофониха со своей состаревшей дочкой-красавицей; Андрей Фотограф в широкополой шляпе и с длинным шарфом на шее; безмятежный мастер Степан Муханов и его отец Аввакум Муханов с вросшей в губу вечной сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта; пропахший нафталином и кроличьей мочой Фокусник в черных лакированных ботинках; Миленькая и Масенькая с Мордашкой на руках; Надя Сергеева и шестнадцать ее подруг; одноногий кузнец Любишкин; Валька и Желтуха; дряхлый Афиноген с новеньким языком во рту; слепой Дмитрий; Зойка-с-мясокомбината, известная блудница, питавшаяся сырым мясом; вечно простуженная буфетчица Зинаида; Феня из Красной столовой; цыган Серега; Мишка Чер Сен со своими пятерыми черсенятами; обезьянка Цитриняк; бабушка Почемучето с громко тикающим будильником в ридикюле; Миша Рубщик; Дуся-Эвдокия без шести пальцев на руках и двух на ногах (память о ленинградской блокаде); Резаный и Сергеюшка с ледяными петушками в зубах; Алеша Рязанцев об руку с Алексеем Сергеевичем Рязанцевым; Стрельцы; Уразовы; Ирус со своей компанией; Моргач, от которого всегда пахло машинным маслом; Разводовы Генка и Вовка — эти, как всегда, пьяненькие; музыканты, привязанные веревками к инструментам; Таня-Ваня верхом на сундуке, с самогонным аппаратом в руках; прокурорские собаки; Калабаха; главврач с льняной бородкой и руками молотобойца; Добродетель, Любовь, Сострадание, Участие и Надежда в легкомысленных одеяниях; редактор районной газеты Юрий Васильевич Буйда со своей женой Еленой Васильевной и детьми Никитой и Машенькой; бумажные фигурки, которые на досуге любил

вырезать Прокурор; траченное молью бархатное платье; Пятьдесят Самых Толстых Женщин — среди них по всем статьям выделялась горторговская Лидочка, весившая ровно десять пудов (без ботинок); Аркаша Стратонов, съедавший в один присест ведро вареной картошки; старуха Три Кошки; Плюшка; Серега и Митроха; Миллионер, ставший всеобщим посмешищем после того, как его жена отдала заходяй цыганке ветхий полушубок, в котором этот скряга прятал семь лет деньги; Три Богатыря с зелеными бородами и Три Мушкетера; прокурорский стул; пасечник Рудый Панько; воняющий мазутом Князь Тьмы из Гнилой Канавы; красный бык; белый лев; Недотыкомка, непрестанно ковыряющийся в носу; заплаканные сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени; Барыкова — Бессалько; Француз — Хокусаи; полупрозрачные золингеновские бритвы; керогазы; браконьеры; Водочка Буяники; Мостовые Буяники; Голуби Буяники; Водопад Буяники; Шлюзы Буяники; Сновидения Буяники; Облака Буяники; Солнце, Луна и Звезды Буяники; Пространство Буяники; Время Буяники...

С раннего утра доктор Шеберстов никак не мог избавиться от тягостного предчувствия, что вся эта затея с похоронами добром не кончится. «Помяни! — крикнул он жене. — Не тот случай! Не та баба!» Всю дорогу он ждал какого-нибудь подвоха, поэтому и не удивился, когда Граммофониха шепотом сообщила, что Буяника, кажется, зашевелилась в лодке, и только распорядился накрыть ее с головы до ног покрывалом. Не удивился он и тому, что, миновав последний мост, на перекрестке у Гаража полуторка заглохла, да и никто не удивился: вот уже почти сорок лет всякий раз она глохла именно на этом месте; однако на этот раз машину завести не удалось. Громко фыркнув, доктор Шеберстов приказал нести гроб на руках, и тотчас сто пятьдесят самых крепких мужчин сняли лодку с машины. Процессия двинулась дальше.

— Цветочки! — громко прошептал доктор Шеберстов Прокурору. — Будет история!

— Мне кажется, — пробормотал Мороз Морозыч, — это будет история о том, как мы не смогли похоронить одну женщину.

Под звуки оркестра, с причитаниями и плачем пестрая змея похоронной процессии свернула возле бывшего детдома в липовую аллею и поднялась на вершину кладбищенского холма, где уже зияла вырытая в желтом песке яма в форме лодки. Гроб бережно опустили на землю.

И вот тут рев медных труб и одиннадцати тысяч семисот пятнадцати женщин вдруг оборвался, и в наступившей тишине кто-то радостно закричал:

— Да это ж Буян! Буян!

Толпа хлынула к ограде и замерла.

По кочковатому полю, подпрыгивая и хлопая, словно крыльями, откинутыми бортами, неслась чернолаковая полуторка, на подножке которой, вцепившись рукой в баранку, кое-как держался Никита Петрович Москвич, озабоченный лишь тем, чтобы не оборвался буксирный трос, к которому был привязан огромный двукрылый воздушный змей, чьи крылья были приделаны к ассенизационной бочке. Широко расставив ноги на верхнем люке, багровый от натуги Буян нещадно погонял Птицу — ветхий конь никак не мог сообразить, он ли это скачет или некая чудесная сила увлекает его вперед, и мчался с закрытыми от ужаса глазами, хватая воздух широко открытым ртом и раскатисто пукая.

— Буян! — заорал доктор Шеберстов. — Буян! — Он замолчал, подыскивая слова, и вдруг оглушительно захохотал. — Давай, сукин сын! Давай! Дава-а-ай!

И тысячи людей, словно враз обезумев, что было силы закричали:

— Давай! Давай!

Они истошно вопили, размахивали руками, топали ногами, плакали, колотили друг дружку по спинам, хохотали — и неистово, яростно, бешено, самозабвенно требовали чуда:

— Давай, Буян! Давай! Не выдавай! Не выда-а-й!

Птица вдруг отчаянно заболтал ногами в воздухе, ассенизационная бочка подпрыгнула на кочке — и поплыла, плавно покачивая исполинскими крыльями, сшитыми из заплатанных ночных сорочек, чиненых-перечиненых носков, трусов, бюстгальтеров, халатов без пуговиц и пальто со шкуркой неведомого зверя на воротнике, — выше и выше, над полем, над лесами, над крышами городка, пропахшего елью и туей, и тут люди вдруг разом обернулись и увидели, как из-под покрывала, закрывавшего Буяниху, выпорхнул белый голубь («Ну вот, — сказал доктор Шеберстов. — Ягодки»), тотчас прыгнувший в небо и помчавшийся за ассенизационным змеем, за первым голубем порхнул второй, третий, десятый, сотый, и вот уже тысячи, тысячи тысяч голубей, громко хлопая крыльями, гигантским клубящимся столбом белого дыма уходили в небеса — в Дом, где и эта — и эта судьба будет измерена мерою человеческою, какова мера и Ангела...

В наступившей тишине особенно хорошо было слышно, как со скрипом взмахнул крыльями железный Золотой петушок, стряхивая ржавчину на школьную крышу, как забилося у него в горле, заклокотало и, наконец, вылетело и полетело над городком:

— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!..

ЕВА ЕВА

Предчувствие, предощущение щедрой любви и неисчерпаемого счастья вызывала у всех Евдокия Евгеньевна небесихина, прибывшая в городок одним из первых эшелонов, доставивших в послевоенную Восточную Пруссию российских переселенцев. Смущенно-боязливо вслушивались они в звучание имен древних городов — Кенигсберг, Тильзит, Инстербург, Велау, приглядывались к чужой этой земле — тесным полям и вычищенным лесам, узким асфальтовым дорогам и каменным домам с черепичными крышами, под которыми обитали те, чьи дети жгли их псковские, смоленские, орловские деревни. Смущенно-боязливо ступали они по мелким синим камням перронов и жались поближе к солдатам и офицерам своей армии, вольготно расположившейся и уже обжившейся во всех этих «ау» и «бургах». И только Евдокия Евгеньевна смотрела по сторонам и улыбалась так естественно и легко, словно была законной наследницей этого семисотлетнего владения, уткнувшегося своими тесными полями, польдерами и белыми дюнами в холодные воды Балтийского моря. Солдаты и офицеры с интересом поглядывали на державшуюся особняком златоглазую красавицу с маленьким чемоданчиком в руках. «Магнитная женщина», — громко сказал черноусый сержант, но она только скользнула по нему чуточку насмешливым взглядом — и уверенным шагом направилась в сторону детдома. Наутро уже все знали, что в детдоме появилась новая сестра-медичка. Евдокия Евгеньевна. Ева Ева.

Черноусый сержант был прав: Ева Ева и впрямь оказалась магнитной женщиной. Мужчины влюблялись в нее с первого взгляда, дети бросались по первому ее зову и даже женщины простили ей ее красоту с первого раза.

Дважды переходивший из рук в руки, разбитый и сожженный городок, населенный истосковавшимися по дому русскими солдатами и молчаливыми немцами, которые, шатаясь от голода, мыли тротуары с золой вместо мыла и меняли девственность своих дочерей на кусок солдатского хлеба, — этот истстрадавшийся, скукоженный, обгорелый городишко ожил с появлением Евы Евы. Вдруг пышно зацвели яблони и каштаны, вдруг вернулись птицы, переживавшие войну в краях, где не выходят газеты, вдруг пришли в охоту застоявшиеся черные быки и их ост-фризские невесты... И даже костлявая Марта, чьи сыновья погибли в Африке и на Волге, брала метлу на караул, пропуская машины с хохочущими солдатами через железнодорожный переезд...

Кто только не пытался ухаживать за Евой Евой! Генералы и солдаты, офицеры и интенданты всех родов войск, расположенных в городке. Одно ее имя нередко служило поводом для ссоры и зубодробительного разбирательства. Двое молодых летчиков, поспорив из-за златоглазой женщины, подняли в воздух свои истребители, чтобы решить спор лобовым тараном. А она лишь посмеивалась и принимала в подарок только цветы, хотя перед нею были открыты все репарационные склады Восточной Пруссии.

Каково же было наше изумление и возмущение, когда мы узнали, что Ева Ева стала жить с немцем Гансом. Господи, с Гансом. С этим недотепистым длинноруким парнем, над которым посмеивались даже немцы. В детдоме он исполнял обязанности сторожа, истопника, садовника и скотника. Он был дисциплинирован и кроток: даже если его бранили, он лишь согласно кивал, пытаясь растянуть губы в улыбке. Это, впрочем, ему не удавалось: осколок фугасного снаряда пробил ему обе щеки, вышибив половину зубов и напрочь вырвав язык. И вот однажды его увидели выходящим утром из ее комнаты. Как и когда они сблизились, как и когда они поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов — ведомо одному богу, который пасет немых и красавиц. На вопрос же начальника детдома майора Репринцева она ответила с обезоруживающей улыбкой: «Люблю. Жалею». И все. Женщина, при взгляде на которую тотчас свихивались все существа мужского пола от генералов до воробьев.

Смехом парализовала она и нашу слабую попытку подвергнуть ее остракизму, а самым настойчивым продемонстрировала никелированный браунинг с дарственной надписью на рукоятке — от маршала Жукова.

Ночами же мужчины на окрестных улицах до утра ворочались в своих постелях и беспрестанно жевали бумажные мундштуки папирос, прислушиваясь к ее счастливым стонам и вызывающе бессмысленному мычанию ее возлюбленного. Посмотреть на него приходили даже из авиаполка, расположенного в семи километрах

от городка. Трогать его, впрочем, остерегались — отчасти из нежелания ссориться с Евой, отчасти, скажем честно, из уважения к его физической силе: Ганс двумя пальцами отворачивал ржавые гайки на ступице автомобильного колеса. Когда же комендант полковник Милованов под благовидным предлогом запер его в кутузке, Ева Ева просто пришла, просто взяла со стола в комендатуре ключи и просто освободила немого, в то время как все, кто там был, включая часовых и полковника Милованова, лишь молча проводили ее восхищенными взглядами. Ганс на руках отнес ее домой. «Их либе дих, — не стесняясь окружающих, говорила она ему. — Я хочу ребенка. Я хочу забрюхатеть. — И, проглатывая первый звук его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону поворачивались даже фаллические хоботы танковых орудий: — Аннес... Аннес...»

Шло время, а Ева не беременела.

С разрешения майора Репринцева она усыновила однорукого десятилетнего мальчика, прозванного детьми Сусиком (Иисусиком). Это был молчаливый парнишка, единственным развлечением которого была стрельба из рогатки по немецким жителям, боявшимся его как огня: бил он стальными шариками от подшипников, подаренных танкистами детскому дому на игрушки. К новому своему положению он отнесся совершенно равнодушно. Он не позволял Еве одевать или раздевать себя, ходил в баню с солдатами, с ними и столовался, домой приходил лишь переночевать. Ева Ева покорно сносила его оскорбления («Немецкая шлюха! Гитлеровская подстилка!» — ледяным тоном выщечивал он из своего косо прорезанного рта), покорно дожидалась его возвращений, чтобы, убедившись, что он заснул, поцеловать его в закрытые глаза.

Детдомовские его недолюбливали и в играх спуска не давали. Когда затевали игру в войну, ему чаще всего выпадала роль пленного на допросе. Его били сложенным вдвое телефонным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под ногти иголки. Стиснув зубы, Сусик молчал, доводя «врагов» до остервенения. «Добром это не кончится», — предупреждал Еву начальник детдома.

И он оказался прав. Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попали, изо рта вдруг вывалился непомерно длинный фиолетовый язык.

Ганс принес на руках в больницу потерявшую сознание Еву. Доктор Шеберстов расстегнул на ней халат и присвистнул, увидев чудовищный шрам, тянувшийся извилистой гроздью от левой груди к золотистому лобку.

— Откуда это? — спросил он, когда Ева Ева пришла в себя и он тщательно ее обследовал.

— Из-под Варшавы. Я была санинструктором в пехоте.

Доктор Шеберстов глотнул.

— Евдокия Евгеньевна, я должен вам сказать, что у вас... что вы, скорее всего, никогда не сможете родить...

Она долго молчала, лежа на кушетке с закрытыми глазами. Потом села, подняла глаза на врача, прятавшего руки за спиной.

— Тогда зачем мне все это? — тихо спросила она, коснувшись рукой своей груди. — И это... и это... Зачем? Выходит, гожусь только в бляди?

— Война. — Доктор отвел взгляд.

— За что, господи? — Она порывисто запахла халат. — Меня то — за что?

— Война не вина, — пробормотал Шеберстов. — Не вина.

Несколько дней она не выходила из своей комнаты. Лежала ничком на кровати, то засыпая, то просыпаясь и тупо вслушиваясь в шум крови.

В дверь постучали. Она не ответила.

— Ева, — позвала кастелянша Настенька, — Евушка, да не убивайся ты так. Пойдем, небось на станции они еще.

Евдокия с трудом оторвала голову от подушки.

— Кто?

— Кто-кто? Немцы, конечно.

— Какие немцы? — не доходило до нее.

Настенька склонилась над нею.

— Да ты чего, девонька? Или заболела?

— Нет. — Она села на кровати. — Что случилось?

— Высылают их всех. Немцев да немчих с немчатами. По пуду барахлишка на душу — и ауфвидерзей. Моя хозяйка ручку медную от двери отвернула — на память.

— Почему высылают? — Ева уже стояла, быстро застегиваясь и поправляя прическу. — Ничего не понимаю. — Глянула в окно: двое солдат с автоматами гнали куда-то посередине булыжной мостовой старуху Марту. — За что их? Куда?

— В Германию. Приказ такой из Москвы. Да не скажи ты, я своего попрошу — на машине вмиг добросит.

Черноусый сержант помог женщинам выбраться из машины, крикнул часовому:

— Они со мной!

Их пропустили.

Далеко впереди тяжело, натужно и редко пыхал паровоз. Солдаты с грохотом закрывали двери товарных вагонов, не обращая внимания на мертво стоявших в проемах немцев, офицеры навешивали пломбы.

— Ганс! — крикнула Ева в ближайший вагон. — Аннес, родной мой!

Молодой офицер в форме МГБ отвернулся и, ломая спичку за спичкой, закурил.

Она бросилась вдоль косо освещенного прожекторами поезда. За нею побежала сбобная Настенька.

— Аннес! Ты где? Где ты? Не пушу! — кричала Ева, на бегу отбиваясь от Настеньки. — Не пушу-у-у!

Набежавшие из темноты солдаты повалили ее на перрон, прижали к брусчатке.

Поезд залязгал и тронулся.

— Аннес!

Ева вырвалась и, спотыкаясь, бросилась в зал ожидания.

— Телеграмму! — страшно закричала она в окошечко юной телеграфисточке. — Телеграмму Сталину! Молнию!

Подошедший сзади давешний гэбист осторожно взял ее за локоть. Она, не глядя, резко оттолкнула его.

— Телеграмму!..

Телеграфисточка отвернулась.

— Пожалуйста, — громко прошептал гэбист, хотя, кроме них, в зале никого не было. — Уйдемте. Это приказ. Понимаете? Приказ.

Несколько мгновений она смотрела на него словно слепая.

Он взял ее за руку и повел. В дверях ее подхватила запыхавшаяся Настенька.

— Пойдем, миленькая... спасибочки, товарищ кавалер... Пойдем...

В машине черноусый сержант долго раскуривал папиросу, потом вдруг сказал, глядя в темноту:

— Полковник Милованов застрелился. — Пыхнул дымом. — Из-за Эльзы своей. Депортация, бабоньки.

И выжал сцепление.

На следующий день Ева Ева взяла расчет и купила билет до Москвы. Затянутая в узкий модный костюм, в туфлях на высоких каблуках, благоухающая духами, она явилась на вокзал за минуту до отправления курьерского.

Больше мы ее не видели. Только и узнали потом, что она долго стояла с папиросой в тамбуре, не отвечая на вопросы проводника, — он-то, проводник, и заподозрил неладное, когда после Вильнюса в очередной раз выглянул в тамбур и увидел открытую настужь дверь и узкую дамскую сумочку, мотавшуюся на вагонном поручне. Изувеченное тело нашли в придорожном ежевичнике: пробитый пулей висок, никелированный пистолет в судорожно сжатой и переломанной руке, ноги в крови и креозоте, — мертвая, конечно, мертвая, — но это уже была не Ева Ева. Нет, нет, это была не она, не златоглазая Ева Ева, вызывавшая у всех екающее под сердцем предчувствие, предощущение щедрой любви и неисчерпаемого счастья...

РИТА ШМИДТ КТО УГОДНО

— Не знаю. — Костлявый старик в мятом полотняном костюме откинулся на спинку — гнутые полозья кресла-качалки со скрипом перебрали неровные доски пола, от которого тянуло пряным запахом масляной краски вперемешку с сосновой смолой. — Не знаю и никто не знает, почему она решила оставить свою дочь здесь. И почему именно у этих баб. Может, боялась, что девочка дороги не выдержит. Кто ж знал, куда их повезут. — Он закурил. Одиноким костлявым старик в неважно выстиранном и неглаженном полотняном костюме с пожелтевшими лацканами и общлагами, в надвинутой до бровей соломенной шляпе с узкими полями и неровно обхватывающей тулью шелковой ленточкой неопределенного цвета, в черных потрескавшихся ботинках, из которых торчали тощие волосатые лодыжки. Один в комнате с кафельной печкой в углу и этажеркой-самоделкой, уставленной книгами в расшлывшихся картонных переплетах и пыльными чайными стаканами, в которых в пыльной паутине косо висели папиросные окурки с изжеванными мундштуками, мелко дрожавшие, когда мимо двора проезжал грузовик, погромыхивая на булыжной мостовой. — Мы-то и то не знали, что немцев будут выселять. Так, догадывались, может, некоторые. Догадывались, хотя не очень-то верили. Их же тыщи жили тут, в своих домах. Это мы были приезжие, сброд блатных и нищих, кто откуда, приехали-уехали. А они тут, в этой своей Восточной Пруссии, жили и уж семьсот лет как хоронили своих покойников. — Он стряхнул пепел на пол. — Ну, вот она и пришла к этим бабам. Ни с того ни с сего. С девочкой своей, завернутой в желтое суконное одеяло с подпалиной от утюга. К этим двум кобылам, Марфе и Марии, у которых и я жил. Маленький еврейчик, подобранный двумя ведьмами рыжий жиденок. — Он

сухо покашлял. Молодой человек поморщился. — Значит, к Марфе и Марии. С дочкой. Те и не удивились. Отдает так отдает. Мало ли. Чего не бывает. Есть жиденок, пусть будет и немчонок. Где телок, там и свинка. Ведь не бесплатно. В придачу к девочке — шесть суповых серебряных ложек и крохотные серебряные часики в форме раковины с перламутровой крышечкой. По-честному. Клади ее куда-нибудь, ну вот хоть туда, на стол, ох и жмоты вы, фашисты, шесть ложек да часишки, что это у нее в руке-то? В руке у Риты был зажат пучок овсяной соломы, которую она, едва оказавшись на столе, потянула в рот. Животная, экие вы, немцы, ну да Господь вам судья, все-то у вас не по-людски. Вот и все. Вечером всех немцев под конвоем спровадили на станцию, посадили в телячьи вагоны и отправили. Осталась одна Рита. Да еще Веселая Гертруда, безумная старуха, то ли немка, то ли литовка, приплясывавшая босиком в дорожной пыли и громко распевавшая всегда одно и то же: «Зайд умшлюнген, миллионен, дизен кюс дер ганцен вельт!» И больше никого, ни одного немца. Как и не было. Дома под черепичными кровлями, кирпичи, мощенные булыжником улицы и асфальтовые дороги, густо обсаженные липами, узкие каналы и медлительные шлюзы, блеклое немецкое небо над плоским Балтийским морем — это да, это осталось, но все это в одночасье стало нашим. Пугающе нашим. Ну и барахло, конечно, которое им не дали увезти с собой (разрешили пуд вещей на человека, поэтому брали только еду да отвинченные от входных дверей бронзовые ручки с львиными головами — на память), барахло: фарфор и фаянс, книги и мебель, кофейники и картины... Так что шесть серебряных ложек вскоре легли к другим, одна к одной. Плюс серебряные часики в форме раковины с перламутровой крышечкой. И все. Пустота. И в этой пустоте — девочка с пучком овсяной соломы во рту и безумная старуха, босиком пляшущая в привокзальной пыли: «Зайд умшлюнген, миллионен!» И две бабы лошадиной стати, сестры с квадратными лицами, окаймленными темными платками, и с одинаковыми вислыми бородавками-родинками на жилистых шеях, в клеенчатых фартуках и мужских ботинках, зашнурованных желтой бечевкой с захватанными до черноты концами. Единственное, что было известно из их прошлой жизни, это что их родителей каратели сожгли в избе, а их жених погиб на фронте. Их жених, понятно? Один на двоих. Но так уж выходило по их словам, ибо если они и открывали рты, то рассказывали об одном и том же парне: могучий крестьянин, сапоги с головками, фуражка с лаковым козырьком, гармонь, голубые глаза («Серые», — поправляла Мария. «Голубые», — шипела Марфа. «Как хочешь, — тотчас сдавалась Мария. — Все равно серые»). Он пал при штурме Кенигсберга. Чтобы его убить, пришлось выкатить на прямую наводку огромную пушку и ударить снарядом в самое сердце. Нет, его взяли

в плен и долго мучили. По живому резали ножом. Шилом выковыривали глаза. С мясом рвали ногти. Глумились над мертвым. Чей же он был жених? И был ли? Был. Мой. «Нет, — кротко возражала Мария. — Мой. Мы целовались». — «А хоть бы и е...сь! — шипела Марфа. — Он обещал жениться на мне. Если бы не эти сволочи... если б не немцы...» — «Если б не они, — откликнулась Мария, — антихристово племя». И обе с ненавистью смотрели на ползавшую по полу Риту. «Тогда зачем вы ее взяли? — спросила Буяника. — Из-за ложек, что ли, или из-за этих часов сраных?» Сестры молча переглянулись. «Господь знает, — ответила Марфа со странной улыбкой. — Он все видит и знает». И обе истово крестились, испепеляя друг дружку ненавидящими взглядами. Такой же вопрос задал им и Кальсоныч, когда они наконец явились в поссовет регистрировать девочку. Без этого куда? Никуда. Как ее звать-то? Рита. Маргарита. А отца? Гитлер. Адольф Гитлер. «Ты это брось, — поморщился председатель поссовета. — Мы тут не в игрушки играемся». Гитлер. Адольф. Понимаешь? Кальсоныч покраснел. «Адольф так Адольф, дурынды! — закричал он. — Я тоже Адольф, ну и что? Мало ли адольфов бегают. А тот никакой не Адольф, а Адольф Гитлер. Чуешь разницу?» Адольф. Только фамилия его Шмиат. Но это, может, для дураков. Никто ведь не видел шмиатихиною мужика. Может, и не было его вовсе. То есть, может, солдат, может, еще кто. Тот же Адольф. «Прикуси язык, — взвился Кальсоныч. — Никаких шмиатов тут больше нет и никогда не будет. Кузнецовой запишем. Кузнецова Рита Адольфовна, тьфу! Пиши, говорю. И не приплетай сюда антихриста!» Марфа с улыбкой воззрилась на председателя. «Антихриста, — прошептала Мария. — Ты слышишь, Марфа?» — «Слышу», — ответила та, напугав Кальсоныча. А чем — он и сам не понял. Зато у девочки появился документ — свидетельство о рождении Кузнецовой Маргариты Адольфовны, русской. Все, кто не немцы и евреи, — русские. Как полагается, чин по чину, а то как же.

Старик вместе с креслом-качалкой, упершись пятками в пол, развернулся спиной к окну. Бросил погасшую папиросу в стакан. Пока племянник заваривал чай и готовил бутерброды в грязноватой кухонке с закопченными стенами и потолком, с ржавой по углам раковиной и ведром под ней, старик сидел не шелохнувшись, с закрытыми глазами — казалось, заснул, — но как только молодой человек возник в дверном проеме, как он развел костлявыми руками и дурашливо выкрикнул:

— И стали они жить-поживать! Добра наживать!

Племянник втащил в комнатку шаткий столик, пристроил на него чайник, тарелку с бутербродами и бутылку водки. Покосился на пыльные стаканы.

— Из чашек! — приказал старик. — Мне полную. — Выпил не отрываясь, дергая огромным кадыком, понюхал хлеб, со слабым

стоном выдохнул. Лицо его покраснело. — А ты не похож на меня. — Поднял руку. — Помолчи. Ты и на сестру не похож. Это ж надо. — Покачивая головой, достал из кармана мятую пачку «Беломора». — Отыскали. Через столько лет.

— Сколько лет и искали, — сказал племянник. — С самой войны. Мама всегда верила, что найдем.

— Ну да, да. — Он быстро покивал. Прикурил, с видимым удовольствием затянулся дымом. — Да ты ешь, не стесняйся. Да... Война. Как, говоришь, это будет по-нашенски?

— Голокауст, — ответил племянник. — Катастрофа.

Ему были неприятны все эти «по-нашенски», «ижний», «чин по чину», ему было неприятно, что дядя вовсе, кажется, и не воспринимает себя евреем. Грязный старик, неожиданно для себя выругался молодой человек и покраснел до слез, поймав себя на этом. Да и старик... ему ведь не было и шестидесяти. В сорок втором, когда он потерялся, ему было шесть... или восемь?

— Голокауст, — со вкусом повторил старик. — Звучит лучше, чем — катастрофа. Катастроф было много, а Голокауст — один. Одна. — Он виновато посмотрел на племянника. — Ты извини, никак не привыкну. Я всегда знал, что я еврей, но не знал, что это такое. Так уж сложилось. Голокауст, сынок. — Он поперхнулся дымом, закашлялся, помахал рукой перед лицом. — У меня всего одна жизнь, и та — там... тогда... — Он налил себе полчашки водки, неторопливо выпил. — Одна-одинешенька.

— Извини, — пробормотал племянник, — я так и не понял, зачем этим женщинам нужна была девочка... эта Рита?

— Не знаю. — Он снова надвинул шляпу на лоб. — Чтоб ненавидеть. Чтоб любить. — Помолчал. — Чтоб жила. Бог дал — не нам отнимать. М-да... По вечерам Марфа ставила ее на колени перед иконой и говорила: «Ты дочь Антихриста. Ты немка. Ты должна молиться даже во сне. Ты должна пострадать. Ты должна искупить». Что должна была искупить эта молчаливая темноглазая девочка, не знавшая ни слова по-немецки, до пятнадцати лет говорившая «колидор» и до шестнадцати — «пинжак»? Чью вину искупать? Немецкую? Или какую? Она была тиха и бессловесна. Она ходила за коровой и свиньями, с утра до вечера вместе с ведьмами копалась в огороде, стирала свои и чужие тряпки, и это лет с пяти, как заведенная, без единого слова жалобы. Так и должна быть, да, она должна пострадать, да, она должна искупить. Что это означает? Не знаю. Как Бог скажет. Он скажет. Скажет же когда-нибудь: прииди, Рита, сучка немецкая, вот Я буду казнить тебя, даже не судить, но сразу — казнить. Только за то, что ты родилась не там и не тогда, за то, что в твоих жилах течет немецкая кровь, за то, что твои сородичи сотворили Голокауст, за то, что я — Бог евреев и русских, а ты — немка... — Он вдруг остановился. — Дыха не хва-

тает. Да. Я-то держался в сторонке. Хромой рыжий еврей, подавший в подмастерья к парикмахеру со странным прозвищем По Имени Лев. Всякого, кто входил в парикмахерскую, он приветствовал, как было принято: «Здорово, директор». Полагалось отвечать: «Здорово, начальник». Или: «Здоровее видали». Так уж полагалось. У этих ведьм я жил наверху, в маленькой комнатенке в одно окно, с низким потолком, я никогда не мог выпрямиться во весь рост. Иногда она поднималась ко мне. Сидела тихонько в уголке. Губами шевелила. Ты чего, Рита? Посмотрит, головой покачает: ничего, и уйдет. Или продолжает сидеть на корточках, выставив голые колени из-под коротенького платица, стираного-застираного, штопаного-перештопаного. Пахло от нее хозяйственным мылом. Больше ничем. О чем думаешь? О Боге. И что ты о нем думаешь? Какой он. И какой он? Не знаю. Судья. Да, конечно, но какой? Никакой. И вдруг она: а у Бога душа есть? Тогда мой черед: не знаю. Спроси у Марфы. Молчит. Конечно, не спросит. Одно и то же: придет из школы, наскоро сделает уроки (училась как все, то есть неважно училась) — и за хозяйство. Страдать. Искупать. Летом у Марии, ходившей с мая до октября босиком, трескались пятки, в трещинках заводились крошечные червячки. По вечерам Рита спичкой осторожно выковыривала этих червячков. Щекотно и больно. Мария ложилась на постель, Рита пристраивалась на корточках со спичкой и начинала ковырять бабы пятки. Мария глубоко дышала и то взвизгивала — «Щекотно же, дура!», то крикала — «Потише там!». Рита сжимала губы в ниточку и с намернувшимися на глаза слезами продолжала орудовать спичкой. Мария дышала все глубже, вздрагивала, стонала, вдруг вскакивала с кровати, сгребала Риту в охапку, прижимала к своему животу, крепко-крепко прижимала, вдавливала, тискала — и вдруг с протяжным стоном отпускала, отталкивала: «Птенчущенька моя, — тонким, бессильным голосом пела, — птиченька моя...» И долго лежала навзничь, бессмысленно уставившись в потолок. Рита уползала в свой угол и старалась не смотреть на Марию. Она ничего не понимала. Ей было страшно. Эти бабы вызывали у нее только ужас. Ну, не каждую минуту, конечно, но чаще всего. Часто. По малейшему поводу ее били. Била Марфа. Что волчком смотришь? Чего смотришь, говорю, сучка, а? А ну-ка. Ну-ка. Девочка покорно стягивала с себя платье. Ну-ну. Снимала чулки. Давай, давай, некому тут твои прелести красть. Снимала линялый, стираный-перестираный лифчик, прикрывавший едва наклюнувшиеся груди. Потом застиранные же до бесцветья трусы, оставлявшие резинкой жеваный след на выпуклом детском животе. Иди сюда. Шла. Ну! Опускалась на четвереньки. Марфа обхватывала ее коленями и била что было сил сложенной вдвое бельевой веревкой по розовой детской заднице, на которой тотчас вспухали красные следы. Еще. Еще. Еще! Марфа дышала глубоко и

прерывисто, глаза ее стекленели, лицо каменело в улыбке. Девочка вздрагивала при каждом ударе. Кричи. Девочка кричала. Еще кричи. Она кричала громче. Она вопила. Марфа закидывала голову, она была уже ладонью, обеими ладонями, она рвала пальцами то, что дрожало и билось под нею... Понимаешь? — Старик резко наклонился к племяннику, пол под креслом-качалкой громко заскрипел. Племянник кивнул. — Я сказал: еще раз увижу или услышу — убью. Это кого ты убьешь? Тебя. И тебя. Они переглянулись. «Жалостливый какой, — сказала Марфа. — Она немка. Она нас любит. Да, Рита?» Да, конечно. Я этого не касаюсь, сказал я. Я и сам-то еврей. Но если еще раз услышу, увижу или узнаю, что вы с ней вытворяете, — понятно? А ты чего молчишь? Она подняла на меня глаза. Яша, я люблю Марфу. И Марию. Не говори глупости. Яша, я люблю... На следующий день, когда я вернулся из парикмахерской, дверь оказалась запертой изнутри, а на крыльце — свернутое в трубку суконное одеяло с подпалиной от утюга и узелок с моим барахлишком. Что ж. Ладно. Я ударил в дверь ногой и крикнул как можно громче: «Все равно: увижу или услышу или узнаю — убью. Ясно?» По Имени Лев звал меня к себе, но я отказался: у него была большая семья, теснившаяся в одной комнатке, и тогда он выбил мне угол над парикмахерской, где потом ателье устроили. Она продолжала жить у этих баб, куда ж ей было податься, если никого у нее не было, кроме этих ведьм. Школа-хлев-огород. Огород-хлев-школа. Темноглазая молчаливая девочка, боявшаяся музыки...

— Музыки? — переспросил племянник.

— Музыки, — повторил старик. — Самой что ни на есть обыкновенной музыки. У старух был патефон и куча заезженных пластинок. Разные там «Утомленные солнца» и «Брызги шампанского», довоенный бонтон. Раз в месяц они ездили в церковь — за сто верст, в Литву, возвращались поздно, обе слегка навеселе, пили вино и слушали патефон. Компанию им оставлял часовой мастер по прозвищу Ахтунг — державшийся всегда очень так прямо, с высоченным чистым лбом над сильно выдающимися надбровными дугами, под которыми в темной глубине прятались черные глаза. Может, и не черные, — разглядеть было нельзя. Губы у него всегда блестели, словно смазанные жиром. Красивые губы. Высокий, сухопарый мужчина, сопровождавший баб в церковь, но сам в нее никогда не заглядывавший. Пока они там обрядовали, он бродил по кибартайским магазинам или посиживал на лавочке. Высокий, сухопарый мужик в черном костюме, с газеткой, с папироской, с чуть искривленными в вечной усмешке губами, подчеркнута аккуратный, следивший за собой холостяк, мужчина что надо. Немногословный, вежливый. Работал он часовым мастером, целыми днями горбился за стеклянной перегородкой в закутке возле обувного магазина, с

лупой, которую он изредка сдвигал на лоб. Не знаю почему, хотя догадаться можно, — в детстве я боялся слова «ахтунг». Часовщика это забавляло. Ни с того ни с сего он кричал: «Ахтунг!» — и хохотал, наблюдая за мечущимся еврейчиком, норовящим забиться в уголок потемнее. Марфа и Мария мягко укоряли его. Часовщик приносил с собой пластинки. Однажды поставили Моцарта. Да, Моцарта. Не помню, что именно, помню только буквы на бумажке: Моцарт. Бабы захмыкали: «Симфонию пилят». Маленькая Рита слушала с расширенными от недоумения, а потом и от ужаса глазами, — и вдруг поползла с табуретки, медленно поползла, хватаясь руками за Марию, ткнулась лицом в ее колено и отвалилась набок на полу. Это вызвало переполох. Девочку привели в чувство. Винегрет, может, дурной? Да нет, обижаешь. И только потом поняли: музыка. Ахтунг завел патефон, все повторилось. Моцарта больше не ставили. Ахтунг с усмешечкой грозил Рите пальцем: «Баловаться будешь — музыку заведу!» Музыку. Все остальное не музыка. И даже когда она повзрослела, при звуках скрипок ее бросало в жар, в дрожь — во что там еще бросает? — хотя в обморок больше и не падала. Уходила в огород, в хлев, подальше куда-нибудь. Странно.

— Странно, — согласился племянник. — Вот и солнце... — Он запнулся: «Господи, что я несу!» — Странно.

— Странно, да. — Старик кивнул. — Этот-то часовщик... — Он снова плеснул водки в свою чашку — на доньшко. — Рита хороша стала, как подросла. Очень похорошела. Я каждый день встречал ее из школы, провожал до моста — дальше было нельзя, мамки увидят. Это она их так называла: мамки. Ну, а как еще? Мамки и мамки. Шли себе, разговаривали или молчали. Бедно одетая девочка и бедно одетый хромой и тощий парикмахер. Давай портфель поднесу. Не надо, увидят. Ну, не надо — так не надо. И чего ты их так боишься? Сволочи. Не надо, Яша. Они же бьют тебя. Больше не бьют. Больше! А меньше бьют? Яша, я же ихняя. Это как? У меня нет матери, они мне заместо матери, как же ты не понимаешь? Я — ихняя. Они — мои. (Я знал, что эта кроткая девочка вступала в драку, если при ней оскорбляли Марфу или Марию, — и не мог этого понять.) Что ж, мне они тоже вроде мамок были: они спасли меня, еврейского малыша, бежавшего куда глаза глядят от карателей. Ну вот, ты понимаешь. И у них нет никого, кроме нас. Только сказать это они не могут. Мы подходили к мосту. Я пошел. Я пошел. Рита, я... Не надо, Яша, не трогай... Ну, я-то, положим, и не думал трогать. Другие нашили, это я потом только узнал, от нее же и узнал. Дай-ка... вон там, в духовке...

Племянник нашарил в холодной духовке несколько пачек папирос.

— Ну, — хмыкнул старик, — одной хватит. Брось туда. Или туда. — Он долго разминал костлявыми пальцами табак. В доме

было тихо. За рекой, на станции, погромыхивали составы с нефтью. Темнело. — Пацаны ее на речке поймали. — Он сморщился, прикуривая, звучно чмокая, мотнул головой. — Ну, какие пацаны... подростки, парни лет по пятнадцать-шестнадцать... Самое то. Понимаешь? Она купалась подальше от всех, выбирала уголки поукомнее, прогалины в ивняках. Быстро разденется — и в воду. Наплавается, натянет одежду на мокрое тело — и скорее домой. А тут ее поймали. Прихватили. Шестеро или семеро их там было, что ли. — Помолчал. — Ты чего это все тайком да молчком? У нас компания, давай-ка с нами искупнемся, ну, чего там, давай! Один схватил за плечи, другой за ноги, бросили в воду, стоят, смеются. Она сделала круг, схватилась за ивовую ветку, из воды не выходит, ждет, молча смотрит, смотрит настороженно, испуганно. Чего смотришь? Вылезай. Да вылезай, не бойся, все равно достанем. Протянули руку, помогли выбраться на берег. Ирус — рыжий такой был, король Семерки, с ним его команда. А она ничего, а? Ничего. Поиграемся, а? В дочки-матери, а? Ты как — за? Мы — за, единогласно, ха-ха, сыграем в бутылочку, по-честному, а? Крутанули пустую бутылку. С ним. Да не бойся, не укусит! Мне домой надо. Всем домой надо. Не помрешь. Домой мне надо, пустите. Пожалуйста. — Старик закряхтел, ворочаясь в кресле, — заскрипели половицы. — Уж это ее дурацкое «пожалуйста»! С головой выдает. Тю-тю-тю! Какие мы нежные! Не трогайте. Глянь-ка, а это у нее что? Неужто сиськи? И тут чего-то... а? Глянь, уже волосатенькая! А мы-то, дураки, все ее за девочку держим. А у нее уже волосенки на п...нке! Пусти. Пусти. Ну-ну, только пикни. Всплывешь у шлюза — и всех делов. Следствие ведут, да куда забредут? Она попыталась вырваться, поскользнулась и упала, замолотила ногами, отбиваясь от парней. Ее ударили, потом еще. Она вскрикнула, но тотчас замолчала. Пожалуйста, ну, пожалуйста, — словно и не понимала, что этим своим «пожалуйста» лишает себя защиты — их страха. Кто-то перочинным ножом, торопясь и нервничая, подцепил резинку трусов, царапнул кожу, выступила кровь — они испугались, она вскрикнула, но снова — «пожалуйста», ах ты фашистская шалава! ах ты блядюга немецкая! Испуганная до немоты, она отползала к воде, не обращая внимания на выступившую кровь, на расхлестанные ножом трусики, — раненое животное пыталось спастись в воде, и они это поняли... Ирус расстегнул брюки, он был старше их всех и потому владел собой, достаточно владел собой, у остальных это просто не получилось бы... Она не отрываясь смотрела на его руки, расстегивавшие пуговицу за пуговицей. Что, интересно, ах ты, скотина, ты думаешь, мы тебя по-людски? Мы тебя как бабу? На! Она замерла. Пацаны возбужденно смеялись. А Ирус, растопырившись, поливал ее желтой мочой — поливал живот, и моча стекала на бедра... Ссыте на нее! В рот ей! А ну-ка стоп!

Племянник вздрогнул.

— Это Ахтунг, — со слабой улыбкой пояснил дядя. — Такой цирк. Всего-навсего Ахтунг, часовщик. Как из-под земли. Или как с неба. Но если злоупотреблять сравнениями, то, конечно, из-под земли. А ну-ка стоп. Они бросились врассыпную, этого они не ожидали. Она лежала на стьлой глине, глядя на него снизу вверх, маленькая, совсем маленькая, жалкая, беспомощная, жаждущая чуда — и вот оно! Ахтунг! Бог. Это ведь только потом выяснилось, что он с самого начала прятался в кустах, еще до того, как появились пацаны. Подглядывал за нею, что ли. Подглядывал, наверное. И таки не выдержал, когда они добрались до нее. Она смотрела на него как на бога-избавителя, вся в его власти, от макушки до пят, совершенно голая, с царапиной в низу живота, жертва, бери — не хочу, полудевочка-полудевушка. Что он тогда увидел в ее глазах? И вообще, можно ли хоть что-нибудь разглядеть в глазах загнанного животного? Ну, благодарность: на меня. Хотя, конечно, не в этом смысле. Ну, вряд ли она даже отдавала себе отчет... она же еще не понимала... и женщиной не была... То есть если она и говорила — «я твоя», то не в смысле — «твоя женщина». Просто — твоя. Твоя вещь. Твоя скотина. Твой портсигар. Твои сапоги. Что угодно твое. Да, что-то такое было, она сама потом мне говорила, когда пришло время говорить. А что он-то тогда думал? Что думал он, глядя на нее сверху вниз, на ее облитый желтой мочой живот? Почему он тогда ее не тронул? Ведь тогда — в ту минуту, только в ту! — она бы приняла его как бога, как отца, как брата, как не знаю кого, — но приняла бы не как насильника, и даже, думаю, была бы благодарна ему за то, что он удовольствовался лишь этим... Всего-навсего ее телом. Тельцем. Жалкий дар жертвы, спасенной богом. Ведь не душу — всего-навсего тело отдала бы... Не понимаю. Боюсь понимать. Только и сказал: «Ладно, вставай, чего стынешь тут, пошли». Потом: «Я никому не скажу, не бойся». Почему он ее тронул? Может, потому, что любой человек все-таки меньше зверь, чем человек? Пусть даже чуть-чуть меньше, на капельку, на искорку, но и этой искорки довольно, чтобы перед смертью сказать себе — хотя бы себе, если решили, что бога нет, — и я был человеком? Впрочем, романтизм... Ну, не знаю. Не тронул. Не воспользовался. Хотя... хотя, может, этих баб испугался? Он же с обеими жил-крутил, а они за него ухватились — как за последнюю в жизни ниточку, думали, вытянет он их с того света... А он не гнушался. Впрочем, никто в городке его не осуждал. Мало ли что в жизни бывает. Одному так нравится и хочется, другому — этак. Не бегаёт голышом по улице, людей не убивает, не ворует. Эка беда, коли он двух баб-перестарок разом укладывает или там по отдельности! Ихние дела, Марфины, Марьины да Ахтунговы. Косточки им, конечно, мыли-перемывали, иной раз и в глаза табачку подсыпали, но это

что, без этого и жизнь не жизнь, если ближнего дерьмецом не мазнуть. А иные и от зависти: вон как мужик устроился, двух маток сосет, но ни одной получку не отдает. Лафа. Марфа готова была Марии глаза выцарапать, это точно. И не раз пыталась. Друг перед дружкой мужика заманивали. Не старым мясом, не старой костюю — так самогоном. Марфа первая сообразила, что, кроме самогона, в доме еще одна приманка есть. Немка эта немая, Рита. Подросла, округлилась, опушилась. Пора. Нет, пожалуй, вряд ли она так именно и думала, вряд ли даже мысленно произнесла: «Пора». Это уж слишком. Скорее всего что-то просто шевельнулось там, где у людей душа зябнет. Шевельнулось, дернулось, поперло, встало комом в горле: на меня уже не клонет. Но пусть хоть придет. Пусть просто приходит. Хотя бы чтоб на эту поглазеть. Ведь глазеет же. Без всякого стеснения. Она нагнется — он смотрит. Она сядет — он смотрит. То тайком (ха-ха), искоса, вроде бы случайно, то без всяких там хитростей и ухищрений. Смотрит. А и чего ж не смотреть? Мясо молодое, парное, вкусное. Не то что у Марьи. Не то что еще у кого-нибудь. Пусть смотрит — не съест. Все равно пока приходит не к ней. Ко мне. Иногда и к Марье. К суке. Нарочно ведь стонет под ним погромче, лярва. Лярвища старая (моложе Марфы на два года). Кряхтит и хлюпает, как старая галошина в луже. Ему-то что. Мужик и есть мужик. Выпил да на бабу. На какую-нибудь. Хоть на эту, хоть на ту. Вольный казак. Иди-ка сюда. Рита подошла. Пойдем-ка со мной. Девочка испугалась, она всегда пугалась, если Марфа вдруг начинала говорить таким голосом, словно пытается что-то проглотить — и не может. Она всегда так говорила, когда велела раздеваться для экзекуции. Но экзекуций давно не было. Марфа открыла свой сундук, долго копалась в пронафталиненных тряпках. На-ка. Чулки почти новые, гладкие, не в резинку, настоящие, как у взрослых. И вот еще. И это. С кружевами, господи. Только велики. Ничего, обносится — притрется. Возьми иголку да подгни. Спасибо. И вот еще это на. Майку больше не надевай, не маленькая. Ну-ка, одень-ка это. Смотрела, сузив глаза, словно прицеливалась. Сойдет. Хоть замуж. Спасибо. Чего расспасибилась? Иди себе, иди, да волосья подбери. Вечером Рита сидела за накрытым столом, боясь лишний раз пошевелинуться, чувствуя себя страшно неловко в новом белье, шуршавшем под новым платьем, в чулках со стрелками, пахнущая одеколоном «Кармен», оглохшая от новизны ощущений и слепо пляшущая на взволнованного ее новым обликом Ахтунга. Той ночью он ласкал пахнущую одеколоном «Кармен» Марфу так нервно и с такой силой, что под утра она готова была простить Рите даже ее немецкое рождение и антихристово происхождение. Но в следующий раз Ахтунг слишком быстро напился и убрался домой, обманув ожидания и Марфы и Марии. И сестры жестоко избили Риту. Раздели донага, разделись донага — и

избили. Мучили ее до утра. По-всякому. Ведьмы. Стервы. И она сбежала. Это было какое-то животное, неясное, безотчетное движение: скользнула за дверь и побежала куда глаза глядят. В ивовые заросли у реки. Куда ж еще-то? Просидела там до глубокой ночи, трясясь от холода, и так же неожиданно решила вернуться домой. Выбрала круговую дорогу — мимо толевого завода, через огороды. Шла, осторожно ступая, с замирающим сердцем, пугаясь каждой тени, каждого шороха. Пригибаясь и затаивая дыхание, перебралась через железнодорожное полотно (щебенка сыпалась из-под ног, господи помилуй), хватаясь за проволочные стебли цикория, спустилась вниз, к яме, куда с толевого завода годами спускали мазут и смолу. Матерчатые туфли тотчас намокли, под ногами зачавкало. Она замерла, а чавкающий звук приближался, и не успела она обернуться, как чьи-то руки обхватили ее, потянули вбок, чье-то тело прижалось, — она дернулась, резко присела, ударила ногой в темноту, с визгом поползла к яме, лягая темноту, жарко пахнущую чесноком и одеколоном, ударила во что-то мягкое, хрип: твою мать! — еще раз, потом развернулась и неожиданно для себя бросилась на запах чеснока и одеколона, ударила коленом, кулаком, укусила, и вдруг то мягкое, что она била и кусала, подалось и без звука сползло по влажной траве в яму, булькнуло — и все... Вскочила и, не оглядываясь, побежала к огородам, перемахнула ограду, свалилась в траву и замерла, и лежала, может, час, может, два, лежала, остывая и напиваясь знобкой прохладой ночи, холодной влагой и отчаянием, пока не сказала себе: вот и все, я его убила. Я убила человека. Вот и свершилась казнь Твоя, Господи. Ты поймал меня. Она с трудом поднялась и выбрела, еле передвигая ноги, через незапертую калитку на луговину. Над мазутной ямой клубился густой туман. Выдернув шест из забора, Рита принялась шарить в вонючей маслянистой глубине, то и дело натываясь на какие-то мягкие предметы. Солнце пробилось сквозь туман. Рита плакала. Наконец отшвырнула шест и побрела домой. Мертвая, уже казненная, тень собственной тени, пропахшая мазутом и мокрая от ночной росы. Ни Марфа, ни Мария не осмелились даже заикнуться вопросом, где она была всю ночь: встретив ее с «летучей мышью» на пороге, обе отшатнулись и молча пропустили девочку в дом. Она поднялась наверх, оставляя темные пятна на ступеньках. Вода в умывальнике пахла мазутом. Одеколон «Кармен» отдавал мазутом. И даже мысль — «От судьбы не уйдешь» — разила мазутом, как кровью.

Ахтунг перестал гостевать у сестер. Перестал без каких-либо объяснений. Наконец Марфа не выдержала и отправилась к часовщику. Он угостил ее жидким чаем в пропахшей керосином чисто выбеленной кухне. Лицо его было заклеено кусочками пластыря, сомкнутые полукружья укусов — зуб к зубу — смазаны йодом.

Сквозь запахи лекарств и керосина пробивался пряный аромат мазута. «Ладно. — Марфа тяжело поднялась. — Надумаешь — приходи». — «Сама понимаешь», — мрачно откликнулся Ахтунг, закрывая за ней дверь, обитую порыжелой клеенкой.

Вернувшись домой, Марфа ничего не сказала сестре. Да и что тут говорить? Сама должна понимать. Приютили змею. Вырастили. Обули-одели-вскормили-вспоили. Одеколоном сбрызнули. Сука. Сучейшая сука. Иссучившаяся сучища. Сучара. А ну открывай. Кому говорят! Ну... мотри-и-и... еще пожалеешь... Бог все видит. Все знает. Все помнит. Уж он-то не попустит, не простит, фашистское отродье.

С той ночи Рита стала запирать свою дверь на ключ и на железный засов.

— Пора о Фуфыре. Или я говорил о нем? О Фуфыре?

— Нет. Может, свет включим? — предложил племянник.

— Светлее не станет.

В темноте старик нашарил чашку и бутылку, налил, глотнул, резко и громко выдохнул. Закурил. В комнате было душно. Молодой человек провел ладонью по лбу, вытер ладонь платком.

— Фуфырь. — Дядя вздохнул. — Не помню, как его звали. Прозвали — Фуфырь. Насмешливо, с оттенком презрения. Безжалостно, если учесть, сколько и чего перенес этот человек в своей жизни. Он был тяжело ранен в последние дни войны, несколько лет скитался по госпиталям, наконец с трудом отыскал этот городок, куда по вербовке перебралась его жена, единственный близкий ему человек. Этот Фуфырь... это был сгусток злобы... Казалось, он источает злобу непрерывно, днем и ночью, без всякого повода, просто это была питавшая его энергия и — одновременно — форма его существования. Злоба снедала его, разъедала, глодала, жрала, жгла изнутри. Костлявый мужик, обтянутый потемневшей от внутреннего жара кожей. Совершенно голый череп, чуть заостренный к затылку, пересеченный бугорчатым алым шрамом. Истлевшие до белесого пепла хлопья ресниц. Круглые глаза со сгоревшими до серого пепла зрачками, с дряблыми, вечно дрожавшими от нервного тика мешочками серой кожи под глазами. Прижатые к черепу и твердые, словно выточенные из мертвой кости, маленькие уши без мочек. Бесцветные губы. Казалось, он всегда излучал напряжение, и люди просто уставали смотреть на него. И вот этот искореженный человек на деревянной ноге, вцепившись потной рукой в костыль, является к своей жене. Человек, давно остывший от гордости победой, но все же не забывший, что он солдат правды, солдат справедливости, солдат свободы и чего там еще напридумал для них Иосиф Виссарионович... Ну, а жена... Гладкая бойкая бабенка, заурядная молодая женщина, давным-давно обзаведшаяся мужем помоложе да поздровее, с ужасом узнает в снедаемом злобой ин-

валиде своего законного мужа, которого она, получив похоронку, давно похоронила, отплакала и забыла. Вообще говоря, конечно, литература...

— Ну да, — хмыкнул племянник. — Романтизм.

Кресло-качалка и половицы захрустели-заскрипели. Старик тихонько рассмеялся.

— А ты что думал, что я тебе одну правду и ничего, кроме правды? Такой правды нет. Никакому суду не выколотить ее из человека. И потом, факты умирают, вечно лишь предание. Если угодно, ложь. Вот ее — не оспоришь. Только идиоту придет в голову выяснять, на самом ли деле этот парень из Ламанчи сражался с мельницами. Только кретинов занимает вопрос, существовал ли на самом деле сын плотника и правда ли, что его распяли на той горушке...

— На Голгофе, — прошептал племянник высохшим до согласных голосом. — Дядя Яков, но ведь ты...

— Я! — выкрикнул старик. — Потому и рассказываю, и не требую, чтоб ты мне верил... или не верил... Плевать, — без выражения сказал он. — Каждый волен сам решать, во что ему верить и о чем ему плакать. — И без перехода: — Итак, Фуфырь. Разумеется, его жену осуждали, хотя и недолго: жизнь продолжалась. Нельзя требовать от людей невозможного. Они сочувствовали, но... конечно, инвалид, да, но руки-то зачем распускать? Ведь он бил бабу с такой лютой беспощадностью, что сломал об нее свой костыль. Слава богу, кто-то сбегал на фабрику, примчался на велосипеде ее новый муж — двухметровый верзила, он сгрел Фуфыря в охапку и вынес вон. Не вышвырнул, а именно — вынес. Нес на руках, прижав к груди, как младенца, и Фуфырь только обессилено вздрагивал, спеленутый могучими мускулами молодца, а потом и дергаться перестал, замер и закрыл глаза. Молодец пронес его через весь городок к старым кирпичным воротам и аккуратно посадил на пень в тени каштана. Посадил и ушел. А Фуфырь так и остался сидеть, в той же позе на пне в тени каштана, сидел с закрытыми глазами, однообразно качаясь взад-вперед и тихонько подвывая, пока тень каштана не накрыла весь городок и не превратилась в ночь. Он выл и выл на одной ноте, — кажется, до утра. Но, когда утром старуха Уразова выглянула из своего окна, его уже не было у ворот. Поначалу решили, что он убрел куда глаза глядят. Но он решил иначе. Он поселился на чердаке старой конюшни, там, где позже оборудовали лесопилку. Внизу лесопилка, а на чердаке — Фуфырь. Исполненный злобы, отвергающий любую попытку помочь ему, отвергающий любое слово сострадания, любой жест милосердия. Гордец. Одно слово — Фуфырь. Целыми днями лежал вытянувшись на своем топчане, полуживой укор всем этим сукам. Лежал и смотрел в потолок. Даже головы не поворачивал, когда старуха Уразова прино-

сила ему пожрать. Нет, он, конечно, выползал на свет божий, спускался во двор и даже иногда помогал мужикам-лесопилщикам, за что ему перепадала то пачка «Охотничьих», шесть копеек пачка, то стакан горькой, ничего этого он не просил, сами давали, — но запомнился почему-то лежащим пластом на своем топчане в углу чердака, вконец высохший, потемневший от сжигавшей его изнутри злобы: чтоб вам всем сдохнуть, и весь сказ. Чтоб—вам—всем—сдохнуть. Иногда кто-нибудь пристраивался возле него на житье-ство. Целый год на охалке соломы пополам с опилками жил в другом углу чердака младший Муханов, разругавшийся с отцом и в конце концов покинувший городок. Целый год они прожили, можно сказать, бок о бок и так и не перемолвились ни словом. Ни словечком. Зимой рядом с ним прожила вечно растрепанная молодая пьяница по прозвищу Гуляй Нога, всегда улыбавшаяся щербатым ртом, краснолицая, хриплогласая матерщинница, которая на подначки насчет ее сожителя отвечала со смехом: «Дуры! Такого мужика поискать. Как всодит свой рашпиль, так до утра и сквозит, и сквозит!» Весной Фуфырь ее изгнал. Отверженный... Сам себя отвергнувший. Вот уж гордыня так гордыня. Была бы бывшая его жена потоньше шкурой да потолще мозгами — не миновать ей дурдома. Ее новый муж несколько раз приходил к Фуфырю, предлагал денег — только уезжай отсюда. Нет. Тогда он сам уехал, прихватив жену. Фуфырь один остался. Чтоб-вам-всем-сдохнуть. Уже многие стали забывать, с чего он там обосновался, на чердаке, привыкли к нему, перестали поминать по случаю и без, — жил себе и жил. Один во дворце, другой в хибаре, а Фуфырь — на чердаке. И вообще, мало ли чудаков в городке, куда стянулись людишки со всех концов света. Та же Круглая Дуня, гадившая под любой подвернувшейся стенкой и потом рисовавшая на ней собственными кашками солнышко. Тот же дед Аввакум Муханов, набивавший сигареты грузинским чаем высшего сорта и пожиривший рыбу сырьем, на рыбалке, для чего в кармане всегда держал соль: выловит уклейку, макнет башкой в карман — и в рот. Та же Желтуха, съедавшая каждый день кило морковки и носившаяся ночами по городку на велосипеде. Вита Маленькая Головка с амбарным замком в кармане, которым мог неожиданно трахнуть по голове чело века, расплатившегося с ним за пилку-колку дров не десятью мятыми бумажками, а одной десяткой. Фуфырь, лежащий на чердаке над лесопилкой и перерабатывавший накопленную злобу в мочу. К нему наладилась ходить Мария. Что там между ними было — неизвестно, но нередко Марфе и Рите приходилось стаскивать мертвецки пьяную бабу с чердака и отволакивать домой. «Нашла кавалера, — хрипела Марфа, — дурища!» Но Ахтунг не приходил, и Мария снова отправлялась к лесопилке, предварительно вычистив зубы тряпочкой, смоченной нашатырным спиртом, и

прихватив с собой бутылку самогонки. Упреки сестры на нее не действовали: наутро младшая сидела в кухне на табуретке с отсутствующим видом и мелкими глотками пила разбавленный водой йод. «Сдохнешь ведь, — привычно пророчествовала Марфа, раскатывая тесто. — Или прибьет он тебя, бешеный». Не прибил. Сама руки на себя наложила. Пока Марфа и Рита возились с веревкой, а потом тащили тело к люку, Фуфырь и глазом не повел. Лежал на своем топчане, уставившись в потолок, и курил самокрутку, вонявшую жженой костью. «Что ж ты, — покачала головой Марфа, — при тебе человек жизни решается, а ты...» Тогда он приподнялся на локте и, глядя на Марфу и Риту выжженными злобой глазами, процедил: «Я б ей помог, да ноги, видишь, нету». Фуфырь... Дерьмо. Дерьмо вонючее. Но без него не обойтись. Той же ночью напившаяся до изумления Марфа подстерегла Риту, когда та босиком бежала из туалета к себе наверх, и сбросила с лестницы. Очнулась Рита под утро на полу с разбитой в кровь головой. Железный запор был вырван из ее двери с мясом и валялся посреди комнаты, шепчась гнутыми шурупами. В углу стояла швабра. Рита легла под одеяло с палкой в обнимку. Не успела закрыть глаза, как лестница закрипела под Марфиной тяжестью. «Вот и пришел твой час, сучка, — бормотала пьяная ведьма, — вот он твой час, шествует к тебе жених, блядища... шчас... в одну ямину с Марьюшкой моей единственной ляжешь... пожила — пора и честь знать, гитлеровское твое отродье...» Она откинула волосы с широкого мужского лба и увидела Риту. «Избрал Господь тебя, — погрозила она пальцем девочке, — но и меня избрал... Тебя страдать, меня — казнить тебя... Шчас я из твоей скорлупки мясо-то повыскребу... телесеньки...» Рита ударила ее без замаха — палкой в лоб. Марфа схватилась руками за шаткие перила. Рита ударила в другой раз. Ведьма упала кулем на ступени. Все. Темные с проседью волосы намокли. Это кровь. Это конец. Отныне ей не жить в этом доме. Но тогда — где? Ни один нормальный человек просто не пустит ее в свой дом. Просто она никому не нужна. Ей шестнадцать. Даже если нормальный человек и приютит ее, Марфа не отступится, выцарапает, выскребет ее, подомнет и удушит. Ни перед чем не остановится. Она в здравом уме, она нормальная. Рита тоже нормальная. Значит, Марфа ее достанет. Не тронет она ее только в одном-единственном случае. Этот случай называется Ахтунг. Но к нему она не уйдет. Поэтому она ушла к Фуфырю.

Старик перевел дух.

— Я открою окно? — предложил молодой человек.

— А? — не понял старик.

— Окно...

— Давай, давай... душно! — Он сбросил шляпу на пол и откинулся на спинку кресла. — Душно. Понимаешь, она не захотела

подставлять меня. Она считала меня слишком нормальным, чтобы уйти ко мне. Она не могла себе позволить этого. Чтоб я марался, спасая сучонку. Чтобы на меня показывали пальцем: вот тот, кто приютил фашистское отродье. Увел эту сучку из дома Марфы, которая была ей вместо матери. Вместо той матери, которая бросила собственную дочь на произвол судьбы. А Марфа спасла ее. Глохая Марфа или хорошая, но — спасла. И вот эта неблагодарная сучонка отплатила. И вот он, жидовское отродье, помог ей. Нет, решила она, грязь к грязи. Дерьмо к дерьму — тогда всем все понятно, никаких вопросов. Мы так и думали, чему тут удивляться, рано или поздно кровь заговорит. Сука ушла по-сучьи, неблагодарная тварь уползла в привычную грязь, в любимое дерьмо, сколько волка ни корми. К Фуфырю — что может быть дерьмовее? Все довольны. Марфа остается на сцене в роли оскорбленного достоинства, благородства и бескорыстия. Еще бы, не она же повесилась. Рита по-гадючьи уползает в гады логово. Остальные — ангелы-наблюдатели. В том числе и я.

Племянник глубоко дышал ночной прохладой, пахнувшей илом с речных отмелей и палым листом.

— Ты обиделся? — спросил он.

— Обиделся? — вскинулся дядя. — Да... Ну, назовем это так. Я был обижен. Раздосадован. Обескуражен. Оскорблен! Уничтожен! Ну, хорошо, она сама так решила. Но ведь я не был ей чужим! Она могла хотя бы сказать...

— Могла, — эхом откликнулся племянник.

— Она все сама решила. Правильно — для себя. Как учили. Всем тем, что впитывала: ты должна искупить. Пострадать. Стать хуже худших, рабой раба. И стала.

Громко причмокнув, дядя закурил бог весть какую по счету папиросу. Дым потянулся в окно.

— И стала. Фуфырь не удивился. Не думаю, чтоб он удивился. Скорее уж обрадовался. А, я так и думал. Все они такие. И эта. Сверху чистенькая. Ну-ну. Понятно: всего-навсего человек, пахнущий хозяйственным мылом. То же самое, что и дерьмом. Чистоты не прибавится, сколько ни мылся. Свины не грязнее. У него была свинья в закутке из горбыля и толя, пристроенном в углу двора к стене лесопилки. Был и огород — картошка, огурцы, петрушка, лук. Большого и не нужно. Сготовить поросенку, прополоть грядки. Большого и не требуется. Он цедил сквозь зубы, даже и не глядя на нее. Не больно-то нужна. Но раз уж пришла — живи. Поросянок да огород — все хозяйство. Керосинка в том ящике, да поосторожней с огнем. И не проболтайся никому, что здесь керосинка. Вон там тюфяк. Главное — поросенок и огород. И не болтать лишнего. Лучше совсем не болтать. Да ты и сама не захочешь болтать, я так понимаю. Правильно? Ну-ну. Вечером он лежал с

самокруткой в зубах, вонявшей жженой костью, и при свете сорокапятки, висевшей на крученом шнуре над его топчаном, читал обрывок газеты. Она лежала на своем тюфяке, укрывшись шинелью. Его шинелью. Не поворачивая головы и не вынув изо рта самокрутку, спросил: «Рада?» Конечно, рада, еще бы. Иди сюда. Разденься. Ну. Сымай шоблы. Все снимай. Ну. Не хочешь? Тогда пшла вон. Застегнись и пшла отсюда. Бегом. Ну? Так. Сюда иди. И не орать — не люблю. Нет, не так, перевернись. На живот, говорю. Так-то я с любой могу. А с тобой можно и так. А ну! Он ее изнасиловал, а когда она, кусая губы, сползла с топчана, больно ткнул в бок костылем. Молодец. Выживешь. Сгодишься. Будешь пока заместо бабы. Пшла спать. И без всяких там.

Что-то упало на пол и покатилось. Молодой человек присел на корточки и поймал звук ладонью. Это была пуговица. Маленькая пуговица, из тех, что пришивают к рубашкам.

Громко сглатывая, старик пил из чайника.

На станции коротко прогудел тепловоз, железно лягнул состав.

— Однако... — Дядя прокашлялся. — Однако не только я сопли распустил. Ахтунг тоже не выдержал. Крепился, крепился и таки не выдержал. Он-то думал, по его выйдет, а вышло — по ее. Он-то думал терпением взять, да у нее терпения не хватило. Или не туда оно пошло. Как увидел ее во дворе лесопилки, так и замер с отвисшей челюстью. Стоит с разинутой пастью и не дышит. Но сразу все понял. Вот она в грязном балахоне, с заляпанным грязью ведром семенит к Фуфыреву сараю. Значит, так. Так, да. Яснее ясного. Еще раз туда пришел. Она стоит враскорячку над грядкой, обернулась, посмотрела, кто тут ходит, и опять за свое. Мало ли их ходит. Даже не присела. Как была в своем коротком платьице, из которого давно выросла, так и осталась стоять враскорячку со вздернутой задницей, смотри кто хочет, я вроде как мужняя жена, мне стыдиться нечего, у меня хозяин есть, я вещь евоная, подстилка евоная, вонючая. Дня через два Ахтунг наладился к Фуфырю. Тот лежит на своем топчане, газету читает. Рита в уголке миску чистит, голову опустила и тряпочкой — шик-шик, шик-шик. О чем они там поначалу говорили, она не расслышала. Бу-бу-бу да бу-бу-бу. Ну ты даешь, вдруг Фуфырь говорит. Пятьсот, говорит Ахтунг, это деньги. Деньги, говорит Фуфырь, а мне-то зачем. Ахтунг опять: деньги, как хочешь, конечно, хозяин — барин. Барин, протянул Фуфырь, эй, иди-ка. Рита подошла. Ахтунг мнется, то взглянет на нее, то скосится в сторону. А Фуфырь то на нее — зырк, то на него — зырк. Усмехнулся. Ну-ка, говорит, сымай шоблы, да не тут, у себя там. Она без слов разделась. Ахтунг глаза прикрыл, побледнел. Уж больно быстро и послушно она все это проделала, словно и впрямь не человек, а робот. Фуфырь посвистал, как собаку зовут. Она опу-

стилась на четвереньки, подползла к топчану. Видал, говорит. Видал, прошептал Ахтунг, пятьсот — сразу. Да, кивнул Фуфырь, однако можешь и за так, хочешь? Прямо сейчас, бери ее, делай что пожелаешь — не пикнет, бесплатно. Пятьсот, шепчет Ахтунг, и насовсем, ох и сволота ж ты, Фуфырь. Гад. Я-то? Я-то, может, и гад, но я-то хоть бесплатно, я ее не покупал, сама пришла, мог бы и прогнать, она может и уйти, если захочет, не держу, сама держится, без денег. А вот ты за деньги хочешь. А если она не захочет, а? Ткнул ее костылем в живот. Он тебя купить хочет. За пятьсот. Большие деньги, девка. Я-то тебя не покупал, даже не знаю, сколько ты стоишь. Может, больше, а может, и ничего. Почему мне знать. Твои деньги, девка, считай. Бери. Пятьсот, большие деньги. Можешь уехать куда-нибудь. На такие деньги — хоть на край света, хоть даже в Гитлерию свою. Она смотрит то на него, то на него. Деньги? Пятьсот? Ничего не понять. За что деньги? Это за нее, что ли, деньги? Это про нее, что ли, речь? Про тебя, про тебя. Она затрясла головой, сглатывая слезы. Нет, только не так, нет, нет, нет. Ну, на нет и суда нет, говорит Фуфырь. Доволен — не описать. Не хочет она, говорит, не продается. Хоть что-то не продается. За деньги, во всяком случае. А Рита стоит перед ними гольшом с таким усталым видом, словно и нету ее тут, словно она только вещь и ничего больше, живая вещь с кровоподтеками на спине и боках, с покусанными маленькими сиськами, с красными от холодной воды руками. Иди к себе, скомандовал Фуфырь, чего разголилась при чужих. И засмеялся. Может, верностью Ритиной был доволен, может, такая вот странная верность тронула его, может, впервые в жизни, — как знать. Может, именно этого Ахтунг и не выдержал. То есть и того, что вот Рита повернулась и поплелась на свою подстилку — уходит! — и того, что Фуфырь вроде как принял окончательное решение, и того, что всего этого не вернуть, не переиграть, и того, что со смешочком все это делается, как-то вроде несерьезно, — как во сне: будто сквозь тебя проходит человек, пытаешься схватить его, удержать, а он как свет — через тебя. Как вода. Сзади хыкнуло — Рита обернулась, но в первое мгновение ничего не поняла. Фуфырь все так же плашмя лежит. Ахтунг склонился к нему, губами шевелит, но ничего не слышно. О чем они там шепчутся, со страхом подумала она, опускаясь на свой тюфяк. Господи, сказал Ахтунг, я же не хотел этого. Он опустился рядом с топчаном. Фуфырь не шелохнулся, так и лежал, прикрыв лицо газетой. Чего молчишь, нарушил молчание Ахтунг, чего молчишь-то? Дальше что будем делать? Она молча смотрела на него, все еще ничего не понимая, устало напяливая на себя одежду. Ведь все из-за тебя, продолжал Ахтунг, понимаешь ты это или нет, а? Она, стоя к нему спиной, натянула трусы. Господи, прошептал Ахтунг, она еще жопой вертит, ты скажешь что-нибудь или нет, мумия

египетская? Чего, буркнула она, чего тебе? Он молчал. Молчал так, что она обернулась и внимательно посмотрела на него, щурясь до боли и слез в глазах. Сердце у нее заколотилось. Ахтунг молча наблюдал за девочкой, неуверенным шагом приближавшейся к топчану и не отрывавшей взгляда от темневшей на глазах газеты, с уголка которой стекла и упала на деревянный пол тяжелая капля. Из-за тебя, повторил он без выражения. Она приподняла газету за тот край, который сполз на Фуфыреву грудь, и тотчас опустила. Только не орать, быстро проговорил он, думать надо, что дальше делать. А что делать, тупо спросила она, я не знаю, что делать, в милицию надо. Уходить надо, сказал Ахтунг, и быстро. Керосином все облить и спичку. Мало ли. Пусть думают, что сам. От керогаза. Во сне. Или спьяну. К утру ничего не останется. Не разберут, где кости, где головни. Где керосин-то? Там, сказала она, зачем? Он спокойно повторил. Потом еще раз. Наконец она подняла голову и посмотрела ему в лицо. Нет, сказала она, может быть, даже не понимая, что говорит. Нет, нельзя. Нельзя. Дура, тихо сказал он, из-за тебя все это, понимаешь? Из-за того — он сглотнул и с трудом договорил — что я люблю тебя. Так уж получилось. Нет, покачала она головой, я с тобой не пойду. И засмеялась. Он приподнял газету и рывком выдернул бритву из Фуфырева горла. Надо же, до шеи достал, вздохнул он, вот уж никогда бы... Я с тобой не пойду, с улыбкой повторила она. И хотя он еще не понял, почему это она вдруг разулыбалась и что эта ее улыбка означает, — усмехнулся в ответ: «Смотри. Как хочешь. Только ведь придешь. Еще как придешь. Прибежишь бегом. — И без перехода: — В сорок третьем мы одного дезертира должны были расстреливать. Как полагается. Вывели его, выкопал он себе яму. А в это время артисты к нам в полк приехали. Частушечники там, чечеточники... певица одна... Ну, мы этого парня посадили в яму, которую он для себя выкопал, и все наши пошли на концерт. Рядом все это было, фронт же. А меня оставили на часах при яме, чтоб он не сбежал». Она слушала его с любопытством, склонив голову набок и чуть приоткрыв рот. «Шутники там шутят, частушки распевают, солдатики хохочут. И этот, который в яме, — хохочет, ему же слышно все. Подошел я к яме, а он сидит на дне, смеется и в ладоши хлопает. Все хлопают — и он со всеми хлопает. Смеется. Хороший был концерт. Когда артисты уехали, мы его, конечно, расстреляли, а яму засыпали. Как полагается». Она кивнула. Ну-ну, сказал он, складывая бритву, ну-ну. Можешь пока поулыбаться. В ладоши похлопать. А потом все равно придешь. Я вот сейчас уйду, понимаешь? Он говорил негромко, отчетливо, чтоб не спугнуть ее и втолковать ей все, что хотел втолковать. Я вот сейчас, значит, уйду. Ты останешься. Придут люди, придет милиция. Лежит мертвый человек. Ты здесь, рядышком. Кто его убил? Ты скажешь, что это сделал я. Ничего по-

добного. Я дома был. Спал. И ни сном ни духом. У тебя синяки на туловище, он тебя бил, и вообще обращался... Он тебя мучил — кто Фуфыря не знает? Вот ты и отомстила. Как Марфе. Так и Фуфырю. Никого другого нет, кроме тебя. Тебе никто не поверит. Никто. Подумай. Ты уже думаешь, да? Это хорошо. Думай. Только поскорее думай. Она помотала головой. Нет. Он слабо улыбнулся. Ты не просто придешь — прибежишь. Кто тебя еще спрячет, кроме меня. Только я. Сейчас я уйду, а ты польешь все тут кругом керосинчиком — и спичку. А потом ко мне придешь. Я подожду. Ты проситься будешь. Я тебя впусти. Я тебя в подвале спрячу. Кормить буду. И никому не скажу, где ты. Сгорела вместе с Фуфырем — и баста. Поживешь пока в подвале, а потом мы куда-нибудь смоемся. Уедем. Насовсем. И забудем все это — насовсем. Так что я жду, поняла? Она опять замотала головой. «Спички-то есть? — заботливо осведомился он. — А то вот свеженькие, полный коробок. Ну-ну. Переживать о нем некому. Поахают, поахают — и забудут. Был — и не стало. Не тот человек, чтоб по нем убиваться. А тебе еще жить да жить». Я не немка, вдруг сказала она. Он кивнул. Это как хочешь, пожалуйста, не немка так не немка. Да и какая ты, в самом-то деле, немка? И говорить по-ихнему не умеешь, только и знаешь небось, что хенде хох да гутен таг. Ну, ауввидерзей. У люка задержался. Думай скорей, а то — не дай Бог — кто явится. Мало ли. И нырнул в люк. Внизу обо что-то споткнулся. Скрипнула дверь. Тишина. И вот тогда-то Рита и поняла: все, жизнь кончилась. Во всяком случае, жизнь прежняя. Осталось всего ничего: прожить еще одну жизнь.

— Она пошла к тебе? — спросил племянник.

— Не сразу, — сказал старик. — Сначала она разлила керосин по полу. Посидела, подумала. Стала тряпкой пол вытирать. Поймала себя на том, что сходит с ума. Отшвырнула тряпку — и побежала. Сломя голову. Благо до меня было рукой подать. Постучала, вошла и села здесь, у окна, вся пропахшая керосином, дрожащая, плачущая... Да. Чего-то такого я, признаться, ожидал. Не этого, а — такого. Не то чтобы верил, не то чтобы знал... Но ожидал. Это было какое-то безнадежное ожидание чуда. И вот оно случилось. Откуда мне было знать, что настоящие чудеса замешены на крови? Ну, ладно. Случилось. А я тогда сразу и не понял, что нет ничего опаснее чудес. Ибо за ними, хуже того, — в них — Судьба. Рок. Что там еще? Смерть? И смерть. Сигнал. Наконец она рассказала все, что хотела рассказать. С самого начала — и то, что я знал, и то, чего я знать просто не мог. Ей нужно было выговориться, то есть осуществить мечту любого человека: хоть однажды выговорить все, все, что хочется. Как правило, это мало кому удается. Или даже почти никому не удается. Может, оно и к лучшему... не знаю... Но в Гефсиманский сад стремятся все.

— В Гефсиманский сад? — переспросил племянник.

— Это я так для себя называю. Потому что он там ведь не только горе горевал, но и сказал самое заветное, что его больше всего мучило, и уж неважно кому, себе ли, отцу ли. Выговорился, то есть стал, наконец, самим собой. После этого человек на многое способен. И на подвиг, и на неслыханную подлость. Иуда, может, потому и Иуда, что выговориться не сумел. Ну да это — к слову. В общем, она выговорилась. Утро наступило. Я ее уложил на своей кровати, запер комнату и пошел на работу. Только пришел в парикмахерскую, сразу понял, что к чему. Суббота была, старички в парикмахерскую набились. Здорово, начальник. Здорово, директор. Здравее видали. Фуфыря нашли. Ну да? Ну да. На чердаке евоном. Лежит себе на топчане, газеткой прикрыт, а газетку подняли — голова набок. Бритвой. До шейных позвонков размахнули. Отсюда — и аж досюда. Понятно. А кто нашел-то? Ахтунг. Кто? Ну, мастер часовой, Ахтунг. Ему-то чего там со сранья там понадобилось? Не чего, а кого, ясно? Небось к немке притащился, к соплячке к этой, к Ритке-то. Во шалава. Дела. Ну? Ну. Пришел, а там один Фуфырь зарезанный. Насмерть? Да насмерть же, ясно, башку хоть на блюдо ложь, отчикали бритвой. Бритвой? Ну, чем другим. Чем? Почем знать. Ахтунг в милицию, к Лешке, значит, к Леонтьеву. А тот? А чего тот. Приехал, поглядел, башкой-то крутил. Чьей башкой-то? Не евоной же, дурила, своей. Где девчонка, спрашивает, кто видал? Понятно. То-то. То-то же. Во шалава. Фашистка и есть фашистка: семья. Да и Фуфырь, знаешь. Это ясно: только так-то зачем? Все же человек. Живой. Теперь неживой. Теперь неживой, ясно. А девчонка-то где? А кто ее знает. Сбежала со страха. Сколько ей годов-то? Пятнадцать? Шашнадцать? Ну, ясно, от страха полные штаны, спряталась где-нибудь. Ничего, выйдет, найдется. Куда здесь спрячешься? Отыщется. А может, не она. Может. Все может. Только кто ж еще? Марфа тоже говорит: она. А Марфа ей заместо матери. Какая мать свое дите отдаст? Никакая. Вот и Марфа — ревмя ревет, по полу катается, а твердит: она. Она. Правда — она и над кровью правда. Да. В тюрягу пасодют или как? За кровь-то? Могут и к вышке. Ребенок же. Могут и не к вышке. Тогда тюряга, на всю катушку. А я б таких своими руками. Мало им на войне наложили. Одно семья. То еще семья. Дурак ты, какое семья? Она-то при чем? А то ни при чем? Ни при чем. Так ведь убила. Да, это — да... Ну, и так далее.

В обед я отпросился у Льва и побежал к Леше Леонтьеву, участковому. А у него уже Марфа сидит, ведьма. Сидит прямо, лицо деревянное. Это она, больше некому. Хорошо, Леша говорит, спасибо. Это она, снова Марфа заводит, не глядя на меня, это она сделала, Леша, отродье это. Пришел ее час, Леша, как и было назначено. Кем? Господом нашим назначено. Господом вашим еще и прощать назначено. Она как и не слышала. Господь привел в дом ее мать.

Это он отдал в мои руки эту суку. Он дозволил ей стать такой, какой она стала. Дозволил раскрыться, чтоб мы увидели: вот. Вот. И она раскрылась. И мы увидели. Хотел бы я, Леша говорит, ее увидеть. Теперь пробил час. Леша смолчал. Я тоже. Что теперь делать? А что делать, Леша ей говорит, что делаем, то и делаем. Выясняем, что да как. Это она. Может, и она, а может, и не она. Ага, говорит Марфа, значит, ты так. Ладно. Понятно. Значит, ты выясняешь. Тебе еще не все ясно. Я ж не господь твой, Леша говорит. Понятно, говорит Марфа и встает, тогда я сама. Сама — что? Сама найду эту тварь. Ну и? Но Марфа губы в ниточку — и за порог. Понял? Понял. Так, хмурится Леша, а ты зачем пришел? И я ему все рассказал. Все. Как она — мне, так я — ему, с самого начала, день за днем, год за годом, ничего не пропуская. Рассказываю, а сам загадал: если начнет перебивать, конец ей, зря стараюсь. Он ни разу не перебил. Курил папиросу за папиросой и слушал. Выслушал, помолчал, потом говорит: «Значит, ты хочешь, чтоб я ей поверил. То есть ей и тебе. Это понятно. Ахтунг... Очень может быть. А может и не быть. А? Может. Она зачем убежала? У нее что, мозги от страха перекошились? Ну да ладно. И что дальше? Значит, я должен прийти к этому Ахтунгу и сказать: привет, ты подозреваешься в убийстве, а ну-ка признавайся. Он что, тут же и выложит все? Смешно, да? Он что, бритву выложит? Да она давным-давно в говне, в уборной какой-нибудь, или в речке. Что ж нам — все сортиры чистить? Речку обшаривать? Да. Даже если она сейчас придет и расскажет, как было дело, — ну и что? Ахтунг спал. Спал и все тут. Девчонка врет, потому что это она сделала и теперь пытается свалить на другого. Ахтунг утром его нашел, уже кровь засохла, сразу честно в милицию побежал...» Я спрашиваю: «Ты мне веришь, Леша, или нет?» Он на меня посмотрел внимательно, вздохнул. «Ты мне веришь или нет? — заорал я. — Ты что, Риту не знаешь? Ты что, не понимаешь, что ли, что происходит? Меня тогда сажай! Сволочь чертова! Сами вы фашисты! Ты что, не понимаешь, что это убийство? Она же так просто никому в руки не дастся. У нее теперь один выход — понимаешь? Один. Ты этого хочешь? Этого? Она не убивала, Леша!» — «Тихо ты, дурак рыжий, — говорит участковый. — Я ж не глухой». Попыхал папироской. «Да, ребята, задали вы мне крессворд. Что по вертикали, что по горизонтالي. — Потом ни с того ни с сего: — Доктор Шеберстов его вскрывал уже. Ничего такого не нашел. Да...» Молчит, я тоже молчу, ничего не понимаю, слезы глотаю. «В шейном позвонке кусочек бритвы застрял, — продолжает Леонтьев. — Представляешь, как он его ударил? Бритва в позвонке застряла. Когда выдергивал, лезвие выщербилось, в позвонке кусочек бритвы застрял. Вот такусенький». И показывает пальцами: вот такусенький. Я смотрю — ничего не понимаю. Черт бы с ним, с этим кусочком. Что делать-

то? Леша вздохнул: «Иди, Яша, разберемся как-нибудь. Работа такая. Жизнь, понимаешь. Надо ж так ударить — до позвонка...» — «И что делать?» — «Ну и вид у тебя, Яша, — говорит Леонтьев. — Совсем плохой. В больницу, что ли, сходил бы, таблеток каких-нибудь попросил бы. Для спокойствия. Шеберстов даст, он мужик с понятием. Ну-ну. Не дергайся. Сходи, сходи к доктору, Яша. А мы все сделаем по правде, по закону». — «По какому закону? — взвыл я. — Ты что?!» — «А как же, Яша? Только по закону». И вытолкал меня за дверь. Сел я на крыльцо, не могу опомниться. Выходит, все напрасно, все зря, все впустую? Выходит, единственный человек, которому она доверилась, ей не помог? Ну не может такого быть. Не должно так быть. Это ж впору чокнуться. С ума сойти. И тут меня словно водой окатили. С ума сойти. Доктор. Боже. Ну да, доктор. И я со всех ног бросился в больницу.

Я не знал, конечно, хватит ли у меня сил на все это, но понимал, что ничего другого мне не остается. Она там лежит в моей комнате, может, уже проснулась и смотрит в потолок, прислушивается, думает... Ужас: думает.

Я влетел на второй этаж, постучал, вошел. Шеберстов посмотрел на меня — и захохотал: «Яша, ты никак ежа высрал» — «Доктор, это не она сделала. Это сделал Ахтунг. Понимаете? Не она». Теперь он усталился на меня, как на сумасшедшего. А я опустился на колени и повторил: «Это не она». — «Так, — говорит Шеберстов. — Ты вставай, не то мне дверь придется на замок запереть. Ну». Я не встал. «Смотри. — Пожал плечами. — Это кому как нравится, конечно. Кому на коленях стоять, кому на стуле сидеть». Запер дверь на ключ и сел на стул. «Ну?» И я ему все рассказал. От начала. Долго рассказывал. Очень долго. Но другого выхода у меня не было. Повторять всегда труднее, потому что тянет подправить то, что однажды рассказано. А этого нельзя было делать. Рассказал. Замолчал. Во рту пересохло, в горле першит, как песку горячего наелся. «Ага, — говорит Шеберстов. — Допустим. А дальше что?» Я молчу. Он налил мне воды из графина. «Допустим, — снова говорит. — Ключ вот он, дело нехитрое. — Покачал головой. — Яша, я ведь никогда в жизни такого ничего не делал, ты понимаешь? Не понимаешь». — «Понимаю». — «Ага. — Вздохнул. — И все равно? Ну и ну. Знаешь, как это называется? Блеф это называется. Блеф. Ты в карты не играешь? А. Ну вот. Это когда у тебя в руках нет козыря, а ты утверждаешь, что козырь у тебя есть. Правилами это допускается, риск есть риск. Но это карты. А это... — Положил ключ на стекло, которым был накрыт его стол. — Потом-то что? Дело разве в этом обломке? Дело же в самой бритве. Иначе он не сознается». Я открыл сейф. «Рядом с папкой». Я взял бумажный пакетик. «Закрой. И ключ». Я потоптался на пороге. «Иди ты к черту, — сказал он. — Хотел бы я посмотреть на его лицо...»

Меня трясло, и бежал я как во сне, и делал все как во сне.

На мосту я остановился. Нет, подумал я, мне нельзя возвращаться в парикмахерскую. Даже смешно: минут пять я придумывал, что бы такое наврать Льву в свое оправдание. Вдруг засмеялся: господи, о чем это я! Надо успокоиться. С трясущимися руками такое не сделаешь. Спокойно. Я нарочно придерживал шаг, хотя мысленно уже был в своей комнате, рядом с Ритой. По лестнице шел — ступеньки считал. Раз. И останавлиюсь, вдох-выдох. Два. Стоп. Вдох-выдох. Три... Постучал — господи, зачем? Отпер дверь (ключ-то только у меня был). Она сидела на кровати, прислонившись к стене. Окно завесила каким-то тряпьем — поверх газет, которые я повесил в первый же день, как только вселился сюда. В комнате была полутьма. Вдох-выдох. Ну как ты? Ничего? Пospала? Пospала. Проголодалась, а? Да нет, спасибо. Ну ладно, ладно, сейчас что-нибудь сообразим, что-нибудь сварганим. Хотя бы яичницу, а? Как хочешь. Рита! Как хочешь, говорю, Яша. Ну и ладно, ну и хорошо. А чего хорошего? Может, ты водки выпьешь, а? Вина? У меня и то и то есть. Быстренько изжарил яичницу на сливочном масле, постелил свежее полотенце на табуретку, плюхнул на середину сковородку, бутылку кагора, два стакана. Ну, за удачу! Ты чего это, Яша? А что — чего? Что и должно быть. До дна, до дна! Меня прохватил словесный понос. Закусывай, пожалуйста, не бог весть что, яичница, но все же, тебе надо подкрепиться, давай, давай, налегай... Она поковыряла вилкой желток, жалко-жалко улыбнулась. Плохо, да, Яша? Я изобразил изумление (изображать всегда легче что-нибудь преувеличенное, неестественное). Что значит — плохо? Плохо — это когда смерть придет, а у нас с тобой до этого, кажется, еще не дошло. Не дошло, Яша? Ну, Рита! Рита же! Очнись! Я ничего. Ты не смотри на меня, ешь. Не помрем, будем жить. Бог не выдаст, свинья не съест. Бог. Яша, ты зачем говоришь про Бога? Рита, ты чего? Ладно. Что люди говорят? Я осторожно пересказал ей кое-что из того, что сам слышал. А Марфа что? Марфа? Да, что она говорит? А что она может сказать... что всегда... пришел час и так далее... Пришел час. Рита! Она отвернулась к окну. Рита, все будет хорошо. Мы докажем, что ты не убивала. Докажем, что это Ахтунг. Она молчала. Ну что ты, малышка, все будет нормально, все будет хорошо... потом мы уедем... «Яшка! — раздался крик с лестницы (это была Марфа). — Яшка! Открой!» Рита, как ватная кукла, повалилась на постель. Молча, ничком, обхватив ладонями голову. «Яшка! — Голос приближался. — Ты же меня слышишь, сука такая! Открой, говорю! — Забарабанила в дверь. — Я же знаю, что она у тебя! Рита! Я тебя, сучку, по запаху чую. По вони! Никуда тебе от меня не деться, скотине безрогой! Яшка!» Мы молчали. Марфа тяжело дышала за дверью. «Она плачет, — вдруг прошептала Рита. — Плачет же она!» Я покачал головой. «Рита,

девонька, — сказала Марфа за дверью бесконечно усталым голо-
сом, — я ж тебе всегда вместо мамки была... Рита... ты же знаешь,
своих детей у меня никогда не было... и не будет... ты одна, только
ты... Ты — моя, Рита... зачем же ты от меня-то прячешься? Ма-
ленькая...» Рита замотала головой. «Яшка, сволочь! — закричала
Марфа. — Жидовин чертов! Не баламуть девку! Бог спросит — что
ответим? А? Людей бояться не надо, но Бога-то! Бога! Рита! Выдь
сюда!» Я схватил Риту за плечо. Она вздрогнула — и затихла. Мар-
фа кричала в голос. Она бушевала минут десять. Потом заскрипе-
ла лестница. Я считал ступеньки. Раз, два, три... Вдох-выдох. Вдох-
выдох. Тишина. Я на цыпочках приблизился к окну, отогнул уго-
лок тряпки: Марфа удалялась по улице, вот свернула за угол, вот
нету ее. Все. «Все, — прошептал я. — Ушла». Рита смотрела на меня.
«Ушла она, Рита, ты зачем плачешь? Не надо, пожалуйста». Она с
трудом приподнялась, села, привалившись спиной к стене. Да, ушла.
Это она ушла. Это мне не уйти. Она все поняла, все правильно
сказала: час пробил, да. Бог не выпустит ее, суку немецкую, из
своих крепких рук. Он следил за нею, следил всю жизнь, как Мар-
фа, это он дал нарочно дожить ей до этого часа, чтоб она сама все
поняла. У Бога нет души. Душа есть только у созданий ущербных,
вроде людей. Может, только в том их ущербность и заключается,
что у них есть душа...

— Это она так говорила? — недоверчиво спросил молодой че-
ловек.

— Нет, конечно. Она так думала. Она пыталась выговорить это,
но, конечно, другими словами. Это — я говорю. Да. Человек и душа.
Человек не есть душа. У него есть душа. А Бог есть душа, поэтому
души у него нет. Поэтому он не мужчина и не женщина, не ребе-
нок и не старик, не немец, не русский, не еврей. Он Никто. Он—
Кто Угодно. Поэтому он всюду, вся и все. Если Бога нет, значит, он
есть, он являет себя в любом и каждом, в том, чье имя — Кто
Угодно. То есть Никто. То есть в том, кто готов отказаться от име-
ни, от себя и стать Кем Угодно. Как Его Сын, самый великий Кто
Угодно. Казалось, ее лихорадит. Рита! Нет, нет, Яшенька, я все по-
няла. Мне не уйти. Я всегда пыталась жить как все, а у меня не
получалось. Это разве жизнь? Разве жизнь то, чем я была, как я
жила? Это не жизнь. Настолько не жизнь, что в пору подумать: может,
для того тебе это и дано, чтоб ты стала никем? То есть тебя и
сделали никем — ни русская, ни немка, почти вещь, зверушка, а
если тебе дано немножко красоты, то и это дано лишь затем, что-
бы ты лучше поняла, что ты никто, что все, что тебе в жизни
осталось, так это сделать последний шаг. Рита! Нет-нет, Яшенька, я
скажу, я обязательно скажу. Между людьми всегда существует что-
то такое, что мешает им любить друг друга. Между ними всегда
что-то непростое. Прошлое, настоящее... что-то невысказанное или

недосказанное... Или вот война. Кровь — и необязательно пролитая. Что-то недовершенное. Непреодоленное. Люди хотят это преодолеть, но у них не получается. Марфе, Марии, Ахтунгу, Фуфырю — всем — нужен кто-то, кто станет между ними и скажет: простите. Кто скажет: вот — вам есть куда свалить все непрошеное, все грехи — в сосуд греховный, вот худшая из вас — в нее, вот я сведу вас, но для этого вы должны перешагнуть через меня, через мою кровь, пусть и непролитую. Вот я, никто, возьмите, наполните эту пустоту собою, и это и будет ваш мир... Но кто же согласится жить в таком мире? Я еле сдерживался, чтоб не закричать. А все согласятся, сказала она, потому что все только о том и мечтают, просто боятся об этом сказать. Это как музыка. Да и живут в таком мире. В таком. Может, только потому и живут, что существует этот Кто Угодно. И она снова заговорила о том, о чем уже говорила. Словно бредила. Я растерялся. Время уходило. Надо было действовать. Я никогда не простил бы себе, если б остался тогда в бездействии. Хотя смутно и подозревал, догадывался: бездействие тоже может быть спасительным. Не знаю, как это выразить... Но поступил я тогда так, как поступил. И до сих пор мучаюсь... Понимаешь, в моих поступках не было ничего такого, чего бы я не мог себе простить. Но и простить себе не могу тех же самых поступков. Ни одного. Никогда. Я поднялся. Только не уходи, попросил я ее, слышишь, Рита, только не уходи никуда, пожалуйста, дождись меня, я тебя прошу. Запер дверь. Из ящичка в кухне достал несколько зольингеновских бритв. Выбрал не очень новую, не старую, с желтой ручкой. Плоскогубцами выломал кусочек. Опустил в пакетик. Спрятал ящичек под стол. Сунул пакетик и сложенную бритву в карман. Слетел вниз по лестнице и бросился к площади.

До закрытия мастерской оставалось полчаса, когда я вошел и поздоровался. Ахтунг поднял голову, сдвинул лупу на лоб и дружелюбно ответил. Ни волнения, ни даже любопытства. За окном прокочгал и заглох мотоцикл. Так. Я медленно — вдох-выдох — извлек из кармана бритву и раскрыл ее. Свет в мастерской был яркий, и он хорошо разглядел лезвие. Я протянул бритву ему. Он машинально взял, опустил лупу на глаз, машинально поправил жестяной колпак лампы, висевшей низко над столом. «Порчена вещь, — сказал я. — Щербинка» — «Щербинка, — повторил он, не поднимая головы. — И что?» — «Кусочек. Да. Надо ж так ударить. Бритва застряла в шейном позвонке. Лезвие выдернули и выбросили, но кусочек остался в позвонке. То есть в сейфе у Шеберстова. Вещественное доказательство. То есть улика». — «Какая улика?» Он поднял бледное лицо, забыв сдвинуть на лоб лупу. «Где ты нашел эту бритву?» — «Там, куда ее выбросили». — «Ты не мог...» — Он сглотнул. — «Ты не мог ее там найти!» Я так обрадовался, что и не заметил, как он поднялся, а он вдруг подскочил и схватил меня за ворот и замахнулся бритвой,

— но я не успел и испугаться: Леонтьев из-за моей спины перехватил руку. «Ну ты даешь, — тихо сказал он, — так не бывает. Сперва одного, теперь этого... а?» Он рванулся, но Леша крепко его держал. Он еще раз рванулся — и вдруг взвыл. Господи, как он завыл! Вот только тогда я и испугался. Меня затрясло, и я брякнулся на стул в углу. «А ты тут пока не нужен, — сказал Леша, — иди-ка отсюда». В мастерскую, громыхая кирзачами, вошли милиционеры, меня толкнули. Я выбрался наружу и без сил опустился на ступеньку. Кто-то похлопал меня по плечу. «Ты живой?» — «Живой». — «Дела. — Он силился улыбнуться, но это у него не получалось. — Но чего-то такого я и ожидал. Хотя и не верил». На крыльцо вышел Леша Леонтьев. Надвинул фуражку на лоб, поправил козырек. «Давай-ка я тебя подвезу, — сказал он. — Сам ты не дойдешь, вижу». — «Точно, — засмеялся я дурным расслабленным смехом, — никогда в жизни». Доктор Шеберстов снова хлопнул меня по плечу. «Ты ничего не забыл?» Продолжая истерически смеяться, я отдал ему пакетик. Леонтьев крякнул. Запустил двигатель. У Белой столовой он остановил мотоцикл. «Пойдем-ка. По сто грамм». Я не возражал. Люся налила нам водки, бросила на весы две конфетки. Леонтьев добавил из ее коробки третью и галантно вручил хозяйке. Она устало улыбнулась. «Ну, за что пить будем?» — «Не знаю. За все. За все, что так...» — «Давай. Бог не выдаст, свинья не съест». Я выпил. «Леша... А что же с нею будет?» Он недоуменно уставился на меня. «Леша... я, пожалуй, пойду...» Он проводил меня удивленным взглядом.

Я промчался по мосту, вбежал во двор и закричал что было мочи: «Рита! Рита!» Окно было распахнуто. Я все понял, но бросился наверх, вбежал в комнату — чтобы убедиться в том, что комната пуста. И кухня. Я побежал вниз. У ворот стоял мотоцикл Леонтьева. «Леша!» Он выглянул из дощатого туалета, стоявшего в углу двора: «Чего орешь? Пожар?» Я объяснил. Участковый присвистнул. «Так. И куда она могла уйти?» Но я уже понял — куда. Пошел. Побежал. «Яшка, черт! Погоди!» Он попытался завести мотоцикл, но мотор не схватывался. Милиционер бросился меня догонять, бросив мотоцикл у дома. В боку у меня закололо, пришлось перейти на шаг, и участковый догнал меня. «Ну, ну... куда? Неужто к ней, а? Ну дура! Да погоди ты... Не горячись, Яша...» Я вдруг понял, что жизнь моя кончилась. Все остальное и будет и стало моей смертью... или как? Не знаю. Но то, что я называл своей жизнью, тогда кончилось. Понимаешь?

Племянник кивнул.

— Нет, не понимаешь. Это было все. Прожитая и завершенная жизнь. Раз и навсегда. То есть можно жить потом сколько живется, сколько влезет в это тело, но жизнь — Жизнь — вся, кончена, прожита. Поэтому я никуда отсюда и не уеду, Илья, — неожиданно завершил он. — Никуда.

Молодой человек отер пот со лба. Он еще не решил, что скажет матери, а главное — как он все это ей скажет.

— Тридцать лет я живу только той — той! — жизнью, и другой у меня нет, и она здесь. Пока я живу, она есть, и только потому я и живу.

— Она?

— Ну да. Рита. Рита Шмидт. Мне остается только вспоминать. Моя жизнь — это полужизнь-полупамять. И все больше память, чем жизнь, пока не останется только память. Это и есть я. Но только — здесь. И нигде больше. И никогда больше — и это-то самое горькое. Я не путаю судьбу с привычкой, нет. Просто ничего уже не могу с собой сделать. И не хочу. Старейший, да нет, старый уже еврей, не знающий ни слова по-еврейски, этаким Кто Угодно, и девочка, немка, не знавшая ни слова по-немецки, — вот тут, на сраной этой земле обетованной, без которой ни жизни, ни памяти... Куда ж я уеду? Понимаешь? Нет?

— Маме трудно будет понять эту правду...

— А никакой другой нету. Впрочем, ее и вовсе нету. Это разве правда? Правда то, что мы пошли к Марфе, и пришли туда, в тот холодный дом, дверь распахнута, другая настезь, вошли в полутемную комнату, да, конечно, Марфа была там, и Рита была там, Марфа сидела на кровати, повернув под себя свою толстую коровью ногу, и сонно смотрела на лицо девочки, навсегда успокоившейся у нее на коленях... вытянулась на постели, рука свесилась до пола, в руке судорожно сжат пучок овсяной соломы... это правда? Правда?! — закричал вдруг он, захлебываясь слезами. — Но какой же тогда язык нужен, чтобы поведать эту правду — и не умереть? Какой? Небесный? Земной? Живой? Мертвый? Прекрасный, как музыка? Или такой же ужасающий, как музыка?..

КРАСНАЯ СТОЛОВАЯ

Огромный босой старик в рыжей шинели до пят, с заплатанным солдатским мешком за плечами пересек двор, отделенный от дороги рядом сросшихся между собой ясеней и грабов, за которыми рыбьей чешуей поблескивала Лава, и спустился по стертым кирпичным ступеням в Красную столовую. Навстречу ему пахло пивной кислятиной и вечной котлетой. В маленьком зальчике со сводчатым потолком было жарко от топившейся березой круглой железной печки, на которую натыкался всяк входивший. Старик занял столик в углу, под окном. Подняв воротник шинели и откинувшись на спинку скрипучего стула, он со стоном вытянул ноги, стукнув о пол твердыми голыми пятками.

Дремавшая за стойкой Феня, над головой которой красовалась жалобная книга с портретом Акакия Хорава в роли Скандербега на обложке, приоткрыла глаза и бесстрастно проговорила:

— Сегодня суббота.

— Значит, завтра будет воскресенье, — откликнулся старик.

Привычно вытерев руки о клеенчатый фартук, Феня с глубоким вздохом поднялась и ушаркала за занавеску, отделявшую зальчик от кухни. Через минуту она вернулась с тарелкой и двумя кружками пива.

Старик вежливо отпил из кружки.

Феня возвышалась над ним всем своим бюстом, из-за которого старику не было видно ее лица.

Посетитель молчал.

С протяжным сырým вздохом Феня вернулась за стойку и, прежде чем вновь смежить веки, сказала:

— В субботу еще живут, а в воскресенье уже воскресают. Чудно...

Ответа она не дождалась: посетитель спал.

Не проснулся он ни через час, когда в уже прокуренном зале Колька Урблюд под одобрительные возгласы собутыльников растянул гармошечьи меха и запел: «Жил один скрипач, молод и горяч, радостный, порывистый, как ветер...», ни через два часа, когда явился молчаливый высокомерный пастух Сугибин в широком брезентовом плаще, ни в полночь, когда Фене наконец удалось выгнать метлой последнего клиента, норовившего выйти в окно.

Женщина села за столы напротив спящего, не торопясь поужинала холодной картошкой с селедкой, выпила маленький стаканчик водки — «для цвету» — и только после этого растолкала старика.

— Я вижу, тебе тут понравилось, — неодобрительно заметила она.

— Хорошо тут у вас жить. — Старик достал из заплатанного мешка грубые башмаки, надел и потопал ногами. — Как перед смертью.

Субботними вечерами в Красной столовой собирались лучшие в городке брехуны, краснобаи, болтуны, врали и бесстыднейшие лжецы, которые под Урблюдову гармошку, водку и вечную котлету рассказывали необыкновенно правдивые истории, хвастались, спорили и пережевывали свежие слухи и сплетни.

Именно здесь старик, устроившийся дворником и получивший служебную комнатку на Семерке, обрел прозвище В Шинели, и никому уже не было дела до его настоящего имени и его прошлого. В тот день, когда это случилось, в реке выловили одиннадцатилетнюю дочку Васи Строкотова, а жена Мишки Чер Сена разродилась девятым черсененком.

— Она у тебя не сидит сложа ноги, — одобрительно сказал дед Муханов, пережевывая котлету и не вынимая при этом изо рта самокрутку. — А правда, что ее задушили?

Участковый Леша Леонтьев допил пиво и только после этого ответил:

— Правда. Руками.

И все устались на пастуха Сугибина, который задумчиво покуривал в углу, не обращая внимания ни на дремавшего напротив В Шинели, ни на Феню, с грохотом собиравшую со стола посуду.

По субботам через городок гнали большое совхозное стадо. Тысячеголовое черно-белое коровье море захлестывало улицы, верховые пастухи вставали в стремянах, шелкали бичами и дико кричали, заходившиеся лаем собаки бросались на отставших телят, с визгом уворачиваясь от бычьих рогов, мальчишки на заборах и деревьях весело свистели и орали. Не успевала осесть красная пыль, как на улицы высыпали огородники с ведрами и совками, чтобы собрать

навоз, оброненный прошедшим стадом. Старший над пастухами желтоглазый молчун Сугибин привязывал своего каурого конягу к ржавому поручню, тянувшемуся вдоль стены, и, вздернув подбородок, ногой открывал дверь в Красную столовую. Феня знала, что после кружки водки он тотчас залпом выпьет кружку пива, выкурит папироску и так же молча, ни на кого не глядя, покинет зал, взлетит в седло — и ускачет за стадом. Ни «здравствуйте», ни «до свиданья». Все Фенины попытки разговорить пастуха наталкивались на такое презрительное молчание, что об него можно было разбить лоб.

Дочку Васи Строкотова обнаружили на старом фабричном сенокосе, в камышах. Поблизости несколько дней паслось совхозное стадо.

— Эй, тебя касается! — раздраженно крикнул младший Разводов. — На твоих глазах ребенка задушили, идол!

Сугибин глубоко затынулся, выпустил дым и стряхнул пепел в тарелку.

Мужики начали подниматься со своих мест, грохоча стульями и посудой.

— То телята наши пропадают, то дети! — с привизгом проговорил Витька Фашист, маленький и злой мужичонка. — А потом поди дознайся!

— Вот и дознаемся, — с угрозой подхватил старший Разводов. — Вот он сейчас и ответит...

Пастух оказался в плотном кольце разгоряченных водкой мужчин, у которых явно чесались руки посчитаться с ним за старое (поговаривали, что Сугибин ворует скот и продает литовцам-перекупщикам) и просто поставить на место гордеца.

Аккуратно загасив папиросу, Сугибин взял с тарелки обглоданную баранью ногу и с хрустом перекусил ее своими страшными зубами.

Феня испуганно ойкнула.

Отшвырнув обломки кости, пастух встал, сплюнул на пол и с презрительной усмешкой обвел мужиков желтым взглядом. Разводовы попятились, сбив с ног пьяненького печника Сергеюшку. Витька Фашист с ворчанием посторонился.

Когда за пастухом закрылась дверь, мужчины тихонько разбрелись по местам, и никто при этом не грохал стульями или посудой.

— Кажись, он меня двинул, — пробормотал Фашист, потирая скулу. — Или нет?

— А ты догони да спроси, — посоветовал Леша Леонтьев. — Герой...

— Ну вы и люди, — изумленно прошептал В Шинели. Его услышали все — и промолчали.

— Вот это мужчина! — восхищенно проговорила Феня. — Настоящий Сталин! Сиськи дыбом!

Колька Урблюд залихватски рванул гармошку и что было мочи завопил:

Если б я имел коня,
это был бы номер!
А если б конь имел меня,
я б, наверно, помер!..

После того случая Фенины попытки разговорить надменного Сугибина стали еще настойчивее. Всем остальным ухажерам была дана безоговорочная отставка.

Упорнее других держался учитель биологии по прозвищу Шибздик — плюгавый очкарик с грудью, которую Буянихина дочка называла «впуклой». Шибздик донимал завсегдатаев Красной столовой учеными разговорами. Впрочем, это ему еще простили бы, — хуже было то, что учитель любил правду. А поскольку в столовке драться было не принято, Урблюд предложил решить дело спором. Условились: если Шибздик не ответит на Колькин биологический вопрос, — учитель выкладывает десятку и убирается вон навсегда; если же после этого Колька не ответит на Шибздикова вопрос, — с Урблюда рубль. Учитель биологии согласно кивнул.

— Какая животная взбирается на дерево на шести ногах, а спускается на двоих? — спросил Урблюд.

Лицо учителя из красного сделалось оранжевым и погасло до желтого, после чего слегка позеленело.

Глядя на него своими синими глазами, Урблюд повторил вопрос. Шибздик беспомощно открыл и закрыл рот, в котором бесильно шевельнулся фиолетовый язык.

Выигранную десятку Колька небрежно бросил на стойку. Феня безжалостно открыла три бутылки водки для честной компании.

Под смех и подначки мужиков Шибздик натянул пальто и направился к двери, но все же не удержался и спросил:

— Ну и какое же это животное?

Урблюд вытащил из нагрудного кармана мятую рублевку и с невозмутимым видом протянул Шибздику.

Именно тогда и треснул фаянсовый ангел, стоявший на буфете, — от хохота, уложившего мужиков на пол и разбудившего сытых свиней во всех окрестных сараюшках...

Ежесубботнее молчание Сугибина становилось все невыносимее. Он по-прежнему не обращал внимания на Феню, чем все больше уязвлял ее самолюбие.

— А зря ты вокруг него приплясываешь, — заметил однажды дед Муханов. — В старину в трактирах музыкант посылал с шапкой по кругу мальчонку, которому в другую руку всовывали жи-

вую муху — ее нужно было живой и вернуть. Если мальчонка возвращался с дохлой мухой, его тотчас били: ясно, что по пути деньги крал. Поняла? Сугибину твоему никогда не удалось бы вернуться с живой мухой.

Феня отмахивалась от предостережений.

В тот вечер, когда пастух, как обычно, жестом потребовал свою порцию водки и пива, Феня по пути из кухни в зал заскочила в туалет и помочилась во вторую кружку. Залпом выпив водку, Сугибин хватанул «пива» — и тотчас сообразил, что на самом деле было в кружке. Впервые мужики увидели его разъяренным.

Не успев даже сорвать с себя фартук, Феня бросилась бежать. Сугибин кинулся следом.

В изложении множества рассказчиков, подчас противоречивших друг другу, дальнейшие события развивались следующим образом.

Пока Феня металась по лабиринту сараюшек вокруг Красной столовой, пастух неторопливо шагал от сарая к сараю, вбивая каблуки в землю. Почувяв его приближение, свиньи вдруг испуганно замирали, а Феня, забывшаяся было под ворох мешков или за штабель досок, ни с того ни с сего выскакивала из укрытия и мчалась не разбирая дороги. Пастух не спешил. Наконец он загнал Феню в тупик. Сунув руки в карманы плаща, он холодно наблюдал за женщиной, прижавшейся спиной к двери сарая. Его молчание стало невыносимым. Феня попыталась придать лицу гордое выражение и даже было отважно двинулась пастуху навстречу, но в двух шагах от него вдруг упала на колени. Как утверждал дед Муханов, Сугибин силой взгляда поставил ее на колени. Пастух никак не отреагировал ни на Фенину улыбочку, ни на ее лепет. Он чего-то ждал. Феня вдруг поняла, что ни одна свинья в этом запутанном лабиринте не осмеливается подать голос в страхе перед Сугибинным, — и тут-то она и обдулась. Но и этого очевидного доказательства пастуху было мало. Выдержав паузу, он извлек из кармана большой складной нож и протянул его Фене. Разводов-младший клялся и божился, что Феня, действуя словно во сне или под гипнозом, сама открыла нож и отсекла себе мизинец, при этом не отводя взгляда от сугибинского лица. Вот так просто открыла нож, опустила левую руку на подвернувшийся чурбачок и не глядя отмахнула себе палец. Нож выпал из ее руки. Она обернула руку подолом платья, но пастух даже не взглянул на ее пышные белые ляжки. Подняв нож, он тщательно обтер лезвие, сложил и убрал в карман, и только после этого что-то сказал Фене. Она кивнула. Не заходя в столовую, Сугибин вскочил на каурого и ускакал.

— Доигралась, — сказал Леша Леонтьев, хмуро глядя на ее забинтованную руку. — Думала, зря тебе про него говорят? Дыма без огня не бывает. Думать надо... Голова тебе зачем?

Феня подняла лицо от тарелки и тихо-тихо ответила:

— Я ею ем.

Свадьбу сыграли в Красной столовой. Сугибин был настроен миролюбиво и даже продемонстрировал искусство обращения с кнутом, в котором ему не было равных.

Кнут этот был сплетен из узеньких сыромятных ремешков. Говорили, что заспорившего с Сугибиным Коляню Лошакова старший пастух убил одним ударом своего «змея-горыныча», как он называл кнут. Доказать, правда, это никому так и не удалось. Рассказывали также, что Сугибин однажды в лесу при помощи своего страшного орудия лишил Наденьку Фуфыреву слуха и девственности, а также двух пальцев на правой руке. Впрочем, ее матушка-алкоголичка при этом всегда уточняла, что глухой и беспалой Наденька родилась, а девственности лишилась задолго до встречи с пастухом.

Размяв руку и «змея-горыныча», Сугибин под восхищенные крики подпивших мужиков одним ударом оставил от залетного воробья лишь горстку перьев, оторвал хвост пробежавшей собаке и перерубил надвое сидевшую на заборе кошку.

Феня родила дочку Верочку, которую В Шинели прозвал Веточкой. Он по-прежнему каждый вечер проводил в Красной столовой, не вмешиваясь в разговоры и не откликаясь на приглашения к выпивке. К нему привыкли, как привыкли к треснувшему фаянсовому ангелу на буфете или жалобной книге над Фениной головой. Его занимала одна Веточка. Она забиралась к нему на колени, и они подолгу о чем-то разговаривали. Старик называл ее своей подружкой. Глядя на них, Феня иногда с трудом удерживалась от слез. Но стоило ей бросить взгляд на свой обрубленный мизинец, как сердце ее вновь обращалось в ком мерзлого коровьего дерьма, по ее же собственным словам.

— У меня нет сердца, — сказала она старику, — у меня ком мерзлого коровьего дерьма.

— Так не бывает, — возразил он. — Переезжай ко мне, будем жить втроем — ты, я и Веточка. С Сугибиным ты не живешь, а умираешь.

— Откуда тебе знать, что такое любовь? — с горечью откликнулась Феня.

— Я знаю, — сказал он.

Он жил пепельной жизнью. По утрам, шаркая подошвами своих огромных башмаков, он подметал Семерку и больничный двор. Ребятишки дразнили его, швыряли камнями и плевали, и, если они уж слишком донимали, только тогда В Шинели останавливался, медленно поворачивал к мучителям свое пепельное лицо и с печалью в голосе спрашивал: «Разве можно так мучить человека? Не надо, пожалуйста...» (И двадцать, и тридцать лет спустя я вспоминал этот взгляд умирающего животного и его тихий, исполнен-

ный невыразимой муки голос: «Пожалуйста...») На досуге он вырезал ножиком деревянные фигурки, которые со временем становились Веточкиными куклами. Изредка Феня с дочкой заглядывала к старику за новой игрушкой и всякий раз прибирала его комнату, стараясь придать ей жилой вид. И всякий раз старик предлагал ей уйти от Сугибина, который, это знал весь городок, раз в неделю непременно избивал жену — для порядка.

Когда Феня сказала: «Откуда тебе знать, что такое любовь?» — В Шинели и поведал ей историю, которую даже ко всему привычные завсегдатаи Красной столовой посчитали неправдоподобной, хотя и заметили при этом: «В России все может быть. Даже любовь».

Он был следователем НКВД, винтиком в машине, которая перерабатывала человечину в идею. Он честно выполнял свой долг. Работал не щадя себя. Он никогда не задавал себе — а другим и подавно — дурацких вопросов вроде: правильно ли то, что он делает, виновны ли люди, которых он отправляет в лагеря и тюрьмы, нет ли во всем этом ошибки... Нет, как и многие другие, как миллионы других в России, он не давал воли таким мыслям. Само собой разумелось, что эти люди были виновны. Само собой разумелось, что он поступал правильно, то есть так, как не мог не поступать. Единственный вопрос, который он себе задавал — себе, одному себе — и на который до поры не находил ответа, был вопрос смешной, наивный, глупый: боится ли власть красивых женщин? Их было много — приятных, милых, обаятельных, привлекательных, — но красивой не было. Не встречал, хотя и был готов к встрече, как другие — немногие — всегда готовы к встрече с Богом. Задавая им вопросы и вслушиваясь в их сбивчивые ответы, он пытался понять лишь одно: боится ли власть красивых женщин? Одних доставляли в мехах и шелках, от них пахло хорошими духами, кожаными сиденьями дорогих автомобилей и вином, которое доставлялось самолетами из Массандры; других брали на службе, и они входили в его кабинет, привычно обдергивая деловой пиджачок, выжидательно глядя на него как на нового начальника; третьих брали из постели — от них веяло льняным теплом, прощальным поцелуем сонного ребенка, иногда принятым наспех лекарством; были и такие: в ватниках, грубой обуви, с обветренными лицами и уродливо расплуженными руками в ссадинах и смазке; доводилось ему допрашивать женщину, с мундира которой не успели срезать нашивки комбрига, — она отвечала сухо и обреченно... Иногда женщины были готовы пожертвовать честью, чтобы избежать назначенной участи, — он отклонял их намеки, презирав этих дур за то, что они так и не поняли: самое страшное уже случилось. Стоило им убраться с глаз, как он умело вычеркивал их из памяти. Он знал, что их изнасилуют, унизят конвоиры, начальники лагпунктов и прочие животные, находившиеся на содержании у

Системы. Что ж, таковы правила игры, и он принимал их. Он не удивился бы, окажись он вдруг в камере, на этапе, у расстрельной стенки. У него не было вопросов, кроме одного: боится ли власть красивых женщин? Быть может, этот вопрос и заменял ему душу, как другим — пьянство или игра в шахматы. (Возможно, кто-то другой на его месте задал бы иной вопрос: боится ли власть детской крови? стариков? себя? — но это были не его вопросы.) Опыт подсказывал, что власть не боится никого и ничего, она бесстрашна, как мертвец. Но вот случилось то, к чему он был готов. Тусклым мартовским утром сорок первого года в его кабинет ввели красивую женщину. Человек, умудренный опытом более разнообразным, чем у него, сказал бы, что она была — единственная. В ту же минуту он понял, что власть не боится красивых женщин, а такая власть обречена, и служение ей опасно и бессмысленно. Он сказал: «Решайте сейчас, сию же минуту. Если вы откажетесь, я тотчас передам вас другому следователю и постараюсь забыть о вас. Если же нет... мы выходим отсюда и навсегда уезжаем из этого города. Я сделаю так, чтобы нас не нашли и мы умерли от старости. Да или нет?» Она кивнула. Конечно, она догадывалась, что из этого дома, бросившего тень на всю страну, ей уже не выйти. А может быть, и он показался ей единственным? Они вышли из его кабинета, сели в машину и помчались на запад. Он мог отвезти ее только к старой тетке, жившей в глухой деревушке на границе Виленского края. Тетка не удивилась их приезду. Засветив лампу, они поужинали в полном молчании, боясь даже взглянуть друг на дружку. Тетка ушла спать на сеновал. Наконец он осмелился спросить, как ее зовут. Лина. Зачем-то закрыв глаза, она начала раздеваться. Не понимая, почему он так делает, он тоже зажмурился. Его сердце стучало так громко, что он не услышал шума машины. В дом ворвались вооруженные люди. Набросив на голые плечи Лины плащ-палатку, враги увели женщину. Его же бросили в камеру. Допрашивали и били, били и допрашивали. Почему не пустили в расход сразу — этого он не знал. Быть может, не могли поверить слишком простому объяснению слепого, дикого, глупого поступка... Увидел женщину — и бросился в омут? Так не бывает. Что-то еще должно быть, иначе Система рано или поздно столкнется с таким же случаем и окажется бессильной. Поэтому они должны были понять, почему он так поступил. Били и допрашивали. В первый же день войны немецкие самолеты сбросили бомбы на тюрьму. Он остался жив. Четыре года отвоевал в партизанском отряде. В конце войны вновь был арестован. Его избили и втолкнули в кабинет следователя. Из-за стола поднялась Лина в офицерском кителе, со скромной колодкой наград на груди.

Она узнала его. Наверное, это и спасло его от немедленного расстрела. Ей хотелось прежде исказить его. За что? Быть может,

за то, что он не сдержал слова и их схватили. Быть может, за то, что поддалась когда-то первому же движению души и отдалась этому человеку. Как знать — за что... Кем она на самом деле была, как выжила, как попала на службу Системе — все эти вопросы улетучились в первый же день. Она била его палкой по гениталиям. Кастетом вышибла передние зубы и сломала нос. Железным прутот переломала ребра. Без помощников — сама. И все это она проделывала молча, глядя ему в глаза и лишь иногда — улыбаясь. Он покорно принимал побои и издевательства. Наверное, прояви он строптивость, она убила бы его. Но он не сопротивлялся. Он радовался тому, что она осталась жива, и эта пепельная радость помогла ему пережить и пытки, и лагеря, и самое страшное — свободу. «Она жива», — думал он, как другие думают: «Слава Богу, она отмучилась». Радость жила помимо него, то есть помимо его воли, помимо Лины, которую он жалел. Ничего, кроме жалости, в нем не осталось. В лагере он однажды подумал, что было бы неплохо встретиться с Линой на воле, но тотчас прогнал эту глупую мысль. Он не простил ее, потому что и не винил ее ни в чем. Быть может, думал он, это и была настоящая любовь...

— Я не могу от него уйти,— сказала Феня. — Ты уж меня прости.

Смерть Веточки потрясла городок. Наверное, с того дня и начался закат Красной столовой.

Тело девочки нашли в ивняке неподалеку от прегольского шлюза. Когда все разошлись, на берегу остались лишь Леша Леонтьев и В Шинели.

— Кажется, я догадываюсь, кто ее убил, — пробормотал участковый. — Не ты.

— Иди, Леша, — сказал В Шинели. — А я тут посижу.

Феня с утра до вечера бродила по улицам городка, не отвечая на вопросы и даже шарахаясь от людей. За весь день она ни разу нигде не присела.

— Жалко ее, — сказала Настя Костромина, — и этого... Шинелку... тоже жалко...

Леонтьев кивнул.

— Лицо у него... — продолжала Настя, выплевывая шелуху от семечек. — Лицо у него какое-то... сам все расспрашивает, а лицо молчит...

— Расспрашивает? О чем?

— Да про Сугибина. Я его вчера вечером видала — брел как пьяный... видать, переживал... Сам бредет, а у самого одна нога обутая, а другая босая... совсем не в себе человек...

Задумчиво кивнув, Леша завел мотоцикл. Сунул папироску в рот, стиснул мундштук зубами, чиркнул спичкой о коробок — и вдруг до него дошло.

— Настя! — заорал он. — Говоришь, вчера? А в чем он был?

— Одна нога босая, а другая обутая, — радостно откликнулась Настя, подбегая к милиционеру.

— Обутая — в чем? — завопил Леша. — В сапоге, в ботинке — в чем, ядрена курица?

— В сандале, — обиженно ответила Настя. — Да что вы...

Но Леонтьев не стал выслушивать ее сетования и причитания. Выжав сцепление, он помчался по брусчатке в сторону прегольско-го шлюза. Темнело, когда он остановил мотоцикл на гребне дамбы. Внизу, на берегу, никого не было. Леша спустился к воде, включил карманный фонарик и обшарил кусты, но ничего нового не обнаружил, только перемазался в глине. «Что-то он тут искал, — подумал он. — Может, и нашел. А если нашел, то ясно, куда пошел».

Заехав в милицию, Леша открыл сейф, стоявший в углу его крохотного кабинетика, высыпал из кобуры леденцы и сунул в нее пистолет.

Во дворе сугибинского дома дотлевал костер. Леонтьев разворошил сапогом угли и понял, что дровами тут послужили Веточкины куклы. Поморщился: зуб схватило.

Расстегнув кобуру, постучал в дверь. Толкнул — отворилась. В холодной прихожей задел ногой ведро, которое со звоном покати-лось по цементному полу, но и на этот раз в доме никто не подал голоса.

Феню он нашел в гостиной. Она сидела за столом, накрытым белоснежной скатертью, на которой лежал бумажный пакет, выпачканный глиной. Женщина не шелохнулась, когда участковый шепотом с нею поздоровался.

— Феня... где они?

Придвинув к нему бумажный пакет, Феня прерывисто вздохнула.

— Я ж его просила... — Она подняла голову, и Леша понял, что она не пьяна. — Ну не жги их... зачем? Ведь память о Веточке... Сжег.

Леша кивнул. Заглянул в пакет — внутри была облепленная глиной мужская сандалия. «Значит, В Шинели ее нашел, — подумал Леша. — А я, значит, чуток опоздал».

— Где они? — повысил голос участковый. — Здесь?

Оттолкнув пакет, он направился к двери в спальню.

Сугибин лежал поперек маленькой комнаты на боку. Леша вклю-чил верхний свет и присел рядом с телом на корточках. Крови вы-текло немного. Крякнув, посмотрел на сидевшего спиной к стене В Шинели. Глаза его были закрыты.

— Знаешь, Леша, — услышал он Фенин ровный голос, — кото-рый год один и тот же сон вижу. Будто все по все я поняла, и вот-

вот главное слово выговорю, оно уж на языке у меня, и знаю, что всем людям от него хорошо станет, — а проснусь — и ничего не могу вспомнить... Какое слово? Что поняла? Сон...

Еще несколько лет Феня провела в скорбном доме, где этажом выше жил сбрендивший от одиночества учитель Шибздик. С наступлением сумерек он выбирался в застекленный эркер больницы и тихонько выл по-собачьи, стараясь не потревожить обитателей желтого дома. Каждый день Феня и Шибздик встречались на прогулках в больничном саду, обнесенном трехметровым каменным забором. Завидев Феню, Шибздик спешил занять на скамейке место для двоих. Феня обнимала его за плечи и отрешенно шептала:

— Бедная ты моя головушка, опять у тебя вошки, давай я тебя почешу...

— Вторичнобескрылые кровососы, беда от них, — вступал в разговор учитель. — Вошь — русское народное животное.

Феня доставала из кармана гребешок и принималась чесать стриженную наголо неровную Шибздикову голову. Он сидел не шелохнувшись, строго глядя перед собой собачьими глазами.

Мимо психбольницы проходила дорога к Седьмому холму, вершину которого занимало новое городское кладбище. Заслышав звуки оркестра, Феня подходила к окну и провожала взглядом похоронную процессию. Сверху ей хорошо была видна полуторка с открытым гробом в кузове, музыканты с медными цветами в руках и провожающие. Одного за другим она проводила на Седьмой холм Сугибина с мухой в руке, деда Муханова с самокруткой в зубах, Кольку Урблюда с гармошкой, положенной ему в гроб вместо подушки, Буянику, участкового Лешу Леонтьева, наконец, Феню из Красной столовой, которую когда-то она хорошо знала, но, кажется, не любила.

Ее выловили из расположенного неподалеку от больницы Детдомовского озера, куда иногда разрешалось ходить безвредным психам. Лицо ее было спокойно, а в черном провале рта беспомощно билась серебряная рыбка, отчаянно пытавшаяся выбраться на волю...

ВИЛИПУТ ИЗ ВИЛИПУТИИ

Он. Сам. Один. И никто ему не нужен. Он никого никогда ни о чем не просил, никому не жаловался, ничего ни от кого не ждал. Что ж, и это он сделает сам. Он найдет его и скажет: «Вот и все, что ты должен сделать, братан. Попросить прощения. Мертвую этим не воскресишь, это ясно, но попросить прощения ты обязан. Это будет справедливо, только и всего. А большего и не требуется». Большого и не требуется, чтобы мир стоял и не умирал со смертью каждого человека.

Вилипут сидел на корточках под приоткрытым окном и, прислушиваясь к редким звукам просыпающегося городка (харьковский прошел с полчаса назад, значит до рижского около часа), мял в руках стебель георгина. Внезапно он поднялся и посмотрел вдоль улицы. Туман, особенно густой в этот час, стоял неподвижной и, казалось, непроницаемой массой, из которой выступали мутно-синие, почти фиолетовые купы лип, деревянный столб с разбитым светильником, черепичная кровля склада на другой стороне улицы. Во дворе заскрипели двери сарая, со звоном упало ведро. Он вытер руки о штаны, схватился за оконную раму и, упершись ногой в стену, с маху сел на подоконник. Прислушался: тихо. Решительно отвел рукой тяжелую, влажноватую от росы штору и мягко спрыгнул в комнату. Жидкий утренний свет едва рассеивал тьму. Слабо поблескивали развешанные по стенам фотографии, бронзовая люстра, дверцы платяного шкафа — к нему-то он и шагнул. Замер, прислушиваясь, — и снова шагнул. Потянул на себя дверцу — она подалась без скрипа, сразу же нашел форменную куртку, а под ней кобуру. Теперь он действовал быстро: выхватил пистолет, притворил дверцы шкафа и, держа оружие в вытянутой руке, отпрыгнул к окну. Тело напряглось так, что прежде слуха всеми

жилками отзывалось на малейший шумок в доме. Все еще стоя лицом к двери, свободной рукой поймал край шторы и потянул ее вбок. В образовавшуюся щель просочился слабый свет, и он увидел ее глаза, широко раскрытые и блестящие, словно сделанные из полированного металла, — а он-то думал, что она спит, эта женщина, которая в полутьме этой комнаты лежит вот уже столько лет, неподвижная и белая. Она была укрыта одеялом до подбородка, аккуратно расчесанные волосы распластались на подушке широкими длинными крыльями. На низеньком столике рядом с кроватью поблескивали какие-то склянки с бумажными наклейками, высокий граненый стакан и столовая ложка. Выходит, сообразил Вилипут, она видела все с самого начала. Ну что ж, она не расскажет мужу. Параличная, так ее называли в городке. Лешина параличная. Мальчик решительно отбросил штору, схватился рукой за раму и спрыгнул в палисадник. В несколько прыжков достиг калитки и бросился бежать по тротуару, ощущая знобкую легкость в теле.

В конце улицы высились полуразрушенные строения старой пересыльной тюрьмы. На первом здании, к которому с тротуара вели тесные гранитные ступени, засыпанные битым кирпичом, по полукруглой арке висела черная латинская надпись, а рядом с нею, по пояс высунувшись из кирпичной стены, нависало над прохожими изваяние богини правосудия с весами в единственной руке (другую давным-давно отбили) и каменной повязкой на глазах. Стены с огрызками междуэтажных перекрытий, погруженные в осыпи битой штукатурки и черепицы, поросли березками и бузиной. По кое-где видневшимся ступеням можно было съехать вниз, в подвальный этаж, где еще сохранились крученые решетки камер и ржавые засовы на дверях.

Мальчик отпер замок и с усилием открыл дверь-решетку. Из-под досок, положенных на кирпичи, высунула добродушную рожицу собачка. Узнав хозяина, она с радостным повизгиванием выползла на середину камеры. Мальчик погладил псинку по мокрой шерстке, бросил ей кусок колбасы. Проверил обойму, сунул пистолет за брючный ремень и, опустившись на влажные доски, закурил. Пора. Чего он ждет? Каких знамений? Завтра ее будут хоронить. У него мало времени. Ирус прячется от него. И напрасно. Нет ничего позорного в том, о чем Вилипут хочет его попросить. Мертвая не воскреснет, но прощения попросить Ирус должен. А заодно и он, Вилипут. Ведь это он отдал Галаху Ирусу. Мог бы и не отдавать, но — отдал. Конечно, он не предполагал, что дело обернется так скверно, что Галаха в конце концов забеременеет и умрет от потери крови при родах. «Это бывает, — сказал доктор Шеберстов, — не плачь, парень». — «Я никогда не плачу», — ответил Вилипут. Да, так он и ответил. Бывает. Поэтому Ирусу будет не так уж и трудно прийти на кладбище и сказать: «Прости». Можно обойтись и без свидетелей.

Можно обойтись одним свидетелем, Вилипутом, названным братом. «Да ты сдурел, — засмеялся Ирус, когда Вилипут впервые сказал, чего от него домогается. — С какого перепуга я буду просить прощения? За что?» Вилипут объяснил. Ирус снова засмеялся. «Да брось ты! Конечно, жалко ее, померла все же. Так ведь она придурочная, дебильная, может, для нее же и лучше...» Вилипут, сжав зубы, бросился на него. Ирус ударил его. Кровь носом пошла. «А ну цыц! — крикнул Ирус. — Сдурел. От нее дури набрался. Я эти твои штучки знаю. Отстань, понял? А то не посмотрю, что братом называешься». Вилипут снова бросился на него и отлетел, получив удар в лоб, от которого зазвенело в голове. Отдышавшись, с трудом выговорил: «Ты меня знаешь, братан. Я не отстану. Мне тогда придется тебя убить. В натуре». Ирус презрительно сплюнул. «Ты меня? Говно. Ты мне ее отдал? Отдал. Я ее трахнул? Трахнул. Брюхо у нее? У нее. Сдохла? Значит, сдохла». И, упреждая бросок маленького Вилипута, изо всей силы ударил его ногой в живот. Муха. Докучная муха. Будет таскаться за королем Семерки и вякать: проси прощения, проси прощения... Так и вышло. Таскался и вякал, таскался и вякал. Ну и, конечно, получал свое, вся физиономия разрисована, фингал на фингале, губы разбиты, левая бровь рассечена. Смех да и только. «И ты, сопля, хочешь меня убить? — потешался Ирус. — Вот так? Ну, давай. Еще? На!» И бил, как только он один это умел делать: с оттяжкой, наверняка. Такого просто так не достанешь. Такого можно только из пулемета. Или из пушки. Что ж, значит, из пушки.

Он еще раз проверил, надежно ли держится под ремнем пистолет, и, толкая велосипед, спрятанный до поры под досками, по груде битого кирпича вскарабкался вверх. На тротуаре смахнул с руля капельки влаги.

Туман медленно редел, но был еще довольно силен: в ста метрах вперед по дороге ничего нельзя было разглядеть. Миновав железнодорожный переезд, Вилипут, вставая на педали, взобрался вдоль стены старого немецкого кладбища к церкви и свернул во двор громоздкого белого дома, который глыбой грязноватого льда висел над липами, мокрыми толевыми крышами сарайчиков и зелеными от вечной сырости заборами.

За домом крикнул петух, заверещал колодезный ворот. Мальчик толкнул дверь в подъезд, где пахло кошками и овощной гнилью из подвала, постучал в обитую пыльным дерматином дверь. В глубине квартиры кто-то закашлял, послышался долгий шаркающий звук, будто по полу ташили мешок с картошкой. Наконец, визгнув петлями, дверь приоткрылась. Из полутьмы коридора на Вилипута смотрело желтоватое обрюзгшее лицо. Кристина.

— Чего надо? — хрипло спросила она. — Да заходи, заходи.

В кухне пахло вчерашней едой. На сковородке застыли в белесом жире кубики картошки и куски мяса. Со стены над ракови-

ной, прикрывая пятно сырости, смотрел совершенно выцветший Муслим Магомаев с приколотым ко лбу календарем.

— Где Ирус? — спросил Вилипут.

— Чем это ты его так напугал, что он от тебя прячется? — с усмешкой спросила женщина.

Вилипут тоже усмехнулся.

— Да не напугал, — сказал он. — Надоел. Где он?

Здесь его могло и не быть. И эта женщина, его жена, могла и не знать, где пропадает ее непутевый муж. А могла и знать. Недаром спросила, почему он от нее прячется. Ерунда. Ирус его не боится. Просто Вилипут ему надоел как горькая редька. А если и прячется Ирус, то от себя. Может быть. Но тогда ему не придется его убивать.

— Так где он? — повторил он свой вопрос.

— А пошел ты! — сквозь зубы процедила она. — Допросы мне, падла, будет устраивать. Ничего не знаю и знать не хочу. Поговорили, а теперь иди отсюда!

Она схватила его за руку и попыталась вытолкнуть в коридор. Вилипут вырвался, прижался спиной к стене. Глядя вприщур на женщину, вынул из-за пояса пистолет, не глядя сдвинул предохранитель.

— Если ты, сука, — спокойно проговорил он, — не скажешь, где мне его искать, я тебя убью. У меня нету времени.

Она презрительно усмехнулась, прежде чем ответить, но, взглядевшись в его внезапно осунувшееся лицо, вдруг жалобно сморщилась и отступила к двери. Он не шелохнулся, не двинулся, все так же стоял у стенки, направив пистолет ей в лицо, и только глухо повторил:

— Убью.

И она вдруг поняла: убьет.

Леша поскреб свинью, и животина, довольно захрюкав, растянулась в грязи. Вывалив в корыто оставшуюся картошку, он запер дверцу загончика. Заглянул к телке. Была слаба, да и быки донимали, поэтому в стадо ее не выгоняли, кормили в хлеву. Все сыты. Пора и ему завтракать.

После чая зашел к жене. Как всегда, она лежала, до подбородка укрытая одеялом, безмолвная и, казалось, бесплотная от многолетней неподвижности. Между жизнью и нежизнью. Он так давно не видел, как она двигается, что и думать перестал о ее плоти, которая когда-то обладала вкусом, весом, запахом, не думал, хотя эта плоть продолжала существовать, жить по каким-то своим законам — законам греха, памяти, судьбы, и он исправно ухаживал за нею, мыл и причесывал, и все было как всегда, но сегодня... Внимательно посмотрев на нее, он вдруг понял, что она какая-то другая. Будто ее

тело под воздействием неведомой внутренней силы внезапно обрело вес, вкус и запах, — он назвал бы это состояние тревогой, если бы тревогу можно было взвесить или попробовать на вкус. Она будто хотела сообщить ему что-то — такое у него возникло ощущение при взгляде на это неподвижное лицо, на ее чуть расширившиеся зрачки, на едва заметно вздрагивающие крылья носа, на это как бы движение, рвущееся изнутри, из глубины ее существа, но бессильное воплотиться в жест или слово. Это должно быть что-то важное. Очень важное, понял Леша.

Он провел ладонью по ее волосам. Ладно, ему пора. Открыл шкаф. И тотчас обнаружил, что спрятанная под курткой кобура — пуста. Обернулся к жене. Не об этом ли она хотела ему сказать? Неторопливо натянул куртку, проверил ладонью, все ли пуговицы застегнуты, повел плечами. Так. Присев на корточки и посапывая от натуги, провел ладонью по полу, кожей сразу почувствовал песок, которого не должно быть ни в коем случае: в этой комнате Леонтьев мыл пол ежедневно, ползал на карачках и тер половицы до остервенения. Скинув войлочные тапочки, по стенке прошел к окну и отдернул штору. Так. Вернулся к шкафу и лег на живот. На чистом полу слабо — слабее некуда — отпечатались тонкие, едва различимые следы, и он тотчас узнал эти следы. Ведь эти туфли он сам подарил Вилипуту в день рождения. Единственный подарок, который этот упрямый мальчишка от него — да и от кого б то ни было — принял. Зачем ему пистолет?

Глуховатая Вилипутова бабушка ни о чем не знала. Как и следовало ожидать.

Вывел мотоцикл из гаража, закурил первую папиросу. Голова закружилась. Выкрутив ручку газа, выжал сцепление. Мотоцикл с места рванулся к воротам, швырнув из-под заднего колеса фонтан песка.

Он медленно ехал по улицам, отвечая на приветствия знакомых (то есть всех встречных) и думая о пистолете, который неведомо где разгуливает, пока он тут раскатывает. Мотоцикл легко шел под уклон, мягко шурша шинами по мостовой, выложенной мелкими гранитными кубиками, отчего мостовая напоминала чешуйчатый рыбий бок. В окнах магазинов еще горели красные лампочки сигнализации. За поросшими бузиной развалинами вытянулся Цыганский Квартал — так в городке называли несколько домов вокруг просторного двора, где жили несколько цыганских семей. На разложенных во дворе кострах в больших чанах кипятилось белье. Смуглые женщины перекликались с порогов и из окон. Он притормозил у газетного киоска на площади. Городок строился семьсот лет, сначала немцами, потом поляками и литовцами, затем опять немцами. Он выползал из болотистых низин, карабкался на рукотворные дамбы, наконец плотным кольцом тесно поставленных домов

облег невысокий холм с косо срезанной вершиной, на которой и сделали главную площадь (на нее-то в марте сорок пятого и выскочили первые русские танки, из которых высыпали смертельно усталые и закопченные танкисты во главе с капитаном, рослым блондином, вопреки уставу носившим погон только на правом плече, — с левого его сорвало пулей под Вильнюсом, — «В день победы пришью правый!»), — он обошел с десяток пряничных домиков, прежде чем смог обнаружить старика со спичками, который дал капитану прикурить недогнувшей рукой, ибо был слеп и абсолютно глух). В разрывах между зданиями виднелись ниспадавшие к реке узкие и кривые булыжные улочки, а над скопищем островных черепичных крыш возносилась пирамидальная башня церкви, увенчанная ржавым шпилем, и тень от башни в течение дня, если, конечно, день выдавался солнечный (что было большой редкостью), медленно, словно часовая стрелка, обходила площадь по кругу, словно по циферблату, а вечером опрокидывалась на плоские здания милиции, суда и павильончика, где торговали пивом, жареной рыбой и влажными плоскими сигаретами. Леша купил газету. Когда он полез в карман за сигаретами, мимо промчался на велосипеде мальчишка. Леонтьев размял пальцами табак, чиркнул спичкой, и вдруг до него дошло: только что мимо него проехал Вилипут. И он прыгнул на сиденье, дрыгнул ногой, запуская двигатель, и с места бросил мотоцикл вперед. Он видел, как мальчишка притормозил перед спуском в улочку-канал, и прибавил скорость. Надсадно взревывая, мотоцикл с грохотом пролетел через площадь и запрыгал по булыжной мостовой, но Леша не сбавлял газ. Мальчишка, заметив погоню, надал и свернул в единственную на весь городок подворотню. Леша знал, что, пролетев под ее гулким сводом, он окажется на кратчайшем пути к реке, если рискнет проскочить между сараями, в противном случае и нечего думать догнать велосипедиста, и тотчас вспомнил, что старый Матрас позавчера по пьянке запалил свой сарай, после чего соседи отправили его отсыпаться, а пожар потушили, — сарая-то, значит, не было, — может, рискнуть? С гулом промчавшись под каменным сводом подворотни, он бросил мотоцикл на груды обгорелого хлама и, едва успев подумать: «Только б не напороться на вилы или косу», с оглушительным ревом врехался в еще дымившийся хлам и буквально выпрыгнул на набережную. Машина крутанулась на гладких каменных плитах, норовя сползти в реку. Леша резко сбросил газ и завалил мотоцикл набок, успев в последний миг отскочить в сторону. Мотор заглох. Переднее колесо, продолжавшее крутиться над водой, вспыхнуло спицами под первыми лучами пробившегося сквозь туман солнца. Перепуганный мальчишка замороженно следил за бликами от спиц, мелькавшими на поверхности зеленовато-желтой воды. Его велосипед валялся рядом с мотоциклом.

— Еще бы чуть-чуть, — сказал мальчишка, — и хана тебе, дядя Леш. Ты чего это, а?

Леша снял фуражку, пригладил волосы.

— Утренняя зарядка.

Он поднял мотоцикл, дернул стартер — двигатель ровно зарокотал. Подмигнув мальчишке, который восхищенно поднял большой палец, дал газу и через минуту вернулся на площадь. И с чего он взял, что этот мальчишка — Вилипут? Такая же куртка цвета хаки, застиранная и заштопанная на локтях, такой же рост — метр с кепкой, такой же тощенький... Ну и что? Нервы. Он остановил мотоцикл у витрины похоронного бюро. Между двумя горшками с каллами красовался роскошный пыльный венок, вызывавший восхищение у детей и городских сумасшедших. Один из них, Вита Маленькая Головка, часами простаивал перед этой витриной, монотонно мыча и беспрестанно покачивая крошечной своей головкой, венчавшей мощный торс. Галахе ведь тоже нравилось, вспомнил вдруг Леша. Рот его вдруг наполнился слюной. Ей нравилось. А Вилипут не позволял ей торчать здесь до упаду. Галаха. Похороны. Вилипут. Пистолет. Ирус. Леша обвел площадь беспомощным взглядом. Господи, какого же дурака родила его мама. Завтра похороны Галахи. Ирус отказался выполнить идиотское требование Вилипута, об этом знал весь городок. Так значит, дело за пистолетом. Как же он сразу-то не дотумкал? Яснее ясного. Он покрутил ручку газа. Яснее ясного. Выжал сцепление.

Леонтьев поставил мотоцикл у забора, напился из ведра, стоявшего на крышке колодца, и только после этого поднялся на крыльцо и постучал в обитую пыльным дерматином дверь. Никто не ответил. Тогда он толкнул дверь и вошел в пропахшую вчерашней едой и керосином прихожую — длинный коридор с голым дощатым полом, по обеим сторонам — крашенные темно-коричневой краской двери с потемневшими от времени железными ручками. На вбитых в стену крючках висела одежда, источавшая запах плесени. Посредине коридора брошены галоши. За дверью в комнате громко звякнуло. Леша постучал, сердито посмотрел на галоши и навалился плечом на дверь. Замок щелкнул, и Леонтьев оказался в комнате, свет в которую проникал узкой и жидкой струйкой через щель в шторах. За круглым полированным столом сидела Кристина. Она не шелохнулась, когда Леша, сломав замок, ввалился в комнату. Растрепанная, в мятом и засаленном халате, она сидела на стуле прямо, слишком прямо, и вполне можно было подумать, что вот так она сидит уже не один час или даже день. На столе — ополовиненная бутылка самогона, стакан, тарелка с грибами. Леша взял стул и сел напротив. Даже не взглянув на него, Кристина твердой рукой взяла стакан, плеснула в рот остатки самогона и вытерла губы рукавом.

— Я так и знала, что ты придешь, — наконец сказала она. — Думаю, раз этот пришел, жди того. Да и пистолет он небось у тебя стырил. Надо же, пистолет. — Налила в стакан, придвинула к Леше. — За мое здоровье, чтоб вам всем сдохнуть. Пей, Леша, а то ничего не скажу.

Леша сделал глоток, поймал вилкой гриб.

— Почему он меня сукой назвал?! — вдруг во всю силу легких закричала она. — Я не сука! Ты же знаешь, что я не сука! И он знает! Почему?

Леонтьев промолчал. А зря. Кристина погрозила ему пальцем. Зря он молчит. И зря он думает, будто ей жалко своего сраного муженька, за которым гоняется этот Вилипут. Может, этот малыш и прав. Но разве имеет право человек, который прав, обзывать ее сукой? Она что, подзаборная, что ли? Ей было семнадцать лет, когда она вышла замуж за Ируса. У нее были сиськи с кулачок и вот такусенькая попка. А сейчас? А зубы? Широко разинув рот, она продемонстрировала Леонтьеву два ряда железяк. Тоже — Ирус.

— Потаскун, — сказала она, пьяно мотнув встрепанной головой. — У него ж давно не стоит. Кидается на малолеток. Вроде этой Галахи. Сколько ей лет? Пятнадцать? Потаскун. Теперь вот к Илонке лесниковой побежал. Думаешь, он от Вилипута побежал? Если только чуть-чуть... а так — к Илонке... Хоть бы лесник ему вправил мозги...

— погоди, — мягко сказал Леша. — Кристина, ты пойми, родненькая, он его убьет. Понимаешь?

Она вытаращила на него глаза.

— Ты правду говоришь, что он пошел к Илонке?

Она молчала.

— Ты понимаешь меня, Кристина? Он его...

— Ох! — с надрывом сказала она. — Господи! Господи...

— Он его убьет, — повторил растерянно Леша. — Кристина, ты слышишь...

— Ох! — снова выдохнула она. — А я?

— Что — ты? — не понял он. — Он его убьет...

— А я? — Она с трудом поднялась, опираясь руками на стол. — А я? Я что же — останусь одна? — Она погрозила Леше пальцем. — Если этот его убьет, я, значит, вдова. Если же он его, тогда его упекут в тюрьму, и опять я одна. Да я всю жизнь одна! — крикнула она. — Да господи! Обо мне-то хоть когда-нибудь кто-нибудь подумает или нет? Обо мне?!

— Вот сейчас, — сказал Леша, — у тебя есть шанс подумать о себе самой. Может, впервые. А может, и в последний раз. Такой вот шанс.

Она долго молчала, раскачиваясь из стороны в сторону. Наконец подняла голову и в упор посмотрела на Лешу.

— Почему ты меня заставляешь выбирать? — с мукой в голосе спросила она. — Ты кто такой? Какое у тебя право?

— Никакого, — сказал Леша.

— Тогда иди. — Она медленно опустилась на стул. — Тогда иди, Леша. До Одиннадцатого кордона путь неблизкий.

Дорогой, обсаженной липами и березами, Вилипут долго взбирался на холм. Велосипед скрипел сухо, однообразно, мальчику приходилось вставать на педалях, чтобы приблизить вершину, где, казалось, кончалась сужавшаяся дорога, заляпанная бледно-голубыми тенями деревьев, сомкнувших кроны над асфальтом. Справа, за чахлой полоской придорожных посадок, блестела извилистая речушка. Тяжелый массив дубовой рощи волнами спускался к берегу, крайние деревья зависли над обрывом, а внизу, на песке у воды, горами лежали серо-синие камни и торчали огрызки свай. Начиналась жара, а у него не было ни фляги, ни хотя бы бутылки, чтобы набрать воды. Он свернул в проселок. За деревьями показались черепичные крыши Первой казармы — так жители городка называли хутор путевого обходчика.

Хозяев не было. По двору бродил толстый поросенок, тыкавшийся рылом то в пустые деревянные корыта для кур и уток, то в заросли бурьяна, окаймлявшие сараи. По сторонам прямоугольного двора на фундаментах из дикого камня стояли капитальные постройки из красного кирпича, за ними — сад, обнесенный забором из старых шпал, увитых хмелем и воробьиным виноградом. Вилипут давно не бывал здесь, хотя Иван Иванович при каждой встрече передавал поклоны от Маруси и Оленьки и звал в гости. В кухне Вилипут снял с крючка алюминиевую флягу, раздутую автомобильным компрессором — для большей вместимости, набрал воды, прихватил нож, сделанный из ружейного штыка (хотя у него при себе и был братанов ножик с надписью на лезвии «Ирус»). Потом отдаст. Заглянул в нежилую часть дома, где хранилось сено, седла, рассохшаяся лодка, «паук», которым давным-давно не ловили рыбу, висели низки сушеной корюшки, грибов, пучки трав, обметанные паутиной. Никого. Ладно, он все вернет. А Иван Иванович даже и не спросит, зачем все это ему понадобилось. Таков уж был закон, по которому жил Иван Иванович и остальные Стрельцы. Закон есть закон. У каждого свой. У Вилипута — свой. Никому не мешать. Он не хотел, но так уж получалось, что иногда мешал. Мешал матери, которую не знал и не помнил и которую однажды нашли замерзшей насмерть на железнодорожной станции, а рядом сверток с посиневшим мальчонкой. Его подобрала Носиха и чуть ли не в первый же день забыла о нем. Сунет ему что-нибудь в рот, в этот бескровный порез на узком бесцветном личике, и — по своим делам. Маленький, тощенький, беспомощный. Лилипут-вилипут. Ну что ж, главное — никому до него не было никакого дела. Живет — и пусть себе живет. Смотрит исподлобья — и пусть себе смотрит.

Не просит ни о чем, ни на что не жалуется — и хорошо. Дитя не плачет — мать не понимает. Да и не было у него матери. Был только холмик на кладбище. Фанерный памятник. Ни имени, ни даты. Вообще ни слова — чтоб не писать «замерзшая пьянь». Не было никого, кроме Носихи, дававшей ему приют и кусок хлеба. Он все вернет. Недаром он с двенадцати лет подрабатывал в совхозе на погрузке сена. Он ей все вернет до копейки — за хлеб, за суп и селедку, вымоченную в спитом чае, за самый дешевый в округе костюм, ни разу не надеванный, ждущий своего часа в холщовом мешке. Он наденет этот костюм на Галахины похороны, событие того стоит. Он все вернет и Леше Леонтьеву, который, как вдруг выяснилось, пятнадцать лет стирал его тряпки и готовил обеды. Он ему не отец. Вилипут не просил его об этом. С какой стати? И с какой стати милиционеру вздумалось тайком ухаживать за ничейным мальчишкой? Он его не просил. Он и ему все вернет, до копейки, — за стирку-глажку, за обеды-ужины. Вернет Носихе и Леонтьеву, они об этом знают, он им сказал. «Сдались мне твои деньги, — отмахнулась Носиха. — Живой — и ладно». Но в первое же лето, как пошел работать в совхоз, он принес ей всю получку — сорок два рубля девятнадцать копеек. «Ну-ну, — только и сказала Носиха. — Ну и ну». Так же он вернет и Леонтьеву. Он упрямый, он ни у кого ничего не просил. Да ему и не у кого просить. Его ни у кого нету. И у него никого нету. Кроме, может, Ируса и Галахи. Но Галаха лежит мертвая на столе, а Ируса еще надо отыскать. Брата. Названного брата. Почти что родного. «Хорошо падаешь, пацан, — крикнул Ирус, когда шестилетний Вилипут едва поднялся после двадцатого или тридцатого падения с ледяной горки, с которой пытался спуститься на ржавых коньках-фигурках, выброшенных кем-то на помойку. — Хорошо падаешь. Без соплей. Молодец. Давай-ка я тебе коньки подвяжу». Вилипут его об этом не просил. «Я и сам могу». — «Ладно, самый какой». Подвязал. Научил съезжать с горки. Никаких сю-сю. Сильный, смелый, рыжий. Самый сильный, самый смелый, самый рыжий. Король Семерки. «Кто этого пацана тронет, будет иметь дело со мной. Ясно?» Вот так-то. Друг. Брат. «Он мой названный брательник, ясно? И кто его хоть пальцем, — ясно?» Они даже ножами обменялись, как полагается: у Ируса остался Вилипутов, у Вилипута — Ирусов. На лезвиях, как полагается, было выгравировано: на Ирусовом — «Вилипут», на Вилипутовом — «Ирус». Чин чинарем. Братаны. Старший и младший, готовый ради старшего в огонь и в воду. Только скажи, братан. А старший не жалел времени на науку: «Ты поменьше думай, братан. Мало ли что он сильнее тебя, этот парень. Ты об этом не думай, бей в зубы, потом разберемся». Вот это наука. Это — школа. А не та, в которую его заставляли ходить Носиха и Леонтьев. За восемь лет он задал училке всего один вопрос: «А если я выучу,

что прямой угол девяносто градусов, я лучше стану? Или хуже?» Она оторопела. Пятнами пошла. А потом трещала с полчаса про знание силу и ученье свет. Ясненько. Больше вопросов нету. И это-то можно было не задавать. Ясно. Знание сила, ученье свет. Ага. Нет вопросов. И больше не будет.

Прошло, наверное, около получаса, прежде чем за деревьями показались развалины. Он перетащил велосипед через канаву. Стена ближайшего домика была пересечена трещиной, второй этаж снесен, камень покрыт пятнами золотушного мха. Внизу, в сохранившейся части дома, царил полумрак. Вот здесь полежит велосипед. Дальше придется на своих двоих. И никуда от него Ирус не денется. Вилипут дойдет. Вилипут скажет Ирусу: «Вот и все, что ты должен сделать, братан. Попросить прощения. Мертвую этим не воскресишь, ясное дело, но попросить прощения ты обязан. Это будет справедливо, только и всего. А большего и не требуется». Чтоб мир стоял. Чтоб все было как всегда. День и ночь. Зима и лето. И два брата — Вилипут и Ирус. Закон. И никому не дано его нарушить безнаказанно. Только потому Вилипут и пустился в этот путь. А вовсе не затем, чтобы требовать что-то свое или там воскресить кого-то. Нужно делать только то, что возможно сделать, без всяких там соплей и воплей. Конечно, он мог бы и пальцем не шевелить. Умер-то, если разобраться, совершенно чужой человек. Да еще дебилка. Он не виноват. А если и виноват, то чуть-чуть. Ведь он действовал по закону: братану захотелось Галаху, — что ж, на. Но она забрюхатела от братана и померла родами. Значит, братана надо выручать, таков закон. Братан не должен нарушать закон. А если что, его надо выручать. Даже если он этого не хочет.

За стеной громко вскрикнула и рассыпалась стрекотом сорока. Пора. Пристегнув флягу к брючному ремню, он зашагал к лесу. Навстречу повеяло грибной прелью, болотной сыростью.

Он углубился в заросли орешника, чтобы по ручью коротким путем выйти к Станции. То и дело попадались вывороченные ветром деревья. На небе появились облака — маленькие, полупрозрачные, они быстро бежали отдельными кучками, на глазах загустевая до сметанной белизны. А когда он вышел на опушку, за этими легкими и быстрыми облачками пошла курчавые, ряд за рядом. Редким осинником он спустился к неглубокому ручью и пошел берегом. Не заметив бочажка, со всего маху влетел по пояс в воду. Ухватившись за орешину, выбрался на твердую землю, скинул одежду и принялся выкручивать брюки, пока не превратил их в толстую веревку. Герой без штанов. Но не смешно. Время-то уходит. Он и без того увяз в этом времени, как насекомое в варенье. Напялил мокрые штаны. Торопиться надо, но так, чтобы не уклониться от цели. Как там Ирус сказал-то? «Ты в своей Вилипутии законы устанавливай. А здесь они меня не касаются». Здесь — это

где? В Великании? В Нормальнии? Ладно, в Вилипутии так в Вилипутии. Бегом!

Выскочив на открытое место, придержал шаг. Станция. Полуразрушенные строения, заросшая польню и молочаем насыпь. Когда-то такие узкоколейки густо опутывали всю Восточную Пруссию. Теперь от них остались насыпи да иногда станционные постройки где-нибудь в лесу или посреди болота. Так. И тут он увидел человека, который вдруг встал с насыпи и спокойно зашагал к лесу. Шел он спокойно, размахивая руками в такт шагам, даже, кажется, насвистывал, и ни разу не обернулся. Еще бы. Король. Житель Великании.

— Стой! — срывая голос, закричал Вилипут. — Стой!..

На большой скорости жара почти не ощущалась, и Леша то и дело прибавлял газу. Когда он вкатился во двор Первой казармы, поросенок с визгом кинулся за колодец. Голова немного побаливала, хотелось пить. От самогонки, что ли. С куриным пометом она у нее, что ли. Напился из ведра. На крыльцо вышел Иван Иванович. Леонтьев вылил остатки воды на голову, зафырчал от удовольствия.

— Жара, — сказал Иван Иванович. — Заходи, покурим.

— Некогда. Вилипут не заглядывал?

— Нет. — Иван Иванович задумался. — Из дома взяли флягу. Кто-то свой.

Конечно же, он не станет объяснять, почему он решил, что флягу взял свой. Свой так свой.

Леша проверил уровень бензина в баке, вытер мерку о штаны и спрятал ее под сиденье.

— Ружье бы мне, — сказал он. — И патронов пяток.

Иван Иванович принес двустволку.

— А карабин?

— Это не для тебя, — усмехнулся Стрелец. — У него патроны закладываются в цевье и при стрельбе центр тяжести все время смещается. Привычка нужна. На.

— До Одиннадцатого кордона как быстрее? Через Станцию?

— Можно. Но тогда придется мотоцикл где-то оставить. Там только пешком.

Закинув ружье за спину, Леонтьев взобрался на мотоцикл.

— К вечеру дождь будет, — сказал Стрелец.

Леонтьев отпустил тормоз, и мотоцикл с выключенным мотором легко скатился к протопке. Станция. Что ж.

Он не щадил машину и добрался до развалин в лесу довольно быстро. Мотоцикл спрятал в орешнике за полуразрушенным домом, чьи стены были покрыты золотушными пятнами мха, набросал побольше веток на бензобак. Поправил ружье и зашагал к лесу.

На опушке было тихо. Солнце жгло кожу. Дрожащее марево висело над строениями Станции, над высокой насыпью, густо об-

лепленной молочаем. Леонтьев вскарабкался наверх и огляделся. Ни души. Под ногами хрустела битая черепица, обломки красного кирпича. Леша поднялся на второй этаж станционного здания. Сверху хорошо была видна прогалина, разделенная насыпью надвое. В стороне Одиннадцатого кордона лес был реже, светлее. Ему показались, будто в лесу кричали. Прислушался. Нет, почудилось. Но птицы молчали — и это настораживало. Скинув ружье с плеча, бегом спустился вниз и быстро зашагал к лесу. Снова почудилось, будто он слышит звуки погони: треск сучьев, учащенное дыхание... Нервы. Вышел на узкую тропку, проторенную грибниками и охотниками. И вот тут он услышал выстрел. Он мог бы поклясться, что стреляли из пистолета Макарова, — и бросился вперед, не обращая внимания на колючки, шарахаясь между деревьями, скользя на грибах, — вперед, только вперед, во что бы то ни стало — вперед...

Он выстрелил и промахнулся. И слава Богу. Он не хотел стрелять, но уж слишком испугался, когда обтянутая выгоревшим пиджаком спина стала быстро удаляться и вот-вот должна была скрыться за раздвоенной сосной, — вот тогда-то он и нажал спуск, не успев, к счастью, прицелиться. От сосны отлетел кусок коры. Еще не стихло эхо выстрела, а он уже мчался не разбирая дороги. Вломился в кусты и, исцарапавшись до крови в зарослях шиповника, выбежал на прогалину. Справа затрещали кусты, и он бросился к раздвоенной сосне. Черный пиджак мелькнул между елочками. Ирус бежал пригибаясь, но его выдавали верхушки молодых деревьев. Вилипут бросился вдоль посадок. И-раз-два-три — и-раз-два-три... Он сбивался с ритма и боялся, что его подведет дыхание. Ладно. Надо держаться. Не у кого просить помощи. Даже у братана — не получится. Он не хочет. Внезапно Ирус выбежал на прогалину. От неожиданности Вилипут остановился, вскинул пистолет, но Ирус метнулся в кусты и скрылся. Господи. Да он с ума сошел. Зачем он размахивает пистолетом? Так же убить можно. Не дай Бог. Он прыгнул через канаву и побежал за Ирусом, которого лишь угадывал в густом подлеске.

Он, конечно, поторопился и сбил дыхание. Заколело в левом боку, через несколько секунд, когда ему вновь пришлось прыгать через поваленное дерево, боль резко усилилась, и теперь что-то тупое и твердое бешено, в такт сердцу, колотилось в подреберье. В голове все дрожало, временами зрение завалакивалось розоватым туманом. Некоторое время он бежал с закрытыми глазами, и очень удивился, поймав себя на этом. Не хватало только со всего маху врезаться в дерево или сверзиться в яму. Ирус бежал далеко впереди все так же размеренно и тяжело, и казалось, что так он может пробежать и десять, и тысячу километров. Лес внезапно расступился, и оба выбежали на неширокую полянку. Ирус оглянулся, и Вилипут увидел его расширенные глаза и оскаленный рот.

Вилипут надал. Расстояние между ними сокращалось. Они бежали краем оврага. Потягивало холодком.

Погода могла вот-вот перемениться, как часто бывало в этих краях, где дожди летом налетают внезапно и так же внезапно сменяются палящим зноем. Овраг тянулся до самого болота, до самого Одиннадцатого кордона. Ну, добежим, а что дальше, подумал Вилипут, и что? Дальше-то он не побежит. Зачем же тогда убегать? Чтобы вымотать Вилипута до полусмерти? А потом до полусмерти же избить? Но мордобоем Вилипуту еще никто ничего доказать не смог. Это и Ирус знает. Значит, растерялся. Просто не ожидал, что малявка Вилипут не отстанет. Ни за что.

В вышине загрохотало. В просветы полетели первые капли дождя. Вилипут скользнул на гладком корне и упал. Вскочил — и чуть не завопил от злости: Ируса не было. Впереди поляна, справа овраг, который хорошо просматривался сверху. Ируса не видно. Притаился, что ли? Держа пистолет в вытянутой руке, мальчик медленно пошел вперед, ощупывая взглядом каждый кустик, каждое дерево, каждый клочок травы. Ирус хитер, силен и безжалостен. Самый хитрый, самый сильный и самый безжалостный брат на свете. Смотри в оба. Так и не начавшийся по-настоящему дождь внезапно прекратился. Вилипут остановился. И тут он увидел на другой стороне оврага Лешу Леонтьева с охотничьим ружьем в руках. Вилипут резко присел и на четвереньках быстро пополз к кусту орешника. Пыхтя и не спуская глаз с Лешы, он отползал все дальше — и вдруг остановился и упал на живот, увидев напоследок чьи-то ноги в грубых башмаках...

Целя над головой, Леша выстрелил из двух столов. Ирус метнулся в сторону и скрылся за деревьями. Леонтьев прыгнул на склон, но не удержал равновесие и на дно съехал на заднице. Цепляясь за ежевику, торопливо вскарабкался наверх и помчался к опушке. Чутье не подвело: Ирус бежал по дуге, стремясь поскорее обогнуть поляну. Значит, где-то там должен быть и Вилипут. Снова обрушился дождь, на этот раз сильный. Через минуту в редком лесу все стало мокрым и скользким.

Здесь было много поваленных деревьев и ям. Зимой тут вели санитарные рубки, все годное в переработку вывезли, а хлам оставили. Трухлявые бревна и толстые сучья лежали грудами. Под ногами хлюпало. Следы тотчас заплывали черной водичей. Леша перешел на шаг. Где же Вилипут? Однажды он увидел спину Ируса и стал ждать, что вот сейчас появится и мальчик. Но его не было. Во второй раз он увидел Ируса, когда тот бегом поднялся на взгорок, поросший сосенками. Уж тут-то Вилипут обязательно должен был обнаружиться. Может, он потерял след? Леша торопился. Ноги скользили на мокрой траве. Дождевые струи текли по лицу, стекали за

ворот, но Леонтьев уже ни на что не обращал внимания. Он не имеет права уйти из леса, если не найдет Вилипута. Он должен это сделать. Во что бы то ни стало. Он упал и больно ударился коленкой о сук. Ему показалось, что слева мелькнула чья-то тень, и он бросился туда. Нога скользнула на гнилом бревне, скрытом травой, и он полетел в яму, спиной бухнулся в вязкую и липкую грязь... Сверху сыпались и сыпались сучья и бревна, погребая его на дне. Все. Он был вбит по грудь в грязь на дне глубокой воронки — таких следов от авиабомб в этих лесах было много. Ноги придавлены бревнами. Ружье торчало из грязи стволами вверх, увязнув выше замка. Он попытался освободить ноги, но из этого ничего не вышло. Тяжелые гнилушки прочно зажали его в этой ловушке, и с первого раза он не смог даже дотянуться до ближайшего бревна. Тяжело дыша, откинулся на спину. Тело облеплено льдистой жижей. Сквозь папоротники, росшие на краю воронки, сыпал дождь. Леша зажмурился и дернулся всем телом. Острая боль ударила в ноги, отдалась в животе. Дела. Ну и дела. Похоже, обе ноги сломаны ниже колен.

Когда Вилипут открыл глаза, ему показалось, что черное небо рассыпалось на осколки, и только когда услышал раскаты грома, понял: уже ночь, а эти белые трещины на небе — молнии. Лил дождь. Страшно болела голова. Удар пришелся по затылку, немного сбоку, и именно там сосредоточилась вся боль. Вилипут сел. Голова закружилась. Внезапно его вырвало. С трудом встал, держась за ветки. На ногах держался плохо, словно не было у него коленей. Шагнул. Получилось. Еще раз. Сойдет. Пистолет? Ирус не дурак, чтобы оставлять ему оружие. А без пистолета Вилипут — ноль. Иди домой, пацаненок. Нож? Ерунда. С Ирусом не сладить ни руками, ни ножом. Только пистолетом. Так что топай домой, малыш, возвращаясь в свою Вилипутию и живи там по своим законам, как хочешь. Не путайся под ногами у королей. Не суйся в Великанию. Иди. И он пошел к опушке. Да, он пойдет. Только не домой. Нет у него дома. Ничего и никого у него нет. Ни дома, ни матери, ни отца, ни брата, ни Галахи. И его ни у кого нет. Ни у матери, ни у отца, ни у брата. Разве что у Галахи, потому что она мертва. Маленький тощий упрямец, тень короля, преданный оруженосец, братан. Рот как бескровный порез на узеньком бесцветном личике. Неподвижные глаза. Острый подбородок. Цыплячья грудь. И непомерная гордыня: я — сам. Один. Я. Никогда не склонявшийся ни перед кем. Никогда не плакавший. Никогда не жаловавшийся. Никогда ни у кого ничего не просивший. Всем, кому должен, он все вернет. До гроша. Носихе. Леонтьеву. Только пусть ему не мешают. Только и всего. Разве многого он хочет? Братан сам говорил: «Закон нарушать нельзя». Вилипут ему даже Галаху не пожалел — отдал. Чего уж. Братан же. А он

был ей вместо брата, отца, матери и кого там еще полагалось иметь недоразвитой девчонке с волчьим небом, огромными глупыми глазами и гугнявой речью. Мать ее небось рада, что избавилась от обузы. Теперь можно и самогонки нагнать невозбранно, никто не осудит, даже Леонтьев. Во поминки-то будут — на год. На пару с Носихой. Вилипут Галаху причесывал, кормил — «На хлебца, Галаха», защищал — «Гусей не бойся, Галаха». Она ходила за ним собачонкой: «Иття, Иття (это она его имя — Витя — пыталась выговорить), гуда?» — «Туда». Летом он брал ее с собой на рыбалку в ночь, и они вместе спали у костра, прижавшись друг к дружке под старым бабкиным ватником. Ему становилось душно и страшно, когда она слишком уж прижималась к нему. Он укрывал ее и уходил к реке и до утра дрожал, — наверное, от холода. Не мог он этого. То есть — мог, но не мог. Вот так: можно, но нельзя. Такие вот дурацкие законы были в этой самой его Вилипутии. У кого что, а у него — закон. У Ируса был другой закон. Они лежали на сеновале втроем. Он ему сказал: «Сходи-ка домой, малый, а? У меня курице кончилось, принеси сигарет». А ведь он знал, что на сеновале будет. Но пошел. Братан попросил. Король велел. Когда он вернулся, все уже случилось. Галаха мурлыкала у Ируса на плече. Он похохатывал: «Глянь-ка, дура, а понимает. Тоже — баба!» И понесла как баба. «Кто это ей?» — только и спросила Одиночка (так в городке прозвали ее мать-пьяницу, которая по поводу и без орала: «Я мать-одиночка! А ты кто? Ты нет никто!»). И все. Одиночка в таком же возрасте рожала, и ничего. И эта выживет. Не выжила. Тяжело переваливаясь, испуганно носила свой большущий живот, смотрела на Вилипуга глупыми глазами: «Иття, Иття...» Он морщился, мучился, убегал от нее. Прятался дома, зажмурившись, со всего маху бил хлебным ножом по ладони, шептал: «Аз, буки, веди...» И так до конца. Бабка научила. Успокаивало. Утром кое-как разлеплял ладонь: порез затягивался, чуть саднил, напоминая все о том же. Зачем же тогда он это делал? Чтобы забыть? И — не забывать?

Чем быстрее он шел, тем слабее была боль в затылке. Тогда он припустил бегом, но уже через несколько шагов поскользнулся, упал в ежевичник, расцарапал лоб. Дальше пошел шагом, как машина. Не прошло и получаса, как он понял, что смертельно устал. Хочет спать. Ведь иногда людям нужно спать. На ходу растер лицо. Не помогло. Подобрал сосновую шишку и принялся ожесточенно ее грызть, откусывая от толстых чешуек по кусочку и сплевывая. Язык онемел от вяжущего сока. На ходу стал делать гимнастику. Но спать хотелось все сильнее. Под ногами зачавкало. Ближе болото. Он присел на пень, тотчас заснул и упал. Со стоном отполз под широкую еловую лапу, свесившуюся почти до самой земли, вжался животом в игольник — и провалился в сон.

Дождь шел не переставая, и Леша давно перестал обращать на него внимание. После долгих мучительных усилий ему удалось вытащить из грязи ружье и кое-как приладить его на склоне воронки, закрепив воткнутой в глину веткой. Он оставил надежду найти опору для локтей в жидкой грязи, на которой лежал, как на подушке. Несколько раз он пытался дотянуться до ближайшего бревна, но все попытки закончились безрезультатно: уж слишком далеко назад было откинута его тело и слишком глубоко засела задница. Сообразив, сколь многое зависит от задницы, он от души рассмеялся. Ну ладно. Ладно. Он обязательно выкарабкается, потому что не может не выкарабкаться. Из-за Вилипуты. Из-за себя. Из-за женщины, что лежмя лежит в своей комнате столько лет. То ли живет, то ли умирает. Вот ей он ничем не может помочь. И никто не может. «Нервы, — сказал доктор Шеберстов. — Эта болезнь называется судьбой. Слыхал?» А как же. Его судьба, как не слыхать. Его и ее. Они поженились незадолго до войны. Она родила, когда он уже мерз в волховских болотах. С малышом на руках ей пришлось — вместе с остальными жителями деревни — бежать от карателей в партизанский лес, и вот тогда-то, во время того суматошного побега, она и потеряла сынишку. Вот как просто: потеряла. Не убивайся, утешали ее бабы, найдется твой сын, не пропадет, добрые люди не дадут его смерти. На пепелище его встретила молодая седая женщина. Сделай мне ребенка, Леша. Мне холодно, Леша. Где мой сын, Леша? Они жили в землянке, как все. Каждый день она уходила по той дороге, по которой зимой сорок второго бежала к лесу. «Ви-и-итя-а-а! Ви-и-итя-а-а!» — кричала она, пела, выла. Он догонял ее в поле или в лесу, молча взваливал на плечо, относил домой. Холодно мне, стонала она, и он чувствовал этот холод и понимал: у них не будет другого ребенка. Весной она свалилась, два месяца не вставала. За время болезни ее седые волосы вновь стали черными, и это почему-то напугало деревенских: не к добру. Фельдшер сказал: «И не встанет она, в землянке жить, сосновой корой питаться, да вы что?» Ну, все так жили. Значит, надо по-другому. И тогда он погрузил скудный скарб на телегу, уложил жену на солому и отправился на новые земли, осваивать Восточную Пруссию. Вот и все. Одно-единственное событие в его жизни, если не считать войну. Заведи себе кого-нибудь, говорили ему. «Ты мужик в соку, — говорила Буяниха, — сделай кому-нибудь ребенка и живи новой жизнью. При этом ведь и ее можно не бросать». Можно. Наверное, она права. Жить-то надо. А он — недотепа. Остался с парализованной женой и без детей. Делал только то, чего не мог не делать. Маловато для нормальной жизни. Да и делал-то иной раз тайком. Рубашки Вилипуту стирал тайком, пока Носиха пьянствовала с Одиночкой или отсыпалась после пьянства. Обед для мальчика готовил тайком. Вот этого не мог не делать. Вилипут долго ни о чем не догадывался. А когда

узнал (Носиха по пьянке таки проболталась), пришел и сказал, что отдаст все долги. Обязательно. «Ну, а если б не знал?» Вилипут растерялся. Может быть, он и понимал, что люди не в состоянии отдать друг другу все долги и потому они еще могут называться людьми, но он был не как все. «Хотя, конечно, это твое дело». — «Мое, — кивнул Вилипут — маленький, тощий, с сердитым узким личиком, на котором рот выглядел как бескровный порез. — Я тебя ни о чем не просил. Поэтому не сомневайся — отдам. Все до копейки». — «Само собой, — сказал Леша. — Договорились». Не мог же он объяснить мальчику, что не всякий долг — долг.

Он набрал в легкие побольше воздуха, напрягся и рванулся изо всех сил, но пальцы только скользнули по мокрой поверхности бревна. Неудача не обескуражила его. Он попробовал найти опору для пяток. Видать, от его ерзаний одно из бревен опустилось в глубину, и теперь Леша смог в него упереться. Он погрузился в грязь почти до плеч, боль от ног ударяла в живот и заставляла сердце биться часто и тяжело. Но выхода не было: надо как угодно расшевелить это нагромождение бревен и сучьев. Длинное трухлявое полено ударило его по плечу, но на эту боль он даже не обратил внимания. Подтащил полено к себе, пристроил сбоку, снова погрузился в грязь по горло. Оттолкнулся — и чуть не потерял сознание от боли. Чувствуя, как выступивший пот на лбу смешивается с дождевыми каплями, он некоторое время лежал неподвижно. Потом возобновил попытки. Выхода не было. Время поджимало. Примерно через час у него уже было под руками четыре коротких бревнышка. Наконец-то он мог на что-то опереться локтями. Тело выходило из липкой чмокающей жижи медленно, с болью. Несколько раз он останавливался, чтобы передохнуть, и лежал, глядя сквозь резные папоротники на темное небо. Дождь слабел. Леша снова потащил себя из грязи. Попытки он считал: шестьдесят. Шестьдесят первой не понадобилось. Уперся головой в склон. Ногам было холодно. Осторожно подтянул колени к груди. Сапоги остались в грязюке. Ищи-свищи. А жаль: за пятнадцать лет всего-то раз пришлось чинить. Еще Никита глухой делал. Перевернулся на живот и, цепляясь за корни, полез наверх. На колени еще можно было опереться, а на ступни — ни-ни. Кое-как выбравшись из ямы и вытащив ружье, лег на траву и тотчас заснул. Снилось красное. Не прошло и часа, как он проснулся. Небо посветлело. Он попытался встать на ноги, встал, но, сделав шаг, повалился в траву. Словно и не было у него ног. И тогда он пополз. Ему было все равно, как передвигаться. По-червячьи так по-червячьи. Он доползет. Он сделает. Хотя бы то, что не может не сделать. Хотя бы. Как всегда.

Вилипут выполз из-под еловой лапы и огляделся. В лесу быстро светало. Туман стойко держался только над болотом. Верхушка

высокой сосны стала алой. Неожиданно и громко проквохтал дрозд. Вилипут потянулся. Хорошо! Тело отдохнуло, голова не болела, лишь кожу саднило. За туманом виднелся дом. Одиннадцатый кордон. Рукой подать. Выходит, он свалился под деревом в двухстах метрах от жилья. Ну и ну. Счистил с куртки налипшие еловые иголки, отряхнул брюки и несколько раз присел с вытянутыми вперед руками. Тело слушалось. Сшибая на ходу головки бодяка, направился к дому, от которого его отделяли только негустые заросли ивняка. Когда он развел руками росистые ветки (день будет жаркий, машинально отметил он) и ступил на тропку, он увидел перед собой Ируса.

От громкого вскрика трясогузки Леша очнулся и поднял голову. Птица сделала круг низко над травой и села на кочку, испытующе глядя на человека стеклянным глазком. Он перевернулся на спину и сел. Ноги распухли, в голове жаркий туман. Подтянул к себе ружье, рукавом отер приклад и попытался встать. Боль ударила в живот, показалось, что хрустнули колени. Но устоял. Идти можно. Нужно. Во что бы то ни стало. При каждом шаге он ругался сквозь зубы — так было легче. Открыв глаза, намечал очередную цель — заметную сосну или корявый граб — и устремлялся к ней. Потом снова намечал ориентир, снова шагал, опираясь на ружье, кусая губы в кровь. Только бы снова не свалиться в яму. Уж тогда он не выберется. В очередной раз упав, подняться не смог. Пополз. Вперед. Во что бы то ни стало. Во что бы то. Ни стало. Упираясь локтями в землю, подтягивал тело, выбрасывал локти вперед и снова подтягивал тело, и так до тех пор, пока локти не провалились во что-то мягкое. Впереди расстилалось болото, испятнанное ядовито-зеленой ряской. Слева виднелись постройки Одиннадцатого кордона. Хрипло дыша, он быстро пополз к дому кратчайшим путем — через ивняк. Он увидел Ируса так же неожиданно, как и Вилипут, и так же, как Вилипут, замер от неожиданности.

Ирус спал, свернувшись клубком на охапке соломы. Застиранную рубашку перехватывали синие дешевые подтяжки — на их замках блестело солнце. Брюки подпоясаны обрывком веревки. Незагорелые волосатые ноги всунуты в тяжелые ботинки с заклепками. Он тяжело дышал, в носу побулькивало. К небритой щеке пристала паутина.

— Ну вот, — сказал Леша. Он подтянулся на локтях, перевернулся на спину и сел. — Ну и вот.

Ирус открыл глаза. Вскинулся.

— Не так быстро, — поморщился Леша. — Пистолет где? — Взял пистолет, выщелкнул обойму, пересчитал патроны. — Надо же. Это надо же.

— Здорово, гости, — раздался у них за спиной голос. Молодой, но уже седой мужчина в ватнике и высоких болотных сапогах с любопытством разглядывал троицу. — Как раз к чаю поспели. Здорово, Леша.

— Здорово, — хрипло откликнулся Леша. — У тебя сарай найдется, чтоб хорошо запирался?

Лесник перевел взгляд с Ируса на Вилипута.

— Найдется, — сказал он. — Для этого? Или для него?

— И для меня, — сказал Вилипут.

— Тогда два сарая, — сказал Леша.

— Каждому по сараю, — кивнул лесник. — Красиво жить не запретишь.

Он сделал все, чего не мог не сделать. Может, даже чуть больше. Хотя хвастать тут нечем. Та жизнь давно стала памятью, та любовь — тоже. А значит, та жизнь и та любовь обрели завершенность эпитафии, завершенность смерти и могли воплотиться в слово. «Почему бы и нет, — сказал доктор Шеберстов. — Значит, ты их обоих запер в сарае». Леша посмотрел на неподвижную женщину, безмолвную свидетельницу этой жизни и этого разговора, и сказал: «Не я запер. Серега запер. Лесник. Митрофанов сын, знаешь». Шеберстов кивнул: конечно.

Сарай-то один, но разделен на две части. Крепкий сарай. И пергородка крепкая. Конечно, он должен был сам убедиться, что там нет никаких щелочек-дырочек, но ноги не слушались, в голове качался горячий туман, и он только кивнул, когда лесник сказал: «Не беспокойся, Леша, все в порядке». Никому тогда и в голову не пришло, что Вилипут воспользуется узкой — лишь кошке впору — щелью под потолком. Судя по следам на стене, несколько раз он пытался взобраться наверх, но срывался. Наконец догадался подтащить бидон из-под молока, встал на него, подпрыгнул и повис на руках. Кто б мог подумать. Ему пришлось потрудиться, прежде чем он кое-как пролез в ту дыру, лишившись пуговиц на куртке и здорово ободравшись. Ирус ему не мешал. Может, даже спал. Многочасовой бег по лесу его вымотал. Ему нечего и некого было бояться. Он не крал пистолет, он не стрелял, он всего-навсего — убегал от сумасшедшего мальчишки. Это не наказуемо. Значит, главное позади, теперь пусть Леонтьев думает. Да и оружие у милиционера, а без пистолета Вилипут страшен только мухам. Ну, влез. Ну, бросился на Ируса. Тот его, конечно, отпихнул. Опять за свое? Опять «проси прощения»? На. Еще? На тебе еще. Сколько угодно. У нас не заржавеет. Лучше не лезь. Давно б тебя убил, да не за что. Да и не стоишь ты того. Может быть, и был такой у них разговор. Или что-то вроде. А Вилипут... Ну что он мог ему сказать? Что? «Вот и все, что ты должен сделать. Попросить прощения. Мертвую этим не воскресишь, это ясно, но

попросить прощения ты обязан. Это будет справедливо, только и всего. А большего и не требуется». Чтоб мир стоял и не рушился. Таков закон. Ведь Ирус сам говорил: закон нельзя нарушать. Что мог ответить Ирус? «Иди в свою Вилипутию и живи там по своим законам. И не путайся под ногами». Наверное, он еще несколько раз пробовал убедить Ируса. Говорил. Кидался на него. Получал по зубам: лицо в кровоподтеках, губа рассечена. Наверное, долго сидел у стены на корточках, крепясь изо всех сил, чтоб не разреветься. Полоснул себя ножиком по ладони, шепча: «Аз, буки, веди...» Может быть, успокоился. И понял, что ничего он Ирусу не сделает. Тот сильнее. Ловчее. Хитрее. Самый сильный, самый ловкий, самый хитрый. Сообразив это, наверное, он опустился на колени. «Братан, сделай это, ну пожалуйста». Ясно, что ответил король. Мальчик исчерпал все средства. Кроме последнего...

— Ну да, — пробормотал доктор Шеберстов. — Нож.

Нож. Из тех, которыми полагается обмениваться побратимам. Чин чинарем. Нож Ируса с надписью на лезвии «Ирус» — у Вилипуты. Нож Вилипуты с надписью на лезвии «Витек» — у Ируса. Неизвестно, думал ли он об этом прежде. Вряд ли. Но это был его последний шанс. И вряд ли он сказал об этом Ирусу. Просто — сделал. Ирус услышал сдавленный стон. Поначалу не обратил внимания: ну стонет — и пусть себе. Но звук был такой... И тогда Ирус встал со своего чурбачка и подошел к скорчившемуся в дальнем углу Вилипуту. «Эй, ты чего? — Толкнул его ногой. — Чего с тобой?» Стон угасал. Ируса вдруг затрясло. «Ты чего, зараза?! — заорал он. — Я тебя, падлу, знаю. А ну-ка!» Схватил Вилипуту за плечо и рванул к себе. Отшатнулся. Бросился к двери, забарабанил, завопил: «Эй! Эй там! Скорее! Сюда! Открывайте! Эй!» Вернулся к Вилипуту. Тот еще дышал. «Погоди, братан, — зашептал Ирус, ощупывая мальчика дрожащими руками, — ты погоди... ты чего... ну, дурачок... эй!» Он поднес руки к лицу. Руки были в крови. «Ты чего? — еле выговорил Ирус, упершись остановившимся взглядом в рукоятку ножа, торчавшую между сплетенными на животе Вилипутовыми пальцами. — Вилипу-у-ут! Вилипу-у-ут!» Наверное, тогда же — парень-то был тертый, битый — до него дошло: чей нож? Нож — чей? Кому он докажет, что нож с надписью на лезвии «Ирус» принадлежит не Ирусу? После всего случившегося — как он докажет, что нож принадлежит вот этому хиляку, который использовал свой последний шанс? «Гад! — закричал Ирус, вырываясь из рук лесника. — Он же меня подставил! За что? За что-о-о?!» Лесник рывком прижал парня к стене. Леша и сюда добрался ползком, отпихнул локтем лесникову ногу, протиснулся в угол, уткнулся лбом в окровавленные руки малыша, замер. Ему никто не был нужен. Он все сделал как всегда. Он. Сам. Один. Остальные, как всегда, были не в счет.

МЕСТЬ

Это вечером было, перед самым закатом. Мы с матерью в комнате сидели, что-то делали, а он во дворе дрова колот. Потом мать в кухню ушла, а я так и сидел в комнате. Он все тюкал и тюкал топором, хотя мать два раза покричала его ужинать.

Он мне не родной, этот Стасис, а второй. Первый, родной, помер где-то на войне. Стасис сперва в банде был, но потом ушел тайно и стал с моей матерью жить.

Вот солнце почти закатилось. Мать опять зовет ужинать, сердится. Он пробурчал что-то из сумерек, а что – не разобрать. Вдруг вижу: он бежит с топором через двор, а от ворот эти стрелять стали. Он упал, немножко прополз – и все, лежит.

Мать в кухне кричит, заходится. А я от страха замер, вылупился в окно и замер. Эти, если б увидели, посмеялись бы. Да некогда им было, убежали сразу.

Минут через пять я во двор спустился. Мать на крыльце плачет, боится вниз идти. Соседи стали собираться. Участковый приехал. Стал он мать успокаивать. Да разве умеет мужик утешить? Мать слушала, слушала, потом плюнула ему на сапог, заругалась и ушла.

Похоронили Стасиса, сами дальше живем. Мать совсем сердитая стала, с соседями переругалась. Мне под горячую руку попадаться неохота, вот я и перестал ночевать дома, на сеновал перебрался.

Однажды поздно вечером влезла она ко мне на сеновал.

— Ну-ка, — говорит, — вылезай, со мной пойдешь.

— Куда, мам? — спрашиваю.

— Увидишь, — говорит. — Ну-ка, быстренько.

Вижу – сердиться начинает. Ладно, думаю, никуда не денешься. Слез. Она ружье охотничье берет (от родного отца осталось),

кивает мне: пошли, мол. В случае чего бежать от нее собрался, но пока слова поперек не говорю. Пошли. Через парк к железной дороге спустились, потом к буграм двинули, а оттуда — к лесу... Ну и охота, думаю, ночью-то.

Уже темно, страшно — я же малый был. А она все идет и идет. Трава в росе, мы промокли совсем. Я похныкивать стал: куда, мол, тащимся на ночь глядя? Устал. Она молчит. И я замолчал: хоть и устал, а что сделаешь?

Шли и шли по лесу, пока не вышли к дому, где тогда одноногий лесник жил. В доме тихо, окна темные, в из-за дома — свет, слабенький такой, как от маленького костерчика. Мне жутко, я говорю:

— Мам, пойдем отсюда, а?

— Тихо, — она мне, — тихо, сынок, тихонько.

Тоже испугалась. Но пошла на свет, и я за ней. Там, за домом, навесик дощатый был, под ним за деревянным столом мужик сидит, что-то делает. Керосинка горит вполонгня. Нас он не заметил сперва. Мать пошевелилась.

— Здорово, — говорит, — дяденька.

Тот вскочил вдруг. Мать ружьем его пугает.

— А ну-ка, — говорит, — сволочь.

Мужик сел, на нас смотрит.

— Это не я, я только у ворот стоял. Чего надо-то? — говорит, а сам боится, глазами моргает.

— Я, — мать говорит, — посчитаться пришла.

— А пацан зачем? Уходи ты, малый.

— Пусть, — она говорит. — Так, говоришь, не ты? — спокойно так спрашивает.

— Не я. На что он мне сдался, Стасис твой? Это Юозас и те двое, дружки его, а не я. Уходи, а? Видишь, я ранет, в руку ранет. И руку, в бинт замотанную, показывает.

— Иди сюда, сволочь, — мать злится.

Он бы, может, и не пошел, но у нее ружье.

— Не трогай меня, — тихо он говорит и к нам идет. — У меня трое любимых детей.

— Молись, — мать говорит.

— Я устал верить в бога, — он говорит, — не надо.

И закричал — дико, страшно.

Мать два раза выстрелила ему в лицо, ружье в траву бросила — и бежать. Бежали мы, бежали, пока к железной дороге не выбежали. Тут она легла на землю животом и поплакала.

Вернулись домой. Она в своей комнате легла, а я, как всегда, на сеновале. Там вообще хорошо спалось — как в раю: пахло яблоками, сеном и немножко коровой.

Весь следующий день матери не было дома. Под вечер пришла с бутылкой, села в кухне и самогонку пьет. Не умеет, кашляет, а

все равно пьет. У деда Кольки купила, вредный такой старикашка по соседству жил.

— Какая я тебе мать, — вдруг кричит мне. — Сынуля, я же дрянь, дрянь.

И плакать.

Так и сидели в кухне втроем — я, она и кот. Я и не заметил, как заснул. Вдруг она трясет меня и трезво говорит:

— Иди-ка спать, иди-ка.

— А ты? — спрашиваю.

— Иди, — она опять. — Поздно. И мне пора.

Я и пошел на сеновал.

Не успел заснуть, слышу: крики во дворе, кто-то вопит благим матом, людей созывает. Я спросонья никак не разберу, кто и почему кричит, мне страшно. Выглянул потихоньку в окошко. Во дворе людей куча-мала, и главный у них — дед Колька.

Слез. Смотрю: на земле мать лежит с обрывком веревки на шее. Это ее дед Колька снял. Жалко ему самогонки, что ли, стало, решил бабе помочь выпить — не знаю, но заглянул вовремя: она только-только голову в петлю сунула да табуретку оттолкнула. Он веревку сразу перерезал, она и ахнуть не успела.

Водой ее отлили, привели в себя, поохали и разошлись кто куда. Я сидел, сидел возле нее, а она вдруг всхлипнула и застонала.

— Ох, человеки, — говорит, — ох, человеки.

Поднялась и к себе ушла.

— Дед, а дед? — спрашиваю. — Чего она так?

— Это ж не война, — дед говорит. — А если и война, то не та.

Вы что — у лесника были?

— Ага, — говорю. — Так правильно она убила?

— Правильно, — дед Колька мне. — Кого?

— Почему же, — опять я, — она сама вот так, а?

— Ясно, почему, — дед говорит. — Жалеть русская баба навывала, а вот мстить — не умеет. Литовца-то своего она жалела.

— Может, не надо было убивать? — спрашиваю.

Дед хмыкнул и домой пошел. Всегда он так.

Делать было нечего, обратно спать надо.

Утром захожу в кухню, а мать сидит на полу, в углу, и кота гладит, улыбается.

— Котик, а котик, пушистый животик, — ласково так говорит. — Пушистый животик.

— Мам, мам, — закричал я.

А она все про котика и про котика.

Два дня я ходил вокруг нее, уговаривал — она ведь не ела ничего. Дед Колька несколько раз приходил погоревать о бедной душе. А она: котик да котик. Потом ее увезли, а я к деду Кольке насовсем перебрался. Он меня кормил и одевал, ведь я еще мал был.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Этот паровоз — кургузый, со смешной пузатой трубой — получил от Буяники прозвище Чарли Чаплин. Так же стали называть и машиниста, хотя Петр Федорович Исаков вовсе не походил на знаменитого комика, да и к кинематографу был совершенно равнодушен. Был он высок, костляв, с густыми сивыми усами. После рейса тщательно отмывался в бане, отсыпался там же на верхнем полке, переодевался в жесткий черный костюм и черную же шляпу с круглым верхом. К неременной белой рубашке надевал узкий галстук на резинке. Женился он поздно. Крупная, широкая в кости жена его получила прозвище Тетя Лошадь. Она работала на бумажной фабрике, из смены в смену таская на животе тяжеленные кипы целлюлозы, которые бросала в жерло жутко гудящего размольного колодца. После смены в душевой Тетя Лошадь отстирывала чулки от крови, привычно ворча: «Вся наизнанку! Слава Богу, свое отрожала...» И тяжело вздыхала, глядя на молодых девушек, работавших с нею в размольном отделении. Одна из них, Люся, гуляла с ее младшим сыном, и Тетя Лошадь упорно теребила начальника цеха, чтоб перевел девушку на другой участок: «Ей же еще рожать, человечина!»

Машинист Исаков был молчаливый и спокойный человек без особых увлечений и выкрутасов. Набрал отгулов, с удовольствием копался в огороде, подрезая яблони, гоняя кротов и слушая между делом птицу, поселившуюся в долго пустовавшем скворечнике. Вечером они с Тетей Лошадью принаряжались и отправлялись в кино, где Чарли Чаплин, неудобно искрючившись в скрипучем деревянном кресле, спал до конца сеанса. За ужином он выпивал небольшую рюмку водки. Летними вечерами любил лежать в траве в конце сада и беспричинно смотреть на звезды.

Во всей жизни Петра Федоровича было лишь одно событие, которое можно назвать приключением. Застряв на несколько дней в Вильнюсе, он через дружков-машинистов познакомился с милой женщиной Аней, у которой и провел две ночи. Но поскольку Петр Федорович привык воли себе не давать, связь эта продолжения не имела, хотя Аня и звала к себе, да и Исакову было у нее уютно. Скрепя сердце, он сказал ей, что больше не придет: нельзя, чтоб человеку было хорошо и жилось по своей воле. После разрыва с Аней у него между ребрами, справа, образовалась как бы трещинка, иногда дававшая о себе знать несильной болью.

Паровозы заменяли на линии тепловозами, Чарли Чаплин стал маневровым, гонял зерно на мельницу, целлюлозу на бумажную фабрику.

Старший сын давно женился и жил в Казахстане, раз в два-три года навещая родителей с женой-корейкой и детьми-корейцами. Младший служил в армии — говорили, что в Афганистане.

Домой младший вернулся живой, хотя высохший и нервный. Узнав, что девушка Люся вышла замуж, буйно запил с приятелями и пьяный попал под поезд. Придя со смены домой и узнав о случившемся, Петр Федорович утратил дар речи, у него отнялись руки и безвольно повисло левое веко.

Лишившись ног по колена, Михаил будто успокоился. Зимой он пересаживал дома, потихоньку пропивая крохотное пособие, а с наступлением весны перебирался к винному магазину. Он отпускал дикую бороду, протезов не носил, ходил враскачку на обрубках, волоча за собою грязные штанины. По утрам беспричинные люди (так в городе называли пьяниц) вытаскивали его из груды ящиков у стены, где он спал, и всовывали его обрубками в урну для устойчивости, пока сами искали какое-нибудь спиртное, чтобы опохмелиться и опохмелить Мишу Портвейна — так теперь звали его в городке. Вечером он заползал в кучу мусора и хлама у стены магазина и засыпал до утра, пугая припозднившихся прохожих внезапными взрывами храпа.

Вышедшая на пенсию Тетя Лошадь каждое утро являлась на площадь перед магазином и устраивалась на перевернутом ведре, которое приносила с собой. После случая с сыном она сдала, зимой и летом носила ватник и резиновые сапоги, а жидкие седые пряди прятала под детской шапочкой с порыжелым клочковатым помпоном. Целые дни она проводила на площади, ругаясь с пьяницами и наблюдая за сыном, пока Петр Федорович не уводил ее домой. Он жалел жену, которую теперь называли Тетей Злобой: она стала бранчлива. С нею здоровались — она зло ругалась в ответ. Светило солнце — она костерила легко одетых женщин, жару и жажду. Шел дождь — лаяла Бога, даже не умеющего по-хорошему залить этот препоганейший мир водой, в надо б — керосином, да спичку под-

нести, да после притоптать, чтоб и памяти не осталось. Среди ночи она вставала, открывала шкаф и доставала завернутое в пожелтевшие газеты и перевязанное суровой ниткой белое свадебное платье. Ей хотелось его примерить, но она боялась, считая, что в ее возрасте в таком платье только вешаются...

Петр Федорович слышал, как она ходит, и даже однажды подглядел за женою, когда она извлекала платье из свертка, — но ничего ей не говорил. Он тоже стал пенсионером. Паровозик Чарли Чаплин загнали в дальний тупик и забыли.

Однажды, жалея выбрасывать оставшуюся после ремонта краску, Петр Федорович побелил кусок стены — полтора метра высотой, пять длиною, стоявший с незапамятных времен через дорогу от дома, на пустырьке. Мальчишки, разумеется, на другой же день исписали стену разными словами. Петр Федорович вновь покрасил — мальчишки вновь испоганили. Так и пошло. Борьба с мальчишками захватила старика, однако не ожесточила: прихватив пакостника на месте преступления, Чарли Чаплин ограничивался суровым выговором. Взрослое население Семерки наблюдало за этой войной сначала с любопытством, потом с состраданием, наконец уже и с раздражением. Устав наказывать пацанов, люди обратились к Петру Федоровичу: не довольно ли заниматься ерундой, переводя краску и труд попусту? Но Исаков уже не мог остановиться. Он мучительно переживал фокусы Миши Портвейна, не мог заснуть, прислушиваясь к шорохам за стеной: жена часами гладила утюгом подвенечное платье, которое боялась надеть, — и, спасаясь от этой жизни, Петр Федорович вновь и вновь хватался за кисть и краску...

Женщины с Семерки попросили участкового Лешу Леонтьева усювестить Чарли Чаплина. Леша поговорил со стариком, но тем дело и кончилось. А когда его спросили, что же будет дальше, он задумчиво проговорил:

— Пока он стоит на своем, мы стоим на своих двоих. А свалится, мы опустимся на четыре.

Эта его тирада, однако, лишь усилила раздражение взрослых и остервенение мальчишек.

В то утро, когда беспричинные люди вытащили Мишу Портвейна из его логова и поняли, что он мертв, Тетя Злоба, как всегда, прибрела на площадь со своим ведром. Она долго не могла сообразить, что ей пытаются втолковать пьяницы. Потом взвалила сына на спину, но упала. Ей помогли.

Петр Федорович сделал гроб своими руками.

После поминок, когда гости разошлись, а прилетевший из Казахстана старший сын заснул, Тетя Злоба наконец надела белое платье и подошла к зеркалу. Ее била дрожь. Ей стало одиноко и больно, и она пошла искать Петра Федоровича. Впрочем, искать его долго не

пришлось. Увидев его, женщина придержала шаг. Старик в жестком черном костюме и черной же шляпе с круглым верхом сидел на низкой скамеечке возле стены. Он не успел докрасить верхний левый угол. Тете Злобе было холодно. Ей казалось, будто вещи и люди так сжались от наступившей внезапно стужи, что она может собрать их в горсть и поднести мир к лицу. Но прежде чем позвать сына и отнести старика домой, она взяла кисть и докрасила стену, которая пугающе белела в темноте ночи, и эта белизна резала глаз, словно яркий свет, ударивший вдруг в лицо...

СИНИЕ ГУБЫ

Дорога к школе вела через немецкое кладбище. Можно было, конечно, избрать и другой путь — булыжной мостовой, отделенной от железнодорожного полотна невысокой оградой, сваренной из стальных балок, — и тогда кладбище оставалось по левую руку, за выстроившимися в ряд двухэтажными домиками, напоминая о себе всепроникающим запахом туи и закрывающими полнеба темно-зелеными облаками каштановых крон. В церквушке на другой стороне кладбища размещалась школьная мастерская, куда мы бежали мимо черных и серых стел с надписями на чужом языке. Часть кладбища занял школьный стадион, для чего пришлось убрать несколько десятков мраморных надгробий, которые много лет лежали грудой у стены кирпичного тира, пока их не вывезли предприимчивые литовцы (эти мраморы с затертыми надписями и сегодня можно увидеть на кладбищах от Клайпеды до Мариамполя). Знатоки переселенческого фольклора, захваченные историями о грандиозных подземных ходах, тянувшихся до самого Берлина, утверждали, что в могилах и семейных склепах, в которых наш завхоз хранил мел, ведра и метлы, немцы перед депортацией спрятали несметные сокровища — драгоценную майсенскую посуду, золотые цепи и монеты, волшебные книги и планы подземелий. Люди, которые с детства пользовались унитазами, не могли не быть богатыми. Копая огороды, переселенцы изредка натывались на десяток тарелок или дюжину вилок, спрятанных немцами перед депортацией; когда бульдозерами стали разравнивать луг неподалеку от старой кирхи, торчавшей на центральной площади, на поверхность вывернули россыпи алюминиевых и медных монет: когда-то здесь был банк, его разбомбили налетевшие с Борнхольма англичане...

Все эти случаи лишь укрепляли веру в то, что где-то — надо только хорошенько поискать — зарыты настоящие сокровища, предвестниками которых служили все эти тарелки, вилки, россыпи алюминиевой мелочи. Кладоискатели по ночам (тогда на немецком кладбище хоронили своих, переселенцев, и появление там человека с киркой было кощунством) ковыряли стены склепов, сдвигали надгробия и толстые мраморные кресты. Много раз пытались они оттащить в сторону и огромную, два на пять метров, серую гранитную плиту, поверху заросшую лишайником и мхом, — но лишь обкололи углы. Считалось, что под нею — братская могила. Никто, однако, не удосужился прочесть надпись, покрытую мхом, только в одном месте соскребли лишайник и кое-как разобрали дату — 1761 год. В те времена о существовании Восточной Пруссии знали лишь потому, что черниговские и рязанские парни гибли на топких лугах под Гросс-Егерсдорфом от пуль пехотинцев Левальда (а спустя сто восемьдесят четыре года здесь прошли танки моего отца).

Тем летом мне купили фотоаппарат, а моему другу — все, что необходимо для проявки пленки и печатанья фотографий. Несколько недель мы жили в угаре, фотографируя все подряд — дома, пейзажи, соседок и собак. Проявляли. Печатали, скорчившись в темном чуланчике и обжигаясь о раскалившийся колпак увеличителя. Снимки выходили бледными, но нас вдохновляло не сходство портретов с оригиналами, радостно вопившими: «Да это ж я!» — нет, нас волновало само чудо — способность оптики, механики и химии остановить мгновение по нашей прихоти, выхватить это мгновение из движущейся жизни и перенести его на кусочек картона. Было в этом что-то одновременно радостное и пугающее. Засушенное, как бабочка в альбоме, окутанное туманом мгновение сохранялось в таком виде, тогда как люди старели, здания ветшали, собаки гибли под колесами...

В августе моего друга родители увезли в Крым, и я охладел к фотографии. Изредка, впрочем, я вешал аппарат на плечо и отправлялся к реке или в ближайший лес. Или на немецкое кладбище, где напоенный смолистым запахом покой лишь иногда нарушался ворчаньем голубей. Поудобнее устроившись на каменной скамье без спинки, я проводил часы в полудреме, отдавая мир на поток и разграбление моему воображению. Оно хищно захватывало случайную собаку, случайного прохожего, превращая их, неосудитомо для них, в деталь грезы, фантазии, в кристаллы и чудовищ — всепробрающая химия сновидений...

— Где же и проводить время настоящему фотографу, как не на кладбище...

Вздвогнув, я очнулся и смущенно подобрался: рядом со мною сидел учитель немецкого из нашей школы по прозвищу Дер Тыш. Николай Семенович Соломин.

— Смерть и фотография — занятия родственные, — пояснил он. — Как, впрочем, смерть и искусство. Искусство вообще — ремесло смерти. — Он улыбнулся. — Искусство останавливать мгновения — это искусство убивать.

Я сглотнул. Огляделся. Вокруг не было ни души. Лишь где-то высоко в листве ворчал голубь. Двое на скамейке под сросшимися туями, струившими жаркий смолистый запах. Мальчик, застигнутый врасплох странным мужчиной, который ни с того ни с сего заговорил о смерти. На кладбище.

— Ты часто здесь бываешь? — спросил он, не глядя на меня. — Я — часто.

Я попытался объяснить, что пришел сюда просто поглазеть на «братскую могилу» — на гранитную плиту с датой 1761 год.

— Ну так пойдём.

Он легко поднялся и зашагал по аллее, даже не посчитав нужным убедиться, следую ли я за ним. Это придало мне храбрости. «Учителя не убивают учеников, — подумал я. — Да еще в двух шагах от школы».

Он был невысок, но сутулился. Одежда — плохо выглаженная серая рубашка и пузырястые брюки — висела мешком на его сухом, тощем теле, увенчанном головой в форме куриного яйца, слегка поросшего сивым волосом. Веки у него всегда были полуопущены, словно он стеснялся смотреть на мир во все глаза. Толстоватые губы были светло-лилового цвета. Учителем он считался не из вредных. После смерти жены и замужества единственной дочери — ее примерно сонное миловидное лицо никому, наверное, не удалось бы запомнить даже с третьего взгляда — Дер Тыш жил одиноко и замкнуто. Каждый день он покупал в магазине на Липовой кулек дешевой рыбной мелочи, которую по утрам скармливал сбегавшимся со всей округи ничейным кошкам. На общественных началах вел в школе фотокружок, в который в начале года записывались десятки желающих, — но уже к пятому-шестому занятию оставались двое-трое.

Высоко поднимая ноги, Дер Тыш пересек неширокую поляну, заросшую ломкой бледной травой, и присел на корточки перед серой гранитной плитой. В четыре руки мы принялись расчищать надписи от мха и лишайника. Впрочем, вскоре выяснилось, что надпись была одна — дата, 1761 год, — остальное — причудливо сплетающиеся линии, которые складывались в некий орнамент. По-хоже, это был какой-то рисунок.

— Это изображение грифа, с древности жившего где-то в здешних лесах, — сказал Дер Тыш. — Он таскал телят и овец, и однажды его убили. Внутри птицы обнаружили ржавые доспехи коня, на котором сидели ржавые доспехи рыцаря.

Я сонно кивнул. Да, конечно. Доспехи рыцаря, сжимавшего ржавой рукой белую хоругвь госпитальеров. Разумеется. Предпри-

имчивые люди делали из ребер гигантских грифов отличные боевые луки. Прямые грифовы когти шли на наконечники для стрел, которыми со ста шагов пробивали обитый стальными пластинами щит. А лучшую тетиву для таких луков плели из ведьминых волос, которые за большие деньги выкупали у палачей.

— Палачи — их было трое — жили в проулке за церковью, рядом с рыночной площадью, — с невозмутимым видом продолжал Дер Тыш. — Их искусство славилось не только в немецких и польских землях. Говорят, именно велауского палача пригласили в Московию, чтобы вздернуть на виселицу крошечного сына второго Ажедмитрия. После этого палач забросил ремесло и ушел в монастырь. В самом же Велау виселица стояла на берегу Преголи. Колдуны со всей Восточной Пруссии приходили сюда со своими собаками, чтобы выкопать корень мандрагоры, выраставший там, где на землю стекал жир висельника. Собака вытаскивала корень из земли зубами, после чего погибала в ужасных мучениях.

Он молитвенно сложил руки и смежил веки, словно соболезнуя погибшим псам. Погибшим в ужасных мучениях, чему Дер Тыш, несомненно, был свидетелем.

Я так был поражен его рассказом, а еще больше — его устрашающе неживой манерой речи, что даже не задумался об источнике, из которого Дер Тыш мог бы почерпнуть все эти сведения. Разумеется, таким источником могло быть только воображение. Как у меня. Как у других переселенцев, ничего не знавших о Восточной Пруссии и относившихся к ней как к чужой земле, засеянной чудесами, выращавшими в чудовищ. После того как последний эшелон с депортированными немцами ушел в сторону Позевалька, на этой земле не осталось ни одного человека, который о восточнопрусском времени и пространстве мог бы сказать — «Это я». Переселенцы оказались в плену мифов и легенд. Когда они говорили о прошлом этой земли, они напоминали людей, пытающихся поутру передать словами те смутные или, напротив, болезненно яркие образы, которые явились им в сновидении. Дер Тыш же говорил: «Здесь была часовая мастерская Михаэля Келлера» или: «Там стоял единственный в мире ресторан, где подавали двести блюд из речных мидий. Первый этаж был облицован голубым кафелем, второй — розовым», — и было в его тоне нечто такое, что заставляло верить: да, здесь была мастерская, а там — ресторан. Голубой и розовый. Еще бы. Как в сказке. Значит, правда. Там и тогда жили грифы, глотавшие тяжеловооруженных рыцарей-госпитальеров, грифы, из ребер которых делали отличные боевые луки. А что еще из них могли делать?

Очнулся я только возле его дома. Посмотрев на меня печальными полусонными глазами, он задумчиво пробормотал:

— Я мог бы научить тебя фотографии. Если хочешь, конечно. Искусству превращения времени в пространство.

Я кивнул. Конечно. Почему бы и нет? На прощание он предупредил, что страдает «недержанием банальных сентенций», и попросил не придавать этому значения. Я тотчас обещал, поскольку все равно не знал, что такое банальные сентенции.

Начались занятия в школе. Объявили запись в фотокружок. Разумеется, я стал одним из первых, кто вписал свое имя в тетрадку Дер Тыша. Вскоре я понял, почему кружковцам так быстро наскучивали эти сидения после уроков, во время которых Николай Семенович нудно рассказывал о свете, перспективе, преломлении лучей, композиции и сюжете. Люди в городке обзаводились фотокамерами вовсе не для того, чтобы создавать произведения искусства. В ателье «Три пальмы» к Андрею Фотографу шли семьями — сняться на память, шли поодиночке — сняться на документы. Андрея приглашали на свадьбы и похороны, но никогда — запечатлеть пейзаж. Сам Фотограф, носивший широкополую шляпу и длинный шарф, небрежно обмахнутый вокруг шеи, помнил лишь один необычный случай в своей профессиональной карьере: крошечные сестры-горбуни Миленькая и Масенькая (одна была телефонисткой на почте и умудрялась приласкать любое слово — вроде «дежуренькая» или «деревянненький»; другая, зло сжав густо окрашенные губешки в ниточку, торговала с лотка плоскими пирожками с творогом — их называли пирожками с «алебастрой» — возле женского туалета на автобусной станции) вызвали его к себе домой, чтобы он запечатлел их безутешную скорбь над убранным цветами трупиком любимой собаки Мордашки.

Кружковцы скучали. Положение усугубили дожди, зарядившие как раз во время выходов на съемки. И вскоре единственным слушателем Дер Тыша оказался я. Учителя это вовсе не огорчило, напротив, оставшись со мной один на один, он преобразился, став тем отважным фантазером, который покорила меня историей о грифе и мандрагоре.

Двоем — он с «лейкой», я со «Сменой» — мы бродили по городу и окрестностям. Он говорил, я слушал. Учитель рассказывал о несчастном святом Адальберте, прибывшем в не знающую пива страну просвещать пруссов и павшем от руки язычника; о первых рыцарях, шедших в пустыню ужаса, тьмы и холода, простирившуюся от Вислы до Немана и столетиями служившую полем для несочетаемых битв немцев, швейцарцев, англичан и бургундцев с поляками, литовцами, татарами и русскими; об английских детях, которые до сих пор поют песенку о бедном рыцаре, отправившемся в дикую Пруссию; о хвастливом Оттокаре Втором, приписавшем себе заслугу основания и строительства города королей — Кенигсберга; об отчаянных земледельцах-колонистах, спасавшихся от свирепых литовцев за стенами замков; о тысячах переселенцах из немецких земель, прибывших в Восточную Пруссию по призыву великого

Фридриха и нашедших здесь спасение от ужасов религиозных войн; о замке Лохштедт, янтарной кладовой Ордена; о разбогатевших торговлей крестоносцах, насилловавших польских женщин, презрев орденский запрет целовать даже мать; о великом Гогенцоллерне, создавшем государство, где впоследствии находили прибежище литовские просветители, а также русские старообрядцы, бежавшие из-под железной руки Москвы на берега озера Душ и ставшие в 1914 году германскими солдатами, сокрушившими армию Самсонова на тех же полях, где за пятьсот лет до этого Ягелло и Витовт и их смоленские союзники разгромили крестоносцев Ульриха фон Юнгингена...

Он выстраивал грандиозные конструкции из сложноподчиненных предложений, доводя меня до головокружения причастными и деепричастными оборотами.

Продолжая говорить, он вдруг останавливался перед какой-нибудь стеной или деревом, устанавливал штатив, который всегда таскал с собой, и делал пять-шесть снимков. Я не мог понять, что же он нашел необычного в этом месте, в этой стене или дереве. Стена как стена, дерево как дерево. Как ни крути, это был чрезвычайно невыигрышный, невыразительный кадр, на что я Дер Тышу однажды робко намекнул. Он слабо улыбнулся в ответ, пробормотав что-то о выразительности невыразимого...

Весной, когда зацвели яблони, я пригласил учителя в наш сад, откуда открывался вид на топкий луг со стадионом в центре, на прегольскую дамбу и парк с нагромождением крон всех оттенков зеленого. Дорожка делила сад пополам и, вильнув лишь однажды, перед старой яблоней о трех стволах, упиралась в ржавую калитку рядом с бетонной компостной ямой, обсаженной соснами. Яблоня-то и заинтересовала Дер Тыша. Лицо его вдруг приобрело сердито-сосредоточенное выражение, глаза сузились. Он установил треногу штатива, долго смотрел в видоискатель, вращая кольцо наводки на резкость, — наконец нажал спуск. Потом еще раз. И еще. Он сделал тридцать пять снимков. После этого, не обращая на меня внимания, быстро собрал штатив и едва ли не бегом покинул сад. Раздосадованный его странным поведением, я решил больше не ходить в фотокружок.

Отец неодобрительно относился к моей дружбе с учителем. Возвратив свой твердый и круглый генеральский подбородок (так называл его парикмахер По Имени Лев, которому раз в неделю выпадала честь брить моего батюшку. Очередь в парикмахерской — десяток немолодых людей, располагавшихся вдоль стены на скрипучих стульях, — переставала жевать последние новости и в зальчике воцарялась тишина, пока По Имени Лев в нарастающем темпе правил золингеновскую бритву на кожаном ремне и со звоном — разз! разз!

разз! — снимал пену со щек и генеральского подбородка. Процедура завершалась прожаренной салфеткой, которую По Имени Лев прикладывал к лицу клиента, а потом — финал — к своему жирному потному лицу. Готово. Очередь, шумно выдыхая, начинала скрипеть позвоночниками и стульями. Отец закуривал крепкую папиросу и, подмигнув своему отражению в зеркале, покидал парикмахерскую. Он был директором самой большой в городе фабрики, от которой зависело благополучие большинства обывателей), он произнес своим жестким тоном:

— Синие губы не любят жизнь. Этот Соломин живет мимо жизни. Ты не умеешь выбирать друзей. — И с горечью заключил: — Весь в меня.

— Синие губы? — удивилась мать. — Да у него просто сердце большое...

На следующий день Дер Тыш не пришел в школу: заболел. Тотчас после уроков я отправился навестить его. Жил он в маленьком домике за рекой, на улице, спускавшейся к пойменному лугу. Если весной Преголя поднималась слишком высоко, на улице заливало подвалы. Издали — с моста — это нагромождение черепичных крыш, алевших среди лип и каштанов, вызывало умиление у поклонников братьев Grimm и Андерсена, однако жить в этих пряничных домиках, лишенных водопровода и проеденных сыростью, было удовольствием не из больших.

Дер Тыш не удивил моему приходу, но был явно смущен. Он проводил меня в гостиную — с продавленным диваном под зеленым плюшем, круглым столом посередине, кафельной печкой в углу, тусклым семейным портретом — он, жена и дочь — на стене, дребезжащим застекленным шкафчиком в простенке между окнами. Пока он возился в кухне, я разглядывал корешки книг: «Обломов», «За нашу советскую Родину» с красивым тисненым портретом Генералиссимуса, «25 уроков фотографии», тюбингенский Шиллер, роскошный юбилейный Клейст, Гете с золотым обрезом (позднее я узнал, что учитель выпросил Гете у соседа, который сложил из немецких книг перегородку между свинарником и дровяником), «Анна Каренина», однотомник Леонида Андреева с черным портретом безумца на обложке...

Он принес поднос с чашками, банку крыжовенного варенья и большой жестяной чайник, который бухнул на голую столешницу. Из шкафчика, из-за «Анны Карениной», достал бутылку темного стекла, заткнутую бумажкой, — капнул настойки в чай, запахло медом и вишней.

В комнате было сумрачно — из-за разросшихся в палисаднике туй.

— Прости, пожалуйста, старого невежу, — пробормотал Николай Семенович. — Но там и тогда мне было бы трудно объяснить

причину... Да и сейчас... видишь ли... — Он приложил чашку к своим синим губам — я разглядел на доньшке скрещенные саксонские мечи. — Дом, в котором вы сейчас живете, когда-то был моим домом... то есть он принадлежал моему тестю... отцу моей жены.

Я ждал.

Он вздохнул.

— Ладно, терпи. Придется с самого начала...

Он родился в глухой и нищей белорусской деревне близ Орши в краю, где люди умирали от голода, колтуна и мрои. После смерти отца, израненного под Гумбиненом в четырнадцатом и на Перекопе в двадцатом, семья — мать и шестеро детей — вместе с другими деревенскими перебралась под Донецк, завербовавшись на восстановление Донбасса, разрушенного гражданской войной. Мужчины спустились в угольные забои, женщины и дети влились в местную сельхозартель, вскоре преобразованную в колхоз. В шахтерском районе было легче пережить великий украинский голод. Страшнее оказался яшур. Каждый день ветеринары с милицией вывозили очередную павшую корову и хоронили в заснеженной степи. Ночью владельцы коровы — всей семьей — отправлялись на место захоронения, разводили костер и съедали все, что могли съесть. Некоторые после этого умирали. Мать отличала Николая между прочими своими детьми: он рано научился читать и мог часами наизусть цитировать Ветхий Завет, лишь иногда перевирая незнакомые слова. После школы был зоотехникум, затем армия и война, которую Соломин встретил батальонным писарем. Под Харьковом он попал в окружение и в плен. Жарким летом сорок первого десятки тысяч пленных сходили с ума от жажды и голода в тянущихся на километры голых оврагах. Раз в день по деревянным желобам им спускали сахарную свеклу и давали немного теплой мутной воды. Часовые сверху с ужасом наблюдали за оборванными русскими, которые грызли грязные бураки или молча лежали на иссохшей земле под палящим солнцем. Наконец их вывезли в Германию. Соломин попал в Восточную Пруссию и был определен в работники к господину Теодору Титце, занимавшемуся торговлей и переработкой молока. Каждое утро на подводах и по узкоколейке прибывали бидоны с молоком, из которого на маленьком заводе выделялись велауские сыры и масло. В сезон господин Титце нанимал пришлых литовцев, которых по старинной традиции, воспринятой от предков — переселенцев из-под Зальцбурга, называл «бурасами». С началом войны бурасам стало много труднее добираться с берегов Немана к берегам Прегеля. Зато появилась бесплатная рабочая сила — русские военнопленные и брошенные в шталаги активисты польского националистического движения. Со-

ломина и других красноармейцев поселили в длинном низком доме под черепичной крышей, где обычно располагались сезонники-бурасы. Николай быстро схватывал чужой язык, и вскоре Титце — коренастый седеющий молчун с татарскими глазами — сделал Соломина старшим над русскими. По воскресеньям Соломина приглашали к хозяину на обед, за общий стол. Он тщательно чистил старенький полотняный костюм, выданный старухой-домоправительницей, и умывался под колонкой в саду (с золой вместо мыла). Товарищи беззлобно подшучивали над ним. И только Толя Афроськин, деливший с Николаем комнату в доме бурасов, с ненавистью шептал: «Ссучился ты, Колька, родину продал, погоди...» За обеденным столом Соломин всякий раз оказывался напротив зеленоглазой дочери господина Титце — Марии (про себя он звал ее Машенькой), и всякий раз у него сжималось горло при взгляде на ее маленькие губы или полноватые руки. Машенька тоже смущалась и краснела. Домоправительница госпожа Ребуль (ее предки были французскими гугенотами, обретшими землю обетованную в Пруссии) неодобрительно покачивала своим острым черепом, обтянутым чепцом. И только господин Титце невозмутимо резал мясо и прихлебывал красное вино. Так же спокойно воспринимал он и вечерние прогулки дочери с русским в саду, отлого спускавшемся к прорезанному мелиоративными канавами лугу. Когда же дочь сказала ему, что беременна, господин Титце уединился в своей комнате и всю ночь, как он выразился, беседовал с Господом. Наутро он отправился к капитану Штрибрны, от которого зависела судьба военнопленных. Как уж они решили эту действительно сложную проблему — Бог весть. Но решили. Николай Семенович стал зятем господина Титце и его деловым компаньоном. Машенька родила зеленоглазую дочку, спустя полтора года — еще двух девочек. Жили молодые во втором этаже. Старшая девочка — Катя — с удовольствием ездил верхом на костлявейшей госпоже Ребуль, которая от избытка чувств начинала напевать суровые гугенотские молитвы. Николай Семенович ложился на пол, прижимался щекой к нагретой солнцем крашеной половице и тихо-тихо постанывал: в такие минуты больше всего он боялся смерти. Толя Афроськин усмехался: «Теперь тебе каюк. Жениться на фашистке, наплодить фашистят...» — «Я ее люблю, Толя, — говорил Соломин. — И девочек люблю...» Толя морщился. «Во-во, так ты нашим и скажешь: я их любил — фашистов и ихнюю родину, пока они мою родину уродовали». Он покашливал: под Харьковом пуля задела легкое. «Потвоему получается, что люди только мы, — пытался возражать Соломин, — а они не люди...» — «Люди. Но ведь мы на войне». В конце сорок четвертого советские войска вошли в Восточную Пруссию. В начале сорок пятого приблизились к Велау. Военнопленных угоняли в Померанию и далее — в Германию. Такая же участь —

несмотря ни на что — угрожала и Соломину. Добрался ли бы он целым-невредимым до Магдебурга? Выбралось ли бы семейство Титце из восточнопрусского ада (беженцы сотнями гибли на льду залива Фришес Гафф)? На семейном совете решено было разделиться и вручить судьбы свои Господу. Титце с малой поклажей отправились на запад, чтобы попытаться через Померанию добраться до Лана, где жил брат господина Теодора. Одетые в красноармейские лохмотья Соломин и Толя Афроськин двинулись лесами навстречу советским войскам. Через несколько дней оба выглядели как беглецы из ада. Смершевцы допрашивали их по отдельности. После проверки Соломина определили в саперный батальон, а Толю отправили за Урал, где он и сгинул в лагерях, так ничего и не рассказав о друге-предателе. Младший сержант Соломин дошел до Праги, был ранен, контужен, награжден, и в сорок девятом вернулся в Восточную Пруссию, уже получившую русское имя. Дом на Семерке занимали новые жильцы, которые слыхом не слыхали о Титце. Возможно, их депортировали, если они не успели уйти вместе с отступавшими немецкими войсками. Николай Семенович поднялся на второй этаж, лег на пол и прижался щекой к нагретой солнцем крашеной половице. Ничего не понимающая хозяйка дома заплакала. Он кое-как успокоил ее и ушел. После бомбежек и обстрелов мало что осталось от городка у слияния Прегеля и Алле. Да и сами реки стали называться Преголей и Лавой. Но Николай Семенович остался здесь. Преподавая в школе, заочно окончил учительский институт, женился, похоронил жену, выдал дочку замуж — и остался один на один с памятью. Увлёкся фотографией. «Лейку» добыл в ремонтном складе за четвертину водки. Нажил какой-то сердечный недуг. Много раз порывался отыскать Машеньку, но в сороковых—пятидесятых, да, впрочем, и в шестидесятых, об этом и заикнуться было нельзя — ни властям, ни знакомым. Несколько раз он пытался поведать историю своей жизни так, словно все это приключилось с другим человеком, но всякий раз бывал осужден: «Пока мы на фронтах гибли и в тылу загибались, этот гад детей делал и масло лопал».

Тут Дер Тыш сделал паузу. Допил холодный чай, задумчиво поживал.

— Искусство памяти сводится к искусству забывания, — вдруг изрек он. — Впрочем, слово «искусство» тут лишнее, оно предполагает волю к забыванию. А все происходит помимо воли...

Его тесть господин Титце был человек не без странностей, каковые, впрочем, он никогда не демонстрировал. Когда же Николай однажды признался ему, что испытывает страх — и тем более сильный, чем острее ощущение счастья, — господин Титце сказал: «Ты боишься потерять... Веришь ли ты в Бога, Николай?» Соломин смутился. «Во всяком случае, ты слышал о бессмертии души. Умирая, мы просто переходим в иной мир. Он точно такой же, как этот, —

до крыла бабочки, до мозолей, до вдоха. Там мы проживаем еще раз прежнюю жизнь, от начала до того мига, когда она, в глазах живых, оборвалась. Рождаемся. Взрослеем. Женимся. Мучаемся теми же муками, радуемся теми же радостями. Умираем. Рождаемся... и так до бесконечности...» — «Но это и есть ад! — воскликнул Николай Семенович. — Что может быть ужаснее?» — «А кто тебе сказал, что наша здешняя жизнь — рай? Обе действительности, та и эта, одновременно реальны и иллюзорны. Все зависит лишь от места... от точки зрения... Это мучительно. Было бы удобнее считать иллюзией, сном *ту* реальность, но — увы. Если время бесконечно, мы пребываем в любой точке вечности. Если пространство безгранично, мы находимся в любой точке пространства...» — «Но вы же христианин, господин Титце! Все, о чем вы говорите, есть уничтожение Бога...» Господин Титце усмехнулся. «Отчасти ты прав. Но вместо «уничтожения» я бы предпочел воспользоваться каким-нибудь другим словом... например, взросление... или зрелость... Зрелость Бога, почему бы и нет? Это более мудрый Бог. Умудренный нашим опытом. Это, быть может, и более усталый Бог. И даже, наверное, более равнодушный. Хотя... я не думаю, что Бог кого-нибудь любит. Он не может кого-нибудь или что-нибудь любить. Бог — это созданный Им мир. Бесконечный и вечный, как сам Бог. Другому здесь нет места. Появление Другого — покушение на сам факт существования Бога. Любуй Другой — бесконечный и вечный Бог, неизбежно вытесняющий Первого. Следовательно, Он в принципе не может любить или ненавидеть...» — «Но если мы вечны, — перебил его Соломин, — мы не нуждаемся в оправдании и любви, а наша жизнь, следовательно, бессмысленна» Теодор Титце покачал седой головой. «Попробуй не связывать силу любви с силой смерти... это трудно... но, быть может, это и есть единственный выход...»

27 июля 1962 года маленькая дочка Соломина поймала на лугу в пойме Преголи бабочку-брюквенницу и принесла ее отцу в потном кулачке. Бабочку отпустили. Николай Семенович прижал к губам крошечную дочкину ладошку, источавшую слабый, едва уловимый запах лимона. Через секунду-другую запах исчез. Мужчина с трудом выпрямился и огляделся. Луг. Река. Черепичные крыши над липами. Истомный звон стрекоз. Девочка. Ее ладошка, тонко пахнущая лимоном. Он. Все это было, вдруг понял он. Было — в июле 1944 года. В конце июля. Быть может, даже 27-го. «Жаркий денек», — сказала Машенька. Ее полноватые плечи шелушились — весь день провела на солнце. Глаза ее потемнели. Николай с дочкой на руках (он принес ее, заснувшую, с прегольского луга) стоял под яблоней о трех стволах и заворуженно смотрел на облитую медовым светом женщину, на ее плечи и руки, на потемневший от пота ситец на груди. Уложив девочку на полотенце, расстеленное

на траве, он набрал под колонкой воды и вернулся к яблоне. Машенька скинула халат и принялась обливаться из ковшика, поглядывая через плечо на мужа. «Я не могу вытереться. — Она тихо рассмеялась. — Катя спит». — «Машенька, — прошептал он, — Господи, как же я люблю тебя. И девочек... и все-все это...» Обнаженная зеленоглазая женщина под яблоней, спящая в траве девочка, солнце, истомный звон стрекоз, тонкий запах лимона... Все это вспомнилось, едва он увидел старую яблоню в нашем саду.

— И поэтому вы тридцать пять раз сфотографировали эту яблоню, — пробормотал я. — Ту самую...

— Дело не в яблоне. — Он вздохнул. — Это то самое место. Только что время другое... как нам кажется... Она там стояла.

Кажется, я начинал догадываться.

— Вы снимаете памятные места?

— Да. В каком-то смысле — памятные. В том смысле, что они в той жизни. В истинной. Возможно, истина и счастье спрятаны в том мире, который мы привычно считаем иллюзорным, существующим лишь в нашей памяти, в нашем воображении... Но память реальна. Это сложное сочетание электрических сигналов (я вздрогнул от неожиданности), пронизывающих материю мозга. Следовательно, эта иллюзия — материальна. И я обречен стремиться туда, хотя и не уверен, что цель достижима...

Я кивнул. Почему бы и нет? Возможно. Я даже вежливо осклабился: с сумасшедшим нужно быть поосторожнее. Побережнее.

После 27 июля 1962 года (листок календаря с заветной датой был приколот у изголовья его постели) его увлечение фотографией приобрело новый смысл. Отныне он стремился запечатлеть все места, где когда-либо бывала Машенька Титце-Соломина. Вспомнить, как она там — или тут — сидела. Стояла. Лежала. Куда смотрела. Туда. Нет, пожалуй, все же — туда. Голова повернута, глаза полуприкрыты, в правой руке ветка сирени. Или в левой? Пожалуй в левой. Шагнула. Прищурилась. Значит, солнце было там. И он выжидал у невзрачной стены той минуты, когда солнце займет «тогдашнее» положение, чтобы запечатлеть пустоту. Здесь. И там. Ведь Машенька проживала ту же жизнь, и рано или поздно она незримо возникнет у той стены, как тогда, 14 мая 1942 года. Или как тем сентябрьским вечером 1943-го. Он напряженно изучал негативы и готовые отпечатки. Иногда ему начинало казаться, что на негативе было что-то такое — тень? царапина? — что почему-то не передалось позитиву, и он менял освещение, объективы, реактивы, пленку... Он накладывал негатив на негатив, третий — на четвертый, чтобы добиться сгущения пустоты, чтобы едва различимая тень стала отчетливо различимой, плотной, плотской. Фигурой. Лицом. Взмахом полноватой руки. Веткой цветущей сирени. Детской ладошкой, пахнущей лимоном...

«Синие губы не любят жизнь», — вспомнились мне слова отца.

Иногда он замирал перед зеркалом, подстерегая то миг, когда его отражение, утратив бдительность, позволит себе жест или улыбку, выдающие его самостоятельную — *ту* — жизнь. Иногда ему мерещилось, будто он улавливал это робкое движение, и это пугало его: встреча с самим собой не сулит счастья. Во всяком случае, такое счастье — лишь для отчаянно смелых людей, а он был не храброго десятка. Впрочем, он избрал иной ад.

Он показал мне фотоснимки, на которых трудно было что-нибудь разобрать: наложенные друг на дружку негативы сгущали контуры предметов до полной неразличимости, словно погружая их в древний хаос слитного существования. Возможно, это и был образ *того* мира, который, расслаиваясь, разжижаясь и распадаясь, частями входил в наш мир смертных форм.

Мы попрощались — как я и предполагал, навсегда, хотя и не думал, что Дер Тыш так скоро умрет: ведь ему еще не было тогда и пятидесяти! Его нашли на полу. Он лежал, прижавшись щекой к нагретой солнцем крашеной половице, с мертвой улыбкой на лиловых губах. На похороны я не пошел. Думаю, он не осудил бы меня за это.

«Существовать — значит существовать в чьем-то воображении, вне которого нет бытия», — заметил однажды епископ Беркли. Синие губы, зеленые глаза, пахнущая лимоном детская ладошка, грифы, ржавые рыцари, любовь, бессмертие... Боже правый! все это лишь слова, связующие место и время и образующие некое подобие жизни...

ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ

И через двадцать лет, мучительно умирая от рака желудка, лучшая подруга Сони Полоротовой так и не открыла ей, что же она сказала ее мужу Мише в день свадьбы, отчего он пришел в страшное волнение. Стараясь не привлекать внимания веселившихся водкой гостей, Миша взбежал наверх, где в уютной крохотной комнатке с полукруглым окошком на реку его молодая жена снимала с розовой ноги чулок. По выражению Мишиного лица она поняла, что случилось нечто чрезвычайное, но от смущения — впервые в жизни ее нагие бедра увидел мужчина — смешалась и утратила дар речи. Муж посмотрел на ее полную ногу в чулке, перевел взгляд на другую, без чулка, и вдруг упал и потерял сознание. Соня закричала. Сбежались гости. Миша хоть и дышал, но по-прежнему неподвижно лежал с закрытыми глазами. Из попыток привести его в чувство ничего не вышло.

Осмотревший Полоротова доктор Шеберстов сказал в конце концов, что Миша скорее всего впал в летаргический сон, вызванный каким-то сильным нервным потрясением. Такой сон мог продолжаться и неделю, и месяц, и десять лет.

Вернувшись с Мишей домой и устроив его в комнатке под крышей, Соня растерянно спросила у его старой бабушки: «Мне теперь что же — уходить?» Старуха пожала плечами. «Как знаешь. Ты его жена — у него и спрашивай». Похоже, она так и не поняла, что случилось с внуком.

Соня осталась.

Миша был смотрителем шлюза — жена заменила его. Она следила за воротами, лебедками, плотиной отводного канала, красила и чистила, помогала мастерам, приезжавшим на шлюз несколько раз в году. Вдвоем со старухой они ухаживали за огородом и скотиной.

Дважды в неделю, страшно смущаясь, Соня мыла мужа щеткой с мылом, после чего, вся пунцовая, надевала свежую сорочку с кружевами и укладывалась рядом. Мишино тело было едва теплым. Перед сном Соня рассказывала мужу городские сплетни, по субботам читала ему вслух какую-нибудь книгу — «Трех мушкетеров» или «Евгения Онегина». Выключив свет подолгу смотрела в полукруглое окошко. Засыпала.

Ее бывшая лучшая подруга работала продавщицей в хлебном магазине, где Соня делала покупки почти каждый день. Всякий раз, завидев Соню, подруга насмешливо сжимала губы. Они обменивались страшными взглядами, но одна так и не решилась спросить, а другая — ответить на вопрос, что же произошло в день свадьбы.

Соня думала о той минуте, когда Миша наконец очнется от летаргического сна и спросит о том, о чем так хотел спросить, и понимала, что разговор их будет труден. Она готовилась к этому разговору перед зеркалом, хотя и не догадывалась, в чем же Миша может ее обвинить. Однажды она даже купила губной помады, чтобы встретить Мишу сверкающей алой улыбкой, но, накрасившись, только расстроилась: губы ее стали похожи на влажных дождевых червей-выползков.

Каждый день она аккуратно отрывала листок календаря, висевшего на стене так, чтобы проснувшийся Миша мог тотчас сообщить, в каком времени ему предстоит жить.

Ей нравилось пропускать суда через узкий старый шлюз. Облокотившись о поручень мостика, она с улыбкой кивала шкиперам самоходных барж, груженных песком и гравием. Загорелые речники покачивали головами и чмокали, глядя снизу вверх на ее полные розовые коленки. Эти люди были для Сони особенными. Она не знала и не хотела знать, откуда и куда они идут. Важно было лишь то, что они были проходящими, проплывающими, а не стоящими на месте, как дома, деревья или Соня. Они протекали, как вода и время, тогда как Сонино время походило скорее на вечность. Она ждала начала пути — ждала пробуждения мужа. Иногда она задавала себе неприятные вопросы: а что, если она призвана к иной жизни и зря тратит время на ожидание? А что, если Миша там, в стране бесплотных видений, живет другой жизнью с какой-нибудь женщиной, с детьми, с бескостными утками и горестями, о которых его земная розовая жена ничего не ведает?

Она могла смотреть на текучую воду до головокружения, пока старуха не звала обедать.

Девушкой Мишина бабушка побывала с барыней в Венеции, но помнила город плохо. Рассказывала о площади, которую местные жители звали Самаркой, о тысячах голубей — барыня бросала им крошки с белого столика и при этом жалобно вскрикивала: «Гули!

Гули!» Большую же часть времени бабушка проводила в кухне да гардеробной. И лишь однажды барыня взяла ее с собою прокатиться в лодке по Канале Гранде. Был свежий апрельский солнечный день. Стены домов сверкали золотой слезью. Пахло гнилью и дамскими духами, а от гондольеров — крепким потом. Дамы в лодке смеялись и перекликались с пассажирами множества гондол, стремившихся в сторону моря, расстилавшегося за Джудеккой... Это все, что осталось в старухиной памяти, — много, очень много света. Сияющий воздух, переливчатое сверкание облитых жидкой золотой слезью дворцов, переплеск воды, пылавшей ртутью и апельсином... И веселые беззаботные люди в белых платьях и белых воздушных шляпах. Слушая старухины рассказы, Соня прикрывала глаза, и ей казалось, что сверкание золотой слези, напоенный светом свежий апрельский воздух, ртуть и апельсин плещущей воды проникают в самую глубокую глубину ее бедного, истомившегося ожиданием сердца, и ей легче дышалось, и не так больно кололо под левой лопаткой.

Через одиннадцать лет после того, как заснул Миша, бабушка умерла. После нее остался большой фотографический альбом «Венеция» с подписями на итальянском языке да плоская круглая баночка с французской надписью на крышке, пахнущая внутри райским садом.

— Чего же тебе жить без толку? — сказала после похорон Буяниха. — Сколько лет прошло, а ты все никак не решишь, ждать тебе его или самой жить...

— А ждать и жить — одно и то же, — порозовев от смущения, ответила Соня.

За нею ухаживал старший мастер речного технического участка, высокий усатый мужчина, носивший старенький, но всегда тщательно отглаженный костюм. Раз в неделю он обязательно заглядывал на Сонин шлюз. Она угощала его обедом с вином, после чего они слушали пластинки, смотрели итальянский альбом и разговаривали о том о сем. Однажды Николай Семенович задержался дольше обычного. Когда он обнял ее, Соня задрожала и прижалась к нему всем своим спелым телом. Но в последний миг она вдруг расплакалась, смутив гостя. Николай Семенович расстроился, но еще несколько лет навещал Соню. Однако она больше не позволяла ему обнимать ее.

Поздно вечером, когда городок погружался в сон, она облачалась в белое свадебное платье и отправлялась на лодке по Преголе. Лодка мягко шла против несильного течения по лунной воде. Уключины тихонько поскрипывали. Соня вскоре уставала. Она оставляла весла и, откинувшись на задний борт, закрывала глаза, погружаясь в грезы. Лодку медленно сносило течением к шлюзу. Соня старалась зажмуриться крепче, до искр и блеска в глазах, до

света, струившегося в прохладе венецианского дня, когда стены домов сверкают золотой слизью, пахнет речной гнилью и дамскими духами, люди в белом беззаботно смеются, когда вода пылает ртутью и апельсином... Лодка упиралась смоленным носом в черные шлюзовые ворота, и Соня со вздохом бралась за весла.

Ее позвали к умиравшей от рака бывшей лучшей подруге, и разволновавшаяся Соня всю дорогу до больницы бежала, но не успела: бедная женщина умерла, так и не сказав, чем же двадцать шесть лет назад она так потрясла Мишу Полоротова. Соня проводила покойную в последний путь и плакала: ей было жаль подругу, жаль себя, жаль бабушку, жаль Мишу, наконец жаль Венецию, которую ей никогда не увидеть...

Было за полночь, когда Миша Полоротов вдруг очнулся и сел на кровати. В комнатке горел свет. В открытое окно тянуло запахами речных отмелей и ночных фиалок. Миша попытался крикнуть жену, но голоса не было. Он посмотрел на календарь и покачал головой. На подзеркальнике лежал только тюбик губной помады, ссохшейся в бурый финик. Завернувшись в светло-серое суконное одеяло, Миша спустился на дрожащих ногах в прихожую, кое-как влез в резиновые сапоги и вышел на дамбу, вдоль которой изгибалась посеребренная лунным светом Преголя, опущенная по обоим берегам росистыми ивняками. Из-за поворота показалась черная лодка, которую течением сносило к шлюзу. В лодке сидела женщина на в белом со склоненной головой.

Миша вошел в воду и остановил лодку руками.

— Соня, — тихо позвал он.

Женщина подняла голову. На ней было белое свадебное платье, на голове — веночек из тюлевых цветов. Она смутно, словно во сне, улыбалась. Дышалось трудно, но сердце вдруг перестало болеть, как перед смертью. Люди в белых одеждах беззаботно улыбались, напоенный светом воздух мерцал и дрожал над Канале Гранде, над Преголей, над всеми проплывающими, к бессмертному сонму которых наконец причастилась и бедная Соня.

АПРЕЛЬСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

«Чья очередь заводить часы?»

С этой мыслью Иван Антонович Волостнов медленно — чтоб не разбудить боль в правом боку — сел на постели и спустил ноги на выставший за ночь деревянный пол. «Чья очередь заводить часы? Уже без пяти». Недовольно поморщился: если жизнь не мешала, он всегда поднимался без десяти шесть.

В гостиной, присев на корточки перед застекленным ящиком, дождался боя и поле этого завел механизм ключом, который обычно висел рядом, на ввинченном в стену латунном крючке.

Часы были его гордостью и любовью. Массивный корпус темно-вишневого цвета, большой золотистый циферблат за толстым стеклом, черные арабские цифры с неожиданно кокетливыми хвостиками и хохолками в духе Бердсли. Солидно, надежно, строго. Как сама жизнь Ивана Антоновича. Семья ходила возле часов на цыпочках. Раз в году Волостнов приглашал часового мастера по прозвищу Ахтунг, чтобы тот тщательно осмотрел механизм, а если надо, то и смазал. Осмотр проходил в присутствии хозяина, который за несколько лет успел досконально разобраться в часовых хитростях и при случае мог бы и сам обиходить механизм, но не делал этого: каждый должен заниматься своим делом. По завершении осмотра Ахтунгу подносили граненую рюмку водки и баранку, и, как ни намекал мастер, что неплохо бы повторить и добавить, Иван Антонович и тут не нарушал заведенного порядка. Выдав мастеру деньги, выражал вон, до встречи через год.

По понедельникам часы заводила жена, по вторникам — старший сын Андрей, по средам — старшая дочь Софья, по четвергам — младшая — Катя, по субботам и воскресеньям — сам. И только пятница выпадала из ряда. Этот день был назначен младшему сыну

Вите, прозванному в городке Витой Маленькой Головкой: он от рождения был обделен умом и, несмотря на настойчивые усилия отца, так и не научился заводить часы в свое время. Иван Антонович настрого запретил домашним выполнять работу за младшего. В пятницу он поднимал сына пораньше и вел в гостиную, где Вита, едва завидев темно-вишневый ящик, вжимал голову в плечи и начинал бестолково метаться. Отец суровым взглядом направлял его к латунному крючку, указывая отверстие для ключа и бесстрастно командовал: «Крути». Сын изо всей силы поворачивал ключ против часовой стрелки, и, чтобы не повредить механизм, Иван Антонович бывал вынужден гнать Маленькую Головку прочь. И так — каждую пятницу.

После бритья и кружки жидкого чаю Иван Антонович поднялся в комнатку под крышей, сел за стол, макнул стальное перышко в чернильницу и своим аккуратным, красивым почерком вывел на первой странице ученической тетради — «Завещание». Осторожно отложив ручку, откинулся на спинку стула и замер. Он не знал, что писать в этой тетрадке. Дом был казенный, Иван Антонович с семьей получил его как переселенец, прибывший в бывшую Восточную Пруссию «на восстановление целлюлозно-бумажной промышленности». Завещать дом он не мог. Денег так и не накопил. Из барахла же... Разве что часы? Обошлись они в литр водки сторожу ремонтного склада. Но можно ли такую вещь мерить водкой или деньгами?

Боль в правом боку опять напомнила о себе. Иван Антонович сжал зубы и зажмурился. Никто никогда не слышал от него стонов и жалоб. И никто никогда не услышит. В самом начале сорок второго его оперировали без наркоза в полевом госпитале — он и тогда не стонал и не жаловался. Тогда-то врач и сказал ему: «После таких операций, дружок, люди становятся другими». Почему-то это поразило его. Другими? Он не хотел быть другим, потому что не знал, чего ждать от себя другого. Этот страх — перед другим — не отпускал и после того, как его комиссовали из армии вчистую, и после того, как женился и стал отцом, и после того, как вместе с другими рабочими и инженерами целлюлозно-бумажного комбината был направлен в этот неведомый край, где получил дом и приобрел часы. Они-то, часы, и спасли его от страха перед другим: никакому чужаку не ворваться в строго упорядоченную жизнь, каждое проявление которой подчинено незыблемым правилам. А Иван Антонович благодаря часам устроил жизнь так, что с закрытыми глазами протяни руку — и тотчас отыщешь нужную вещь или нужного человечка. Семья подчинилась закону, и только Вита, пусть и поневоле, оказался чем-то вроде сломанного зуба шестеренки. Даже часы заводить не научился. Или не захотел? Назло отцу? Иван Антонович прогнал эту мысль. Все же — сын...

В этой комнатке под крышей когда-то жили дочери — Софья и Катя. Старшая вышла замуж за шкипера баржи-самоходки, хотя отец и предупреждал ее: не получится жизни с человеком, который по утрам мочится с борта в реку. Не послушала отца, ушла. Сидя во главе стола под портретом Генералиссимуса, изображенного в белом кителе и золотых погонах, Иван Антонович сказал дочери: «Придется самой отвечать за все. Вернешься — примем и тебя и детей». Жена заплакала, но на то и женщина, левая рука и левый глаз человека, чтобы соблазнять и склонять к неверным решениям. Дочь ушла. Жила плохо: мыкалась с детьми по общежитиям, ждала гуляку-мужа из очередного рейса по мутным прусским рекам. Но домой, к отцу-матери, не возвращалась: характером вышла в Ивана Антоновича. Завещать часы ей? Не примет — гордая. Да и зачем ей такие часы при ее цыганском житье-бытье? Такие часы ставят в настоящем доме — не в поле.

Вскоре исчез и Андрей. Иван Антонович и не скрывал — ни от него, ни от жены, что считает старшего сына недотепой. Мальчиком Андрей любил бегать за похоронными процессиями и глазеть на кладбищенские ритуалы. И игры у него были... Уляжется в углу двора и просит сестер, чтоб они засыпали его песком. Девочки делают холмик, украсят цветами, среди которых светилось радостью мальчишеское лицо... Часами мог так лежать. С таким же лицом рылся в книжных развалах, если позволял отец, которого в городке называли начальником Свалки. Так называлась площадка у реки, неподалеку от картоноделательного цеха. Сюда два-три раза в неделю пригоняли эшелоны с книгами, журналами, газетами, приговоренными к переработке в картон. К приходу эшелонов собиралась толпа. Люди копались в развалах, из них и пополняли домашние библиотеки. Набрав книг, Андрей залезал в какой-нибудь укромный уголок Свалки, чтобы всласть полистать пахнущие прелью тома. Отцу не перечил, но однажды вдруг пробурчал, глядя на портрет Генералиссимуса: «Убрать бы его отсюда. У других родня на стенах, а у нас — образина...» Иван Антонович удивился: «Мешает, что ли? Есть не просит. — И серьезно добавил: — Ты поменьше книжки читай, своим умом живи. Жизнь не переменится ни к лучшему, ни к худшему, если портреты менять». Как ни брыкался Андрей, отец отправил его в фабрично-заводское училище. Сын сбежал — и исчез. Жена кинулась было в розыски, но Иван Антонович остановил бабу: каждый выбирает свое. Чему быть, того не миновать. Но был уверен: возьмет его жизнь за глотку — а ничего другого она не умеет, — и парень скиснет. Ляжет с улыбкой в могилу и будет ждать конца...

Боль в боку отпустила. Волостнов осторожно привстал — ничего, терпимо. Прихрамывая, подошел к низкому полукруглому окну. Холодный, стылый апрель. Ледяной ветер с моря гнул черные вет-

ки грабов. И только туям нипочем: зимой и летом одним цветом. За это Иван Антонович и любил тую.

Сверху ему хорошо было видно, как Вита ташил по дорожке велосипед. У парня была единственная радость — гонять на ржавом одре по улицам. Огромный парнище с крошечной головкой на тонкой шее. Иногда заявлялся на Свалку и развлекал женщин тем, что ловил крыс и бросал их в ревущую мельницу. Бабы визжали и смеялись, пока не приходил Иван Антонович. Вита испуганно бросался к велосипеду (отец собрал его из ржавого велохлама) и улепетывал, привставая на педалях. Волостнов одним движением бровей сгонял улыбки с женских лиц: «Работы мало? Добавлю».

Доктор Шеберстов велел не курить, и Иван Антонович сперва послушно бросил. Но — тянуло, и тайком начал вновь покуривать. Папиросы прятал — от себя, конечно — в этой комнатке под крышей. Она для него стала чем-то вроде кабинета после того, как Катя сбежала из родительского дома. А прежде попыталась разбить часы. Сил хватило только на стекло — треснуло от удара. Заменить бы, да где найдешь такое же... Удрала — тайком даже от матери-потатчицы. Вскочила в паровозную будку и не оглядывалась до самого Вильнюса, где жил ее муж-прохиндей. Через месяц написала. Мать было дернулась съездить к дочке, но Иван Антонович не пустил: «Будет причина — съездим. А сейчас — незачем». Нина озлилась: «Какая причина нужна — смерть? Бога не боишься, Иван. Сколько жить собрался? Вечно? Люди не часы твои — они умирают...» Вечно он жить не собирался. И никогда не задумывался о смерти: придет — и придет, что ж. Теперь, судя по всему, скоро.

Вернувшись за стол с папиросой в зубах, прикурил и с наслаждением вдохнул дым. Перед ним лежала жалконькая школьная тетрадка с одним-единственным словом, выведенным его собственной рукой, — «Завещание». Глупости. Кто сказал, что перед смертью человек обязан что-то кому-то завещать? Нечего ему завещать. И некому. Да ничего от этого не изменится — и не должно меняться. Что же это за жизнь и что же это за мир, если они могут измениться смертью одного человека? Пшик. Он на такой мир не подписывался. У него другая конституция.

— Какая же? — без улыбки поинтересовался доктор Шеберстов, когда они остались одни в кабинете главного врача. — Не верь, не бойся, не проси?

Помедлив, Иван Антонович согласно кивнул.

— Это у преступников такая конституция, — со вздохом сказал доктор. — А мы с тобой пока не сподобились...

Волостнов покачал головой.

— Мы и есть преступники. Все. Только некоторые про это не знают. Может, потому, что никто настоящего закона в глаза не

видал. Вот сейчас придут за тобой, увезут в тьмутаракань — и кому ты докажешь, что не преступник? Если надо — будешь преступник. Разве не так? Россия, брат... Потому и живи, пока живешь. Вот и вся конституция.

— Это не конституция, Иван, — возразил Шеберстов. — Это инструкция для скотобойни.

— Других не знаю. А ты?

Доктор промолчал.

Иван Антонович не мог завещать часы никому. Ни Софье, ни Андрею, ни Кате, ни тем более Вите. Жизнь устроила ему каверзу. Он старался держаться подальше от сына, и тот держался подальше от отца. словно оба уговорились не пытаться друг дружку. Слово нет и не было сбоя в машине. В конце концов все равно по пятницам часы заводить приходилось самому Ивану Антоновичу. Как если бы сына и не было.

Сколько Шеберстов ни выкручивался, Волостнов выжал из него признание: «Да, Иван, это рак. Еще потянешь, но недолго...» Значит, вот почему жена в последнее время так настойчиво зазывала его съездить то к Софье, то к Кате в Вильнюс... Хитра, да не умна. Бабушка вера: перед смертью полагается грехи замолить. Ему нечего замаливать. И почему он должен думать, что смертельная болезнь послана ему за грехи? Заболел — и заболел. Как многие. Все умирают от болезней, даже если потом близкие и говорят, что — от старости. Главная болезнь — жизнь. Вот так стекло и сложилось — повернулись колесики, стрелки сдвинулись — и его час пробил, только и всего. Зачем из этого устраивать представление с ревушими медными трубами и бабушкиными слезами?

Иван Антонович не любил похороны. Его бы воля — отнесли, тихо зарыли, забыли, и все. Стоило ему вообразить рыдающую над его гробом жену, как становилось тошно. Бессмысленный обряд. Потому-то и обставляют его так торжественно, чтобы скрыть от себя эту бессмыслицу. А еще затем, чтобы убедить себя в том, что в жизни есть какой-то смысл. Нету — ни в жизни, ни в смерти.

Часы пробили десять.

Волостнов с трудом спустился в гостиную. Принял лекарства.

В доме тихо — слышно лишь, как постукивает маятник в темном-вишневом ящике за треснувшим стеклом. Отбивает время. Гонит вечность — волну за волной.

Жену отпустил к младшей — то-то радости было. Вдруг подумалось: хорошо бы умереть, пока ее нету. Умереть, как умирают умные животные: вдали от чужих глаз.

Иван Антонович выглянул в окно. За деревьями, над которыми возносился жестяной колпак водонапорной башни, увенчанный позеленевшим медным шаром, страшно зашипел паровоз. Тащит вагоны на Свалку. Или зерно на мельницу. Волостнов опустил

на крытый зеленым плюшем диван: устал. А ведь вечером на работу, да чтоб жалости у людей не вызывать, нет, ни в коем случае...

...Наконец из-за поворота показался первый вагон с сигнальщиком на тормозной площадке. Свет фонаря, который человек в брезентовом плаще держал высоко над головой, с трудом пробивался сквозь пелену нудно моросившего дождика. Короткий состав — шедший тендером вперед паровоз толкал перед собою четыре товарных вагона — теперь почти бесшумно полз вдоль принакрытой жидким туманом речушки, по берегу которой, на высоких ржавых опорах, тянулись фанерные трубы с мочальными бородами на слезящихся стыках. По ним, по этим трубам, размолотая в жилу макулатура поступила на картоноделательную машину, стоящую в громоздком краснокирпичном здании у реки.

Тихо постукивая на рельсовых стыках и уже поскрежетывая тормозами, состав прополз мимо людей, сгрудившихся под навесом вокруг безногого мужчины на тележке с подшипниками вместо колес, мимо раскисших под дождем, оплывших гор макулатуры, загромождавших асфальтированный треугольник между рекой и отлогим холмом, изрезанным огородами. Это и называлось Свалкой. В центре треугольника, в кирпичном сарае под шиферной крышей, с утробным ревом работала мельница — колодец, чья широкая бетонная горловина на метр возвышалась над вечно залитым водой полом. Женщины в серых фуфайках и ватных штанах, в резиновых сапогах и низко надвинутых темных платках, из-под которых виднелись лишь набрякшие от холода носы и губы, подхватывали огромными вилами очередную порцию липкой бумаги и сбрасывали ее в колодец, в закрученную ревушей воронкой воду, и там, в глубине, под ударами стальных лопастей бумага превращалась в кашу.

Машинист дал гудок. Состав лязгнул и замер, вытянувшись вдоль дебаркадера.

Люди под навесом зашевелились.

— Пошли, ребята, — негромко скомандовал директор фабрики, набрасывая капюшон на седую голову.

Грузчики не торопясь допили водку, выставленную директором (это было неперемное условие, иначе никто не согласился бы вкалывать всю ночь под ледяным дождем), и, сплевывая и сморкаясь, потянулись к первому вагону, волоча за собою колесные тележки, сваренные из стальных труб. Обычно первым делом в вагоне расчищали площадку, где можно было бы развернуть тележки — на них-то потом и наваливали макулатуру, и мужчины, набываясь и едва удерживая валившийся с боку на бок груз, выкатывали их по мосткам на дебаркадер.

Иван Ковалайнен уперся ногой в скобу и с грохотом откатил дверь. Грузчики вбросили в вагон окованные железом мостки, сби-

тые из толстенных дубовых брусьев. Волостнов крикнул в искрившуся над прожекторными вышками тьму, чтоб опустили свет пониже. Два густо-желтых столба медленно сползли с блестящей крыши вагона и сошлись в дверном проеме, выхватив из темноты стену из книжных корешков.

— Опять книги, — вздохнул директор. — Ну что ты будешь делать...

Волостнов выплюнул погасшую папиросу.

— Ничего, Василий Иванович. Все не растащат.

Директор посмотрел на Илью Духонина, сидевшего на своей тележке со сложенными на обрубках ног руками.

— Гнать бы их... — Кивнул в сторону сарая, возле которого уже топтались любители порыться в книгах. — Ты ж сторож...

— Гнать бы, — эхом откликнулся безногий сторож. — И Вита тут как тут...

Волостнов нахмурился. Вита Маленькая Головка сидел на корточках поодаль, у лаково блестящих штабелей сажевой целлюлозы.

— Василь Иваныч! — крикнул бригадир Леон Шпадарис, на голову возвышавшийся над толпой грузчиков. — Василь Иваныч! Иван Антоныч! Идите сюда обои!

Сунув руки в карманы плащ-палатки, директор зашагал к вагону, лавируя между кучами макулатуры.

Машинист что-то протяжно прокричал, и паровоз, несколько раз лязгнув и окутавшись паром, оторвался от состава и пошел в темноту, к станции. С той стороны подходили люди. «И откуда они узнают, что именно книги привезли? — подумал Волостнов. — Ведь в документах одни тонны проставлены...» И поспешил вслед за директором.

Шпадарис протянул директору книгу. Василий Иванович взглянул на обложку, повернув ее к свету, и присвистнул. Смахнул с головы капюшон.

— Ну что? — спросил Шпадарис.

Толпа угрюмых мужчин выжидательно молчала.

— Погодите пока. — Директор провел ладонью по белой голове. — Перекурите, а я пойду позвоню.

Волостнов проводил взглядом директора, который чуть не бегом устремился к кирпичному сараю.

— Чего это он?

Иван Ковалайнен молча протянул ему книгу. На обложке тускло золотились буквы — «И. В. Сталин. Сочинения».

— Дела... — протянул Шпадарис.

Неслышно подошедший сзади дед Муханов заглянул через плечо Волостнова, поперхнулся дымом сигареты-самокрутки, набитой вместо табака грузинским чаем высшего сорта. Иван Антонович оглянулся. Доктор Шеберстов коснулся пальцем поля шляпы. Во-

лостнов кивком поздоровался с ним и с участковым Лешей Леонтьевым, который рядом с огромным доктором казался подростком, вырядившимся в милицейскую форму.

Участковый включил плоский карманный фонарик, развернул книгу.

— Регистрационный номер восемьсот сорок четыре, библиотека вче восемьдесят семь сто. — Передал книгу Шеберстову. — Ну, чего... расформировали часть, книги списали...

— Это ж не «Три мушкетера», — сказал дед Муханов. — Едрит ангидрит.

От сарая к толпе торопливо шагал директор.

— Давай выгружай! — Он махнул рукой. — Чего ждете?

Грузчики не шелохнулись.

— Значит, все в порядке, — задумчиво проговорил Шпадарис.

— Значит, такой теперь порядок. Ну-ну.

Запыхавшийся директор закричал в лицо бригадиру:

— Тебе сколько раз, Леон, повторять? А ну живо!

Иван Ковалайнен неторопливо влез в вагон, подsunул короткий ломик под штабель, навалился — груда книг обрушилась на мостки. Шпадарис открыл соседний пульман — и там оказались такие же одинаковые тома с золотыми буквами, хлынувшие на асфальт тусклым потоком, посыпавшиеся в узкую щель между вагонами и дебаркадером.

Внезапно со своего места сорвался Вита Маленькая Головка. Не обращая внимания на хмурого отца, он растолкал людей, прыгнул в вагон и принялся с остервенением выбрасывать книги на асфальт.

Что-то случилось. Никто не понял — что, но толпа бросилась к вагонам. Люди с ожесточением накинлись на книги, выгребая их из вагонного нутра, спешно наваливая на тележки и бегом отвозя в сарай. Испуганные женщины в фуфайках подхватывали книги вилами и швыряли в ревущую горловину мельницы. Стальные лопасти безостановочно перемалывали картон и бумагу. Подвывающие насосы заталкивали бумажную кашу в трубы, сочившиеся на стыках. «Из Сталина сделают картон, — тупо подумал Иван Антонович. — Потом толь. Покроют сарай». Картоноделательная машина в громоздком здании у моста через Лаву однообразно гудела, неторопливо выдавливая из себя широкую ленту серого влажного картона, сматывавшуюся в рулон. К утру одинаковыми рулонами будет уставлен весь склад. Оттуда их грузовиками доставят на толевый заводик, чадивший за железнодорожной линией, тянувшейся параллельно Семерке. Рулоны насадят на стальные оси и пропустят картон через ванну с расплавленной пековой смолой. Разрежут на маленькие рулончики. Покроют свинарники.

Кто-то притащил к вагонам оставшуюся водку (а может, и сбегали в дежурный магазин за добавкой, ради такого случая подняв

с постели продавщицу). Пили из горлышка и снова лезли в вагоны, из которых все перла, словно перестоявшее тесто, чешуйчатая книжная масса. Все были возбуждены. «Давай! Круши! — выкрикивал Иван Ковалайнен. — За родину! За Сталина!» Безудержный смех вызвала кривая Эля, с перепугу обронившая в ревущую мельницу свой стеклянный глаз.

Не обращая внимания на дождь и холод, сбжавшиеся на праздник люди тащили и бросали книги, пили водку, падали, со смехом металась по асфальтовому треугольнику, залитому густо-желтым светом прожекторов...

Иван Антонович издали наблюдал за ночным буйством. Ему казалось, что тело его очистилось от жизни, не болело и уже никогда не будет болеть живой болью, а если будет жизнь и будет боль, то — другая жизнь и другая боль другого человека...

Он вдруг очнулся.

— Чего?

— Я говорю, заснул, что ли? — повторил директор. — Или чего?..

Волостнов обвел взглядом Свалку, залитую светом прожекторов. Люди по-прежнему суетились, перетаскивая книги от вагонов в сарай. Дождь прекратился. Ветер вычищал небо, и кое-где в просветах поблескивали звезды.

Директор сунул ему сухую папиросу, чиркнул спичкой. Иван Антонович прикурил.

— Как ты?

— Ничего, — с трудом выдавил из себя Волостнов. — Бывает. После ранения, знаешь... Ничего не вижу, ничего не слышу...

Директор тоже закурил.

— Ты кем войну закончил?

— Сержантом в пехтуре. В сорок втором.

— А я в сорок пятом подполковником. — Директор усмехнулся. — За родину, за Сталина... В этой стране нельзя никому ставить памятники из бронзы. Только из пластилина. Понимаешь?

Волостнов кивнул.

— А после этого... Это еще что такое?!

Вынырнувший из дверного проема Вита Маленькая Головка неожиданно ловко вскарабкался по скобам и выступам на крышу вагона и, страшно оскалившись, протяжно закричал. «Мой сын, — подумал Иван Антонович. — Сын, господи...» Густо-желтый столб света медленно приподнялся и окутал сумасшедшего.

— Упадешь, дурак! — крикнул Шпадарис. — А ну слазивай!

Высыпавшие из вагонов люди наблюдали за Витиными манипуляциями — он пытался расстегнуть штаны — с еще пьяными улыбками на лицах. Наконец он развязал веревку, служившую вместо ремня, рывком спустил трусы до колен и стал с визгом мочиться на книги. Люди оцепенело молчали, не глядя друг на друга. Никто

не шелохнулся, когда Вита, выдавив последние капли, натянул штаны и, нелепо раскорячившись, с криком прыгнул на гору книг и съехал на заднице на асфальт. Все еще вскрикивая, он перевернулся на живот и заколотил руками и ногами, пытаясь взобраться наверх, но это ему не удалось, и он заплакал, широко раскинув руки, словно хотел обнять оползавшую книжную гряду.

«Это мой сын, — снова подумал Волостнов. — А я его отец, господи...»

Доктор Шеберстов поднял воротник плаща, поправил шляпу и, бочком выбравшись из толпы, торопливо зашагал по дебаркадеру в темноту. За ним, смешно выворачивая ноги в кирзовых сапогах бросился Леша Леонтьев. Люди — кто с книгами под мышкой, кто без — потянулись следом, и спустя четверть часа на Свалке остались грузчики, директор да Волостнов с сыном. Иван Антонович пьяно подошел и сел рядом с Витой. Парнище резко сел и уставился со страхом на отца. «Бойтся. — Мысли Ивана Антоновича были как холодные вареные макароны с застывшим жиром. — Кого он видит перед собой? Неужели — меня?»

— Ну ладно! — закричал директор. — Повеселились и будет! Надо все тут зачистить, Леон. Может, выпьешь, сержант? — неожиданно обратился он к Волостнову. — Я говорю, водки...

— Спасибо. — Иван Антонович встретился. — Нет, не хочу.

Сын отполз в сторонку, вскочил и бросился к своему велосипеду, прислоненному к штабелю целлюлозы.

— Витя! — крикнул Волостнов. — Да погоди же!..

Но тот вскочил на велосипед и помчался в темноту к переезду.

Иван Антонович не мог бежать. Вернулась боль в боку, разлившаяся по всему телу. Тяжело дыша и сплевывая на булыжник, которым была вымощена поднимавшаяся от переезда улица, он миновал ряд желтых двухэтажных домиков, выбрался на выложенный цементной плиткой тротуар и побрел к Семерке. Мимо едва различимой в темноте громадины школьного здания под черепичной крышей, с башенкой над часами, в которой жил ржавый золотой петушок. Мимо старого немецкого кладбища с повернутыми лицом друг к другу памятниками русским и немецким жертвам первой мировой войны. Мимо водонапорной башни с острроверхим жестяным колпаком, увенчанным позеленевшим медным шаром. Свернул в Семерку, выложенную в несколько слоев красным кирпичом (плашмя, потом на торец, снова плашмя и опять на торец, и нет износу такой дороге). В глазах потемнело. Покачнувшись, он сделал несколько шагов и рухнул на четвереньки. Вырвало. Дрожащими руками нащупал спички в кармане, кое-как вытащил, зажег. На тротуаре растеклась кроваво-зеленая лужа. Боль сотрясала тело, билась в голове. Навернулись слезы, и это возмутило Волостнова: не доставало еще разнюниться. Никто и никогда не видел его слез — и не увидит. Это

тот, другой, готов разрыдаться, воззвать к жалости, позвать детей и жену, каяться и молиться... Или это он готов? Или это он, незаметно для себя и окружающих, стал другим?

Включив свет в гостиной, он услышал какой-то странный звук, доносившийся из кухни. Волостнов перевел дыхание. Он весь был мокрый. Сердце из последних сил прыгало в кипятке. Каждый шаг давался с преогромным трудом. Прежде чем двинуться в кухню, он прислонился боком к стене. Отдышался. Все в порядке. Он не поддастся на эти уловки жизни. И на уловки смерти — тоже. Он сильнее, чем они думают. Все в полном порядке. Часы постукивают. Ключ на латунном крючке. Волостнов держится на ногах, не кричит и не плачет и не нуждается ни в ком другом. Из Сталина сделают картон, потом толь, потом покроют сараи. Ну и что? Значит, таков порядок. Это не значит, что он должен сдаться.

Наконец он шагнул к двери, ведущей в кухню. Нет, он не станет звать ни Софью, ни Катю, ни Андрея... ни жену... Ничего не случилось. Его бил озноб. В кухне темно. Кто-то сопит. Или хнычет? Иван Антонович, стараясь не делать резких движений, коснулся кнопки выключателя. Это Вита. Сын обернулся, сжался, схватился руками за горло, чтоб задушить рвущиеся изнутри звуки. Э, да он плакал...

— Не плачь, — прошептал Волостнов. — Помоги мне добраться...

Парень вскочил, попятился, сбив табуретку, испугался шума.

— Не уходи... Я обойдусь, но ты не уходи... — Иван Антонович покачал головой. — Ладно... просто побудь здесь... где-нибудь...

Он повернулся к сыну спиной и широко — не рассчитав — шагнул — и тотчас упал лицом вниз. В последний миг успел выставить перед собой локти, но удар все равно был так силен, что он потерял сознание. Один. Это хорошо. Очнувшись, пополз к лестнице, ведущей наверх. Вспомнил о тетрадке с одной-единственной строчкой, с одним-единственным словом — «завещание». Надо уничтожить. Вот стыдоба-то, скажут люди, совсем сбрендил Волостнов, завещание вздумал писать. Уничтожить. Он встал на четвереньки, огляделся. Перед глазами все поплыло. Неслышно подобравшийся сзади сын неуклюже попытался поднять отца, обхватив его руками за туловище. От боли Волостнов замычал. С перепугу Вита отпустил отца — тот едва удержался, чтоб не упасть на колени. Помавил сына — тот ползет под его руку, напрягся. Шатайся, они начали подниматься по лестнице, ваяясь то на стену, то на перила.

Другой, вдруг снова вспомнил Иван Антонович, неужели он стал другим? Вроде бы нет. В таком случае не остается ничего иного. В таком случае он обязан держаться за тот порядок, который сам же когда-то и установил. Все другие порядки — ложны.

Нет, он не станет звать детей и жену, не из таковских. И не беда, что ему нечего завещать. Одной смертью жизнь не изменит-

ся. Так всегда в России было, тысячу лет: мир рушится, а жизнь продолжается, и только в этом и спасение, и только те и спасаются, кто наловчился жить в постоянно рушащемся мире. Волостнов не исключение. Поэтому смерть ничего не значит. По крайней мере — в этом мире.

Вита помог ему добраться до тахты. Прежде чем улечься, Иван Антонович вырвал из тетрадки листок со словом «завещание» и сжег его в пепельнице.

Утром он очнулся от резкой боли. Кое-как сполз с тахты, еще сохранившей память о запахе дочерей, и попытался встать. «Надо выпрямиться. Не могу, а надо. Во что бы то ни стало. Ничего другого не остается».

За окном было еще темно.

Каждый шаг отдавался болью во всем теле. На лестнице ему стало плохо. Зрение отказало: перед глазами плыло зеленое с красным. Хватаясь влажными руками за перила, спустился вниз. Воздух казался ледяным, хотя в доме было тепло. В гостиной горел свет. Иван Антонович слышал громкое тиканье часов — двинулся на звук. Застывшая зрение красно-зеленая пелена потускнела и словно опала. Он увидел часы, он увидел потную спину Виты, сидевшего перед часами на корточках. Волостнов хотел на него прикрикнуть, но воздуху — да и сил — не хватило. Весь дрожа, он застыл на месте, боясь отпустить перила. Ему было хорошо видно, как Вита осторожно вставил ключ в отверстие и нерешительно повернул ключ по часовой стрелке. Правильно. Но почему же нет воздуха, удивился Иван Антонович, куда он подевался вдруг? Ключ с тонким хрустом повернулся в скважине. Еще раз. Еще. Хватит. Словно услышав безмолвный приказ отца, Вита рывком вытащил ключ и повесил на латунный крючок. Обернулся, с улыбкой посмотрел на отца.

— Не бойся, — прошептал Волостнов. — Только не бойся меня... не надо...

Мир рушится, жизнь продолжается. Часы начали бить.

Иван Антонович осел, опустился на ступеньку, привалившись плечом к стене. Зрение вновь померкло. Вытянул перед собой подрагивающую руку, нащупал стриженую Витину голову, притянул, прижал, коснулся губами, снова прижал к себе, — единственный, кто у него остался, этот безумный переросток, жалкий, лишенный разума, но не любви, нет, не любви, — и со страшным выдохом вытянулся во весь рост боком на ступеньках, и последний удар часов прозвучал уже после его жизни...

ТРИ КОШКИ

Старуха Три Кошки жила в подвале на Семерке. Ей много раз предлагали комнату, но она наотрез отказывалась. В городке у нее родственников не было, писем она не получала, хотя раз в год и посылала кому-то открытку в глухо запечатанном конверте. Целыми днями она бродила по городку, заложив руки за спину, и за нею текли, извиваясь, две блестящие, как змеи, кошки (третьей считалась сама старуха). По субботам и воскресеньям она торговала на базаре овощами, а также плетеными корзинами собственного изготовления. Корзины брали плохо.

Вечером, поплевав на пальцы, она выкручивала лампочку, висевшую на голом шнуре под потолком, и укладывалась на хрустящем тюфяке, брошенном на сколоченный из горбыля щит. Рядом пристраивались кошки. На вбитом в стену гвоздице висела подаренная Буянихой зимняя ватная фуфайка, в углу стоял грубо сколоченный табурет, притащенный старухой со свалки. Никто никогда не видел, чем она питается. В магазине она покупала лишь хлеб.

Говорили, что тюфяк ее набит деньгами. Когда ее прямо об этом спрашивали, она поднимала крошечную головку, украшенную личиком размером с детскую ладонь, и с вызовом отвечала: «Сокровище-то есть, да не про вашу честь».

О смерти ее узнали по протяжному вою кошек, которые, когда пришли люди, с воплем метнулись в коридор и навсегда растворились в подвальной темноте (и годами потом тревожили жильцов своими плачущими голосами, легко проникавшими сквозь толстые стены прямиком в человеческие сердца).

Перед кончиной она сожгла все свои документы, включая паспорт и пенсионную книжку, — причуда сбрендившей старухи. В

мертвой руке был зажат листок плотной бумаги, исписанной каллиграфическим почерком с «ятями» и «ерами»: «Дорогая — самая дорогая — моя Катенька! После Перемышля я вновь в госпитале. Здесь я близко сошелся с австрийским поручиком Клаусом Вегенером. Со дня на день он отправляется с командой военнопленных в первопрестольную, а оттуда, по всей видимости, в Кострому. Он и взялся передать вам эту весточку от меня. Боюсь, нам уже не свидеться, и это чувство сливает воедино все мои воспоминания. Прошлое — единственно доступная нам вечность. Я никогда не забуду той ночи, той раскрытой и словно трепещущей рояли у окна, выходящего в сад, того пышного куста сирени, облитого дождем и пылающего лунным светом. Я унесу с собою воспоминание об вашей высокой груди, об чистом, как золото, животе и влажноватой нервной спине под моими губами... Простите мне эту последнюю дерзость, но я уже не отличаю правды от вымысла. Уповая на милость Божию и вашу любовь, остаюсь преданный вам — уже навеки — Никлас Меншиков, ваш смешной Колясик. 12 апреля 1915 года».

В кое-как сколоченном гробу, среди вороха темного тряпья теплилось личико размером с детскую ладонь, обращенное к небу, где ее высокую грудь, чистый, как золото, живот и влажноватую нервную спину ждал преданный ей навечно Колясик.

Тюфяк ее и впрямь оказался набит бумажными деньгами — главным образом мятыми рублями и трешками. Денег хватило и на похороны, и на поминки.

ФАШИСТ

Когда в низине, посередине которой на шлаковой насыпи был устроен стадион, бульдозерами и тракторными плугами принялись ровнять площадку под будущий сад, из земли вывернули толстые пласти алюминиевых и медных монет — со свастиками, односторонними орлами, портретами солидных мужчин в касках с шишаком и без. Кто-то вспомнил, что, по рассказам живших здесь немцев, когда-то тут стоял банк, разбомбленный английскими самолетами, которые весной сорок пятого взлетали с Борнхольма. Возбужденные мальчишки, набив мелочью карманы, принесли на Семерку весть о несметных сокровищах, и сотни людей ринулись на луг, прихватив ведра, мешки и лопаты. И только дед Муханов, посасывая вечную сигарету, набитую вместо табака грузинским чаем высшего сорта, с презрительной миной наблюдал в подзорную трубу с крыши своего дома за людским муравейником, бурлившим в круг беспомощно замерших бульдозеров и тракторов.

Одержимее всех, разумеется, работал Витька Фашист, бешено подгонявший Таньку Фашистку, четверых своих фашистят и тещу Говнилу. Все, как на подбор, маленькие, жилистые, желвакастые, они копали и перетряхивали землю со скоростью крота, спасающегося от лопаты садовода. Наполнив ведро, Витька вручал его жене или кому-нибудь из детей и, вскочив на набитый медью огромный мешочнице, следил, чтоб ведро было донесено без потерь. «Люська! — визжал он. — А ну собери!» И старшая девочка, уже совершенно умученная, послушно опускалась на четвереньки, чтобы отыскать в траве рассыпавшиеся монетки. Стемнело, когда Фашист, взвалив жене на спину тяжеленный мешок, с рвущим душу хыханьем потащил на пару с тещей длинную цинковую ванну, в которой когда-то купали детей, а потом замачивали белье и готовили

кормежку для свиней. Ванна была доверху, с горкой, насыпана денежками.

Они заняли пфеннигами половину подвала. Пока теща с женой кормили скотину, доили изрежевшую корову и укладывали сомлевших детей, Витька стучал молотком в подвале, приделывая дополнительные щеколды и навешивая новый замок, ключ от которого уже за полночь спрятал под черепицей на крыше свинарника.

Утром он еле встал, хотя к тяжелой работе был привычен. Завтрак ему подала теща. Она сказала, что Таньке нездоровится.

— Чего? — хмуро поинтересовался Витька, машинально пережевывая яичницу с тощей колбасой. — Курей покорми, я вчера зерна привез...

— Чего-чего... — Теща тяжело вздохнула. — Сердце у нее. Я ж тебе сколько раз говорила...

— Говорила, — недовольно пробурчал Витька. — У всех сердце. Ладно, поехал я.

Вернувшись из рейса, он узнал, что Танька умерла. Он расстроился: не успели перед смертью даже словом перемолвиться. Теща рассказала, что весь день Танька лежала и лишь однажды пожаловалась на удушье. Когда ушли встречать корову с пастбища, она и скончалась. Одна.

На поминках Витька бдительно следил, чтобы у гостей было вдоволь водки и закуски: не хватало еще, чтоб в такой день его попрекнули жадностью. Довольно и того, что вся Семерка жалеет Таньку, которую муж заездил.

Уложив детей, Витька и Говнила допоздна мыли посуду. Убравшись, сели за стол в кухоньке — перекусить остатками поминального обеда и выпить на сон грядущий.

— Ну, помянем. — Витька поднял рюмку и внимательно посмотрел на тещу: крепкая, низенькая, с широким нежирными ляжками и нахальным лягушечьим ртом, она выглядела моложе вечно усталой, тихо ноющей дочери. — Ты-то чего развздохалась, как больная корова? Ешь, пока есть.

— Я не больная! — запротестовала теща. — Я тебе не она! А ей... что ж, пусть ей на небе хорошо будет...

— На небе... Ладно! Спать пора, пошли.

В спальне он не позволил ей выключить свет. Пока она, поеживаясь от смущения, торопливо раздевалась, он обошел ее кругом, потрогал холодными пальцами бока, наконец изрек:

— Теперь выключай.

На следующий день, не поднимая глаз от тарелки, он сообщил детям, что теперь у них вместо матери будет баба Катя.

— И что же — я теперь ее мамой должна звать? — так же не поднимая глаз от тарелки и от волнения сглатывая гласные, спросила Люся, старшая.

От удара в ухо она упала со стула.

— Всем ясно? — Витька обвел тяжелым взглядом замерших малышей и уставился на Люсю, неподвижно лежавшую у стены. — За тебя кто доедать будет? А ну к столу!

В детстве ему хотелось, чтоб его называли чекистом. У всех детдомовцев были прозвища, у него же — лишь фамилия: Курганов. Такая же была у начальника их детдома, однорукого фронтовика с лицом грубым и выразительным, как топор. Начальник никогда не улыбался, всегда и со всеми разговаривал, будто с трудом сдерживая ярость, и к воспитанникам обращался — «товарищ». Витька был товарищем Кургановым. Однажды за начальником пришли двое в одинаковых плащах. Лицо у Курганова дрожало, единственную руку он заложил за спину, но Витька видел: рука дрожала — от локтя до кончиков пальцев. «Чекисты, — шепотом объяснила фельдшерница Анна Павловна, которую взрослые между собою звали Мартовской Бабой: при виде мужчин она таяла, как снеговик весной. — Щит и меч революции. Мущины-ы...» Что такое «щит и меч революции» — Витька тогда не понял. Но ему тотчас захотелось стать чекистом. Или хотя бы получить прозвище — Чекист. Чтоб боялись, чтоб не смели обижать, чтоб не отнимали хлеб и маргарин. Когда ему исполнилось тринадцать, кастелянша тетя Ниночка подарила ему дерматиновую курточку, так похожую на кожаную, и тем же вечером он вывел на спине масляной краской — «чекист». Прозвали его, однако, Фашистом. Был он мал ростом, прожорлив и пучеглаз. Вечно он что-то жевал, неприятно впечатляя окружающих слишком живой игрой мускулов на лице и слишком широкой нижней челюстью. Он люто завидовал более казистым сверстникам, которым старшие девочки позволяли, вечерами в детдомовском саду, залезать под платье или за вырез кофты. Завидовал тем, кто не припрятывал хлеб на черный день, а съедал тотчас, за столом. Завидовал и тем, кто умел красно нафантазировать о своих родителях или о будущей, последетдомовской красивой жизни. Витька только ехидно шурился и цедил: «Брехуны», за что его не любили, — и все и без того знали, что рассказчик лжет, но все именно этого и хотели. Впрочем, избить его безнаказанно никому не удавалось. Он вцеплялся в противника мертвой хваткой и, хоть убей, не отставал, пока не добирался зубами до вражеского уха или пальцев. Но, когда тетя Ниночка попросила его зарубить курицу, Витька рухнул в обморок с топориком в руках, — птица же с окровавленной измочаленной шеей бегала по двору, потом забилась под крыльцо, откуда ее вытащили и тотчас разорвали детдомовские псы Пат и Паташон.

Оставаясь один, Витька любил наблюдать за своей тенью. Он разводил руки в стороны, напрягал мышцы, поворачивался так и

сяк, любуясь огромной, грозной и такой красивой тенью настоящего Чекиста, которого эти недоумки прозвали Фашистом...

После детдома он поработал слесаренком в Гараже, отучился на курсах при военкомате и отслужил в армии действительную. В Гараж вернулся шофером второго класса. Постепенно приобрел репутацию горлодера и зануды. Вечно скандалил из-за путевок и премий, в разговорах с начальством, по примеру старых рабочих, был уклончиво-агрессивен, никогда не участвовал в складчинах и всегда жаловался на бедность, хотя зарабатывал не хуже других. До тридцати он не женился.

Когда в аварии погиб Костя Ходоров, Витьке пришлось по поручению профсоюза заниматься устройством похорон, поскольку вдова слегла с сердечным приступом. На кладбище ее пришлось поддерживать, чтоб не упала. Домой он отвез ее на своем грузовике. На следующий день зашел в аккумуляторную, где работала ее мать, и сказал, глядя в сторону: «Ты передай там Таньке: я б женился на ней...» Языкастая Говнила нахмурилась. «На кой ей такие мымрики?» Дочь была от несчастливого брака, и Говнила считала Таньку в том повинной: уходя, муж заявил, что не может больше выносить дочкиного нескончаемого скулежа. Да вдобавок девочка выросла болезненной. Матери, передавшей Витькино предложение, Танька сказала со вздохом: «Как хочешь, мама. Витька так Витька. Выбирать не приходится». От Кости у нее осталась дочь Люся. Еще две девочки-близняшки и мальчик Женя были нажиты с Витькой, за которого Танька вышла еще до истечения года со дня смерти мужа.

Все жители городка держали хозяйство, кто большое, кто какое-никакое — кота да десяток кур, — но Витька всех перещеголял. Корова, телка, бычок, четыре свиньи, два десятка овец, да кролики, куры, гуси, утки, пчелы, да сад, огород в десять соток — под картошкой, — и все это в его отсутствие сваливалось на Таньку с Говнилой да на детей. Возвращаясь из очередного рейса, он тотчас жадно бросался чинить заборы, крыши, добывать комбикорм, резать поросенка, косить, гонять детей на огород — пропалывать картошку и собирать колорадского жука. При этом тотчас же начиналась и война с соседями, чьи куры забирались в его сад, мальчишки — в огород, а собаки гоняли его овец. Выпучив глаза и трясясь от ярости, он без удержу орал, то и дело срываясь на визг, бил палкой чужих кур, собак и детей и норовил влезть в драку с упрямыми соседями, которые все чаще вспоминали его детдомовское прозвище — Фашист. После же того, как он чуть не оторвал ухо Коляньке Горелову, — было много крови, ухо пришлось подшивать в больнице, и Витька с трудом откупился от Гореловых пятью литрами водки и полуведром меда, — его уже никто иначе и не звал. Только — Фашист. Витька Фашист. Жену — Танькой Фашисткой, хотя она и не была скандалисткой. Детей, разумеется, фашистиками.

Диспетчер Клара Михайловна вышла замуж и уехала, и Говнилу, бабу грамотную и чистую, посадили на ее место. Теперь Витьке не стоило большого труда выбить выгодный рейс — в Волгоград ли с полной фурой конфетных фантиков, в Ташкент ли с прицепом, набитым рулонами толя. Питание всухомятку, ночные бдения за рулем тяжелого грузовика, тревожный сон урывками в кабине, разраставшееся домашнее хозяйство, злобное горение в нескончаемых битвах с соседями — все это постепенно иссушало мясо на костях и наливало его выпученные глаза светом, какой бывает у дорогих, но мертвых камней.

Жена-теща старела быстрее, чем выросла дочь Люся — белокурая, рослая (в покойного отца), с полными ногами и лицом. Измочаленная службой и хлебом, Говнила все чаще ложилась спать с боявшимся темноты младшеньким Женей, а Витька все чаще задумчиво поглядывал на Люсю. Из Ташкента он привез ей красивый халат и шитую серебром тубетейку, и страшно разобиделся, увидев халат на Кате, а тубетейку на Жене. Хотя Люсе не исполнилось и шестнадцати, ей выделили отдельную комнату, — «Девка уже заневестилась», — сказал Витька, по обыкновению своему не поднимая глаз от тарелки. Однажды поздно вечером он вошел к ней с большим кульком шоколадных конфет, которые высыпал на ее постель. Люся отползла к стенке и уставилась на Витьку полными ужаса глазами. Короткий выцветший халатик задрался, и Витька никак не мог отвести отяжелевшего взгляда от ее полных бедер. «Тебе чего? — спросила девочка, от волнения сглатывая гласные. — Я спать хочу, папа...» Натянула на ноги одеяло и закрыла глаза. «Папа. — Витька перхнул. — Ешь конфеты». И ушел. Перепуганная Люся послушно съела все конфеты, швыряя фантики на пол.

— Она ведь тебе не родная, — осторожно напомнила Витьке баба Катя. — Костиная кровь.

— Ну и что? — насторожился Фашист.

— Ничего. Она скоро в самый раз будет... еще детей нарожаете...

Сказав, зажмурилась в ожидании удара, но Витька лишь сердито фыркнул и ушел в подвал.

Он любил проводить тут время в полном одиночестве, задумчиво перебирая пфенниги, разговаривая с собой или даже выпивая немного водки. Ни Говнила, ни дети не отваживались нарушать его уединение, как никто не отваживался спросить, о чем он думает там, в подвале, сидя на низкой скамеечке перед огромной кучей тусклых, никому не нужных монет. Не спрашивали. Быть может, боялись ответа.

Маленький Женя видел, как летним вечером Люся с каким-то парнем забралась в полузасыпанный подвал возле продовольствен-

ного магазина. В те годы в городке было много развалин, заросших бузиной, — их называли «разбитками», — оставшихся с войны фундаментом разбомбленных домов с подвалами, где дети играли в прятки и справляли нужду. В такое-то подземелье и забралась Люся. Они с ухажором подлезли под косо висевшую бетонную плиту перекрытия и расположились на полу. Женя видел, как под разворачивавшимся тяжелым грузовиком просел невысокий холм над подвалом, но не слышал ни всхлипа, ни крика. Узкий лаз вдруг затянуло пылью, раздался тяжкий хруст — и все. Прибежав домой, мальчик долго ничего не мог рассказать. Катя отпоила его с ложечки. Наконец он обрел дар речи и отвел взрослых к подвалу. Витька бросился внутрь и в темноте принялся с ожесточением раскидывать кучу кирпичных обломков. Кате с трудом удалось вытащить его наружу. Руки его были в крови. Пока нашли автокран и уговорили Кольку Урблюда сесть за руль, совсем стемнело. При свете автомобильных фар (Витька пригнал из Гаража свою машину) и костров к утру смогли поднять бетонную плиту. При падении она переломилась, и выпершая арматура проткнула незадачливых любовников. Витька отвалил тело парня на кирпичи, подхватил Люсю на руки и отнес домой, прижимая ее лопнувший живот к своему.

— Ну уж она-то точно попадет на небо, — проговорила после похорон Говнилы.

— Что-то многовато на этом самом небе населения, — пробурчал Витька. — С Китаем наберется.

Его мучило, что так и не удалось узнать, откуда и чей был парень: ни среди своих, ни среди приезжих не числился, — может, с того же неба китайского свалился Люсе на беду?

Кроме детей и разом постаревшей Говнилы, никто и не знал, что после рейсов Витька заперся в подвале и, выпив бутылку крепкой водки, долго, дико и бессмысленно кричал в полной темноте, пока не сваливался без сил на кучу монет. Баба Катя сидела на стуле у входа в подвал, следя, чтоб никто не потревожил Витькин сон. Но как только он просыпался и начинал шевелиться в темноте, она на цыпочках убиралась наверх, держа перед собою стул и надсадно дыша.

Витька перебрался жить в Люсину комнату, баба Катя с красавчиком Женей — в бывшую супружескую спальню, и молчаливые, скрытные близняшки остались вдвоем. Они были неразлучны. Обнаружив однажды, что девочки, на попечение которых оставляли Женю, раздевали мальчика догола и кололи швейными иголками, Катя страшно раскричалась и отхлестала наглядок по щекам. Они даже не заплакали. Глядя на нее исподлобья, Вера (или Люба? — их вечно путали) зло прошипела: «А ты сама с ним голая

спишь!» Говнила разрыдалась: это было правдой. Женя, которому и в двенадцать не было пяти, до судорог боялся темноты. Стоило выключить свет, как он начинал жалобно стонать и всхлипывать. Успокаивался лишь в постели бабушки. Иногда выручала соска. Нажевав макового зерна, Катя давала его мальчику в тряпчатном кулечке. Витьке об этом она не рассказывала.

А он никогда и не пытался понять, чем живут его дети. Сын жил такой же жизнью, что укроп или овцы, на дочерей же Фашист, как и все отцы в городке, и внимания не обращал. Застав их однажды в саду, где девочки, раздевшись, страстно целовались и ласкали друг дружку, он рассказал об этом Кате. «А ты думаешь, почему они от ухажоров бегают? — проворчала теща. — Двухсбруйные...»

Каждый год через городок проходили цыгане. Для стоянки им отводили место на берегу Лавы, напротив Красной столовой. Вечерами на берегу между фургонами горели костры и перекликались выпряженные лошади. Днем смуглые мальчишки бросались ничком на тротуар и кричали: «Дяденька, дай десять копеек, — на пузе спляшу!» Для жителей близстоящих домов время делилось на «до цыган» и «после цыган»: пропадали куры и одежда из прихожих, горластые бабы, обвешанные малышами, стучали во все двери и предлагали погадать. Больше всего женщины боялись, что цыгане украдут детей, и, хотя был всего один случай, когда пятнадцатилетняя девочка сама ушла с табором (и дошла с ними до старинного рязанского городка, где цыганам удалось наконец от нее отделаться: ее приняли в семью оседлые сородичи, заставившие ее пасти свиней; мать-пьяница была только рада такому обороту и при случае под историю о пропавшем ребенке успешно клячила на стаканчик красного; девочка же прижилась в новой семье, вышла замуж, родила шестерых, очень быстро превратилась в старуху, проводившую вечера на лавочке с местными бабками, не одобрявшими лишь ее пристрастия к курению трубки), после ухода цыган участковый Леша Леонтьев всякий раз спрашивал встречных-поперечных, пересчитывали ли они детей.

На этот раз недосчитались Жени Фашистика.

Витьке сообщили об этом, когда он загонял грузовик в бокс.

— Куда они поехали?

— На Вильнюс.

Так и не прикурив папиросу, уже зажатую в зубах, он подал машину назад, сбил грудой каких-то ящиков и вывернул к воротам.

Прибывшие на место происшествия милиция, скорая и пожарные обнаружили заваленную разбитыми и горящими повозками машину, бьющихся в постромах лошадей, вопящих мужчин и женщин, — Витька протаранил караван на полном ходу, и чудо,

что никто серьезно не пострадал. Кроме самого Витьки, которого с трудом извлекли из кабины. Незажженная папироса торчала белым пальцем в сведенном судорогой рту. Цыгане умоляли милиционеров не заводить дела: «Возблагодарим Бога — никто не погиб!»

Женю же нашли спящим на чердаке.

Спустя несколько месяцев Витька вышел из больницы. Он с трудом передвигался на костылях. В дождливую погоду — а дожди у нас иногда идут триста шестьдесят дней в году — он страдал от болей в позвоночнике. Совершенно облысевший, с седыми бровями и болезненно-растерянным выражением лица, он ковылял по дому и двору, брезгливо сторонясь собственной тени. Он не мог взобраться на крышу свинарника, чтоб достать из тайника ключ от подвала, — поэтому в подzemелье он больше не спускался. Пытаясь уснуть, он мысленно пересчитывал монеты, складывая их столбиками, выраставшими в колонны, которые подпирали ночное небо. Колонны дрожали, шатались, и Витька боялся, что вместе с ними рухнет и небо — на хрупкий плоский мир, к которому люди привязаны своими уродливыми тенями.

Теща и строптивые близняшки не могли тянуть большое хозяйство. Они были удивлены и обрадованы, когда Витька велел пустить живность под нож. Оставили корову да три десятка кур. Вырученные деньги потратили на платья для Веры и Любы. Пучеглазые девушки целый день демонстрировали отцу обновки. Он кивал, смахивая слезы с ресниц и жалко улыбаясь.

С такой же жалкой, неумелой улыбкой он все чаще выбирался на улицу и пытался заговаривать с прохожими или с бабками на лавочках. Поначалу люди шарахались от Фашиста, потом привыкли и уже просто отворачивались или, не дослушав, бежали дальше. Он не обижался. Однако, когда король Семерки Ирус, выведенный из себя его бессвязными воспоминаниями о небожительнице Люсе, заорал: «Да ее тут только ленивый не трахал!» — Витька довольно ловко избил парня костылем, и бил, пока Катя не утащила его на себе домой.

По ночам, устав пересчитывать монеты, он задавал себе один и тот же вопрос: зачем жить дальше? Представлял себе все эти будущие бессонные ночи, шатающиеся колонны из пфеннигов, тупенькие лица дочерей, выходящих к завтраку с набрякшими после трудов любви подглазьями, красавчика Женю, старуху Катю, у которой давно не было сил, чтоб оправдывать прозвище Говнила, запаха низкорослой ромашки, заполонившей двор, и скрип грабов вдоль забора, и два светло-серых камня на кладбище с овальными портретами Таньки и Люси, и соседей, при виде Фашиста перевоплощавшихся в торопливых прохожих, и бессмысленные облака, и

никак не останавливающиеся реки... Ему не хотелось жить. Но он слишком привык к жизни, чтоб любить ее или даже ненавидеть.

Само собой разумеется, что Витька никому не рассказывал, зачем ему вдруг понадобилось столько брезента. Он скупил в магазинах все залежи туристских палаток и пастушьих плащей. Вооружившись толстенной иглой, он принялся шить во дворе что-то непонятное и огромное. Больше он не таскался по улице с видом побитой собаки. Торопливые прохожие перевоплотились в любопытных соседей, но Витька отвечал на их вопросы чрезвычайно уклончиво, хотя и без злобы. Еще он вязал крупноячеистую сеть таких размеров, что ею запросто можно было бы поймать пару-тройку синих китов, если бы, конечно, они рискнули заплыть в Преголю. Закупил метров пятьсот толстой веревки. Заказал деду Пихто ивовую корзину, в которой могли бы без стеснения разместиться три годовалых бычка, корова и корм для всей этой живности. И лишь когда он попросил Кольку Урблюда подъехать в назначенное время с компрессором, младший Муханов сообразил:

— Ты делаешь воздушный шар. Я прав? Куда ж лететь собрался, Фашист?

Витька пожал плечами.

— Отсюда. А куда... вынесет куда-нибудь...

— Отсюда. — Урблюд зачарованно улыбнулся. — Будет тебе компрессор, дорогой ты мой гад ползучий.

Со всей Семерки сбежали люди, чтобы помочь Витьке перетащить шар на стадион. Брезентовую оболочку, из которой торчали резиновые трубки, упрятали в веревочную сетку. К плетеной корзине была приделана крышка, призванная спасать от ненастья. Внутри Витька разместил купленную по такому случаю корову, пяток кур с пегухом, копешку свежего сена, мешок зерна и керосинку, на которой намеревался готовить пищу. В углах аккуратно сложил продукты — сало, яйца, муку, бутыл с подсолнечным маслом, мешок картошки, десять буханок ржаного хлеба, пачку соли «экстра», куль макарон, коробку пиленого сахара, а также два ножа, вилку и алюминиевую ложку, кастрюли — большую и две поменьше, сковородку средних размеров. В ящик сложил топор, пилу-ножовку, гвозди, молоток, рубанок, долото, зубило, набор гаечных ключей, ручную дрель, отвертку, моток проволоки и два мотка капроновой веревки, иголки, несколько тюбиков клея, два электрических фонарика — один с батарейками, другой с динамо-машинкой. Катя принесла две сменные белья, полотенца и непчатое мыло в бумажке, а также пачку стирального порошка «Лотос». Близняшки завернули в полиэтиленовый пакет паспорт, военный и профсоюзный билеты, трудовую книжку, справку об инвалидности и выписку из домоуправления об уплате за квартиру, воду и электроэнергию.

— А карта где? — вдруг спохватился Витька. — А ну-ка! Вера с Любой побежали лугом домой — за картой.

Тем временем мужчины помогли Витьке подвесить к корзине мешки с грузом.

— Чем ты их набил? — спросил Ирус, вытирая пот со лба.

— Фениками, — ответил Витька. — Чего им в подвале без толку гнить.

Катя вытерла передником глаза.

— Я ж тебе предлагал, — пробурчал Витька. — Вольному воля.

— Какая я вольная? — Теща всхлипнула. — А Женю я на кого оставляю?

— Держи курс на Сибирь, — посоветовал Муханов-младший. — Урал перевалишь, а там рукой подать.

Муханов-младший лет двадцать странствовал по России, раз в год напоминал о себе отцу открыткой с обратным адресом «Сибирь, до востребования», прежде чем вернулся навсегда в городок и прославился как создатель самых кособоких в мире гробов и самых ненадежных в мире лодок. В компании, собиравшейся вечерами в Красной столовой, он любил рассказать о загадочной стране, раскинувшейся за Уралом: о драгоценных камнях и золотых слитках, нарытых вручную в горах; о белых медведях и амурских тиграх; о беглых каторжниках, питавшихся человечиною и шедших на запад, ориентируясь на запах женского тела; о камчатских собаках, воротивших нос от красной икры; о бродягах, питавшихся исключительно одеколоном и кедровыми орехами; о гигантских реках, по которым весной поднимались стада китов; о бескрайних лесах, скрывавших беглых крестьян со времен Ивана Грозного и Петра Великого...

— Может, и в Сибирь, — уклонился от прямого ответа Витька. — Там видно будет.

— Всем хочется улететь в страну Хорошая Жизнь, — сказала Буяниха. — А прилетишь, осмотришься и поймешь, что страна-то — Другая Жизнь, всего-то.

Наконец близняшки принесли все карты, какие только нашлись в доме: автомобильный атлас 1957 года выпуска и карту звездного неба.

— В самый раз, — сказал Муханов-младший. — Тебе ж по небу лететь, а не грузовиком править.

Подъехал Колька Урблюд на грузовике с прицепленным компрессором. Машина загрохотала. Через несколько минут зашевелились брезентовые складки оболочки, что вызвало радостное оживление среди провозжающих. Когда наполненный воздухом шар, напоминавший печеное яблоко, приподнялся над травой, Урблюд на радостях откупорил бутылку водки. Выпили на посошок. Помогли Витьке забраться в корзину.

— Господи! — воскликнула Буяниха. — Да неужто полетит? Как во сне.

— А куда ему деваться? — удивился Муханов-младший. — Ты глянь, сколько народу собралось. Ему ничего другого не остается, как полететь. А, черт! Зараза!..

Проклятье было адресовано компрессору, который вдруг закашлял, зачихал, взревел и заглох.

Колька бросился к машине. Тотчас собрался консилиум знатоков, пришедший к неутешительному выводу: «зараза» работать больше не будет. Заспорили: искать другой компрессор или гнать в ремонт этот?

— Что так, что этак, — со вздохом сказал Урблюд. — Пока будем гонять туда-сюда, шар спустит.

Опять заспорили: спустит или не спустит?

— А может, дунем? — подал вдруг голос из корзины Витька.

Он обвел взглядом притихшую толпу и, зажмурившись, прокричал:

— Ребята! Давайте дунем! А? Нас вон сколько!

Колька Урблюд с сомнением покачал головой.

— Духу не хватит: народ-то мелкий.

— Хватит! хватит! — закричал плачуще Витька. — Ну, ребята! Кого чем обидел — простите! Не держите зла! Ведь насовсем улетаю! Дунемте! Духу хватит! хватит!

Урблюд со вздохом («Ну что с ним делать, с этим гадом?») взял резиновую трубку и дунул. Кто-то хихикнул. Колька обернулся, побагровел. И принялся дуть всерьез, пока его не оттащили в сторонку отлежаться.

И тогда народ кинулся к шлангам. Дула Буяниха, дула старуха Граммофониха и старуха Три Кошки, дул парикмахер По Имени Лев и председатель поссовета Кацнельсон по прозвищу Кальсоныч, дула Ванда Банда, женщина-геркулес, разрывавшая руками надвое живую кошку, и даже дед Муханов ради такого случая нехотя слез с крыши, откуда в подзорную трубу наблюдал за стадионом, и, впервые, наверное, в жизни вынув изо рта сигарету, набитую грузинским чаем, — дунул что было сил...

Шар разглядился, корзина оторвалась от земли.

— Руби! — закричал Фашист, срываясь на визг и размахивая костылем. — Ребята...

Но тут грянул давно ждавший своего часа паровой оркестр, обычно игравший на свадьбах, похоронах и футбольных матчах, и Витькин голосок утонул в реве труб и натруженных дутьем глоток. Урблюд перерезал последнюю веревку, корзина подпрыгнула, и шар стал стремительно набирать высоту — под восторженный лай собак, крики людей и негромкий плач Говнилы, оставшейся на земле доживать эту жизнь без Фашиста, отважно пустившегося в путешествие в бесчеловечных пустынях новой жизни...

СИНДБАД МОРЕХОД

Перед смертью Катерина Ивановна Момотова велела позвать доктора Шеберстова, у которого лечилась всю жизнь и который давно находился на пенсии. Она вручила ему ключ от своего домика, свернутый вчетверо листок бумаги и попросила сжечь этот листок вместе с остальными.

— Они у меня дома, — смущенно пояснила она. — Только никому не говорите, пожалуйста. Я бы и сама... да видите — как все обернулось...

Доктор вопросительно поднял бровь, но старуха лишь виновато улыбнулась в ответ. Она была совсем плоха: умирала от саркомы. Лечащий врач сказал Шеберстову, что до утра она вряд ли дотянет.

На лавочке у входа в больницу покуривал участковый Леша Леонтьев, казавшийся рядом с громоздким Шеберстовым подростком в милицейском мундире. Его фуражка с выгоревшим околышем лежала в мотоциклетной коляске.

— Не желаешь прогуляться? — поинтересовался доктор, глядя поверх головы Леонтьева на мошек, круживших возле бледного уличного фонаря, вознесенного на позеленевший от сырости деревянный столб. — К Момотовой Кате.

— К Синдбаду Мореходу? Или она умерла?

— Нет. — Шеберстов показал участковому ключ. — Просила к ней заглянуть. Я прохожий, а ты все же власть.

Леша бросил окуроч в широкую каменную вазу, заполненную водой, и со вздохом поднялся.

— Скорей бы зима, что ли...

И они неторопливо зашагали по плитчатому тротуару в сторону мельницы, рядом с которой и жила Катерина Ивановна, известная всему городку своей образцово незадавшейся жизнью.

Сюда, в бывшую Пруссию, она приехала с первыми переселенцами. Муж ее работал на бумажной фабрике, а Катерина Ивановна — прачкой в больнице. У них было четверо детей — двое своих да двоих взяли в детдоме. Маленькая сухонькая женщина тянула большое хозяйство — огород, корова, поросенок, два десятка овец, куры да утки, ухаживала за прибалывавшим мужем (он был трижды ранен на фронте) и детьми. В пятьдесят седьмом лишилась ноги по колено — попала под поезд, когда встречала с пастбища телку. Из прачечной пришлось уйти. Устроилась сторожихой в детском саду. В том же году утонул в Преголе старший сын Вася. А через три года отмучился и Федор Федорович: не перенес операции на задетом осколком сердце. Дочери выросли и разъехались. Младшая Верочка вышла за пьяницу, вора и бродягу, с которым однажды, оставив сына бабушке, укатила на заработки в Сибирь и словно сгинула. Чтобы вытянуть мальчика, Катерина Ивановна бралась и за вязанье на заказ, пока пальцы артритом не скрючило, и за стрижку овец, и на все лето нанималась в пастухи. На деревянном протезе ей было нелегко угнаться за скотиной, но платили неплохо, да еще кормили иногда в поле, — она и не роптала. Мальчик вырос и ушел в армию, после женился и лишь изредка — к Новому году да Первому мая — присылал бабушке открытку с пожеланиями успехов в труде и счастья в личной жизни. Пенсия была крошечная. Как-то незаметно для себя Катерина Ивановна втянулась в сбор пустых бутылок — по пустырям, закоулкам, у магазинов, — вступая в ссоры с мальчишками-конкурентами, при виде ее оравшими: «Почем фунт старушатины!» — и перехватывавшими добычу. Катерина Ивановна сердилась, ругалась, но надолго ее гнева не хватало. В конце концов она нашла выход. С утра пораньше с мешком за плечами отправлялась за город в поисках бутылок, валявшихся по кюветам да в придорожном лесу. Невзирая на боль в ноге, она каждый день проделывала многокилометровые походы, возвращаясь поздно вечером с богатой добычей, вся в горячем поту и с запавшими глазами. Накрошив в глубокую миску хлеба, заливала его водкой и хлебала ложкой. Изредка после этого начинала напевать что-то тихим дребезжащим голоском. «Другая на ее месте давным-давно померла, — говорила известная городская царица Буяниха. — А эта еще и не чокнулась по-настоящему». За свои бутылочные походы и получила Катерина Ивановна прозвище Синдбад Мореход.

Оглядевшись зачем-то по сторонам, доктор Шеберстов отпер входную дверь и жестом приказал Леше идти вперед. Леонтьев включил свет в прихожей и кухне.

— А чего она хотела? — крикнул он из комнаты. — Чего ищем-то?

Шеберстов не ответил. Он развернул сложенную вчетверо бумажку, которую ему дала вместе с ключом Катерина Ивановна, и

лицо его побагровело и набрякло. В сердцах швырнув бумажку на кухонный стол, он пригнулся, чтоб не стукнуться головой о притолоку, и с шумным сопением остановился за спиной Леонтьева. Участковый задумчиво разглядывал обстановку второй старухиной комнаты. Неяркая лампочка без абажура освещала громадную груду бумаги, занимавшую едва ли не все свободное пространство.

— Она романы, что ли, сочиняла, — недовольно пробурчал Леонтьев. — Глянь-ка... — Он поднял с пола листок бумаги. — Я вас любил любовь еще быть может... — недоуменно посмотрел на доктора. — И чего это, а?

Шеберстов переложил палку в другую руку и решительно отодвинул Лешу в сторону. Отдуваясь, втиснулся в узкую щель, где стоял стул с гнутой спинкой, и сел. Выдернул из бумажного вороха пачку листков и принялся читать.

— Да что же это такое? — повторил Леша, растерянно глядя на исписанный старухиными каракулями листок. — Неужели она...

Шеберстов сердито посмотрел на него снизу вверх.

— А ты думал, что душу черт выдумал?

До самого утра они разбирали бумаги, которая Синдбад Мореход просила уничтожить и почти пятьдесят лет таила от чужих глаз. Каждый день, начиная с 11 ноября 1945 года, она переписывала от руки одно и то же стихотворение Пушкина — «Я вас любил...». Сохранилось восемнадцать тысяч двести пятьдесят два листа бумаги разного формата, на каждом — восемь бессмертных строк, не утративших красоты даже без знаков препинания — ни одного из тринадцати старуха ни разу не употребила. Она писала, видимо, по памяти и делала ошибки — например, слово «может» непременно с мягким знаком в конце. Слово же «Бог» — вопреки тогдашней советской орфографии — всегда с большой буквы. Внизу каждого листка она обязательно ставила дату и — очень редко — прибавляла несколько слов: 5 марта 1953 года — «помер Сталин», 19 апреля 1960 года — «помер Федор Федорович», 12 апреля 1961 года — «Гагарин улетел на Луну», 29 августа 1970 года — «Петинька (это был внук) родил дочку Ксению»... Несколько листков были обожжены по углам, некоторые — порваны, и можно было только гадать, в каком душевном состоянии она была в тот день, когда в очередной раз писала «Я вас любил...». Восемнадцать тысяч двести пятьдесят два раза она воспроизвела на бумаге эти восемь строк. Зачем? Почему именно эти? И о чем она думала, дописав стихотворение — «как дай вам Бог любимой быть другим» — и аккуратно выводя «помер Сталин» или «помер Федор Федорович»?

Под утро Шеберстов и Леша растопили печку и принялись жечь бумагу. Уже через полчаса печка нагрелась, в комнате стало жар-

ко. Оба чувствовали себя почему-то неловко, но когда Леонтьев пробормотал: «А какая разница, человека жечь или вот это...» — доктор лишь сердито фыркнул. Один листок — тот, который дала ему Катерина Ивановна, — Шеберстов все же сохранил, хотя и сам не понимал, зачем и почему. Быть может, лишь потому, что на нем — впервые — старуха не поставила дату, словно поняла, что время не властно не только над вечностью поэзии, но даже над вечностью нашей жалкой жизни...

РЫЖИЙ И РЫЖАЯ

По всеобщему убеждению, Петр и Лиза Иевлевы не были мужем и женой, хотя вскоре после знакомства зарегистрировали брак и прожили более сорока лет вместе, в одном доме, и умерли в один день. Только смерть и похороны Буянихи собрали людей больше, чем кончина и погребение Петра и Лизы.

Оба были рыжие, молодые и горячие, чтобы не сказать — бешеные. Петр отличался что в танцах, что в драке. Однажды на спор он плясал без передышки двадцать шесть часов кряду, пока внутренности у него не перемешались, как овощи в кипящем супе, а подметки не стерлись до голой пятки. Лиза пела в фабричном хоре, и иногда — опять же на спор — целый час держала верхнее ля.

Они были слишком похожи друг на дружку, чтобы составить гармоничную пару, однако пришел час, когда вечерние прогулки вдвоем и робкие поцелуи приблизили их к решающему объяснению. Свидетелей при этом, конечно, не было, но тем же вечером Лиза подняла с постели доктора Шеберстова и чуть не силком отвела к Петру, а спустя несколько дней по городку поползли слухи один страшнее другого.

Тут я-вынужден сделать небольшое отступление. Незадолго до знакомства и сближения с Петром Лиза все еще с болью переживала неудачный сердечный опыт — разрыв отношений с красавцем-конюхом Арвидасом. Парень он был балованный женщинами и любил поозоровать. Однажды ни с того ни с сего велел Лизе прыгнуть с Банного моста в Лаву, и она не раздумывая прыгнула в чем была, — из чего многие заключили, что ради Арвидаса девушка готова на все. До чего там у них дошло — никому неизвестно, но поговаривали — уж эти злые языки — дошло до всего. Вскоре после этого Арвидас просто-напросто бросил ее. Городок был свидетелем Лизи-

ных унижений: долгое время она преследовала неверного и даже валялась у него в ногах, но он — видимо, получив свое, — только смеялся в ответ на ее мольбы...

Уже потом, годы спустя, из каких-то обмолвок, полупризнаний и домыслов сложилась версия объяснения между Петром и Лизой, состоявшегося у него в саду. Ключевой в этой версии стала Лизина фраза: «Все вы, мужики, одного и того же хотите», намекавшая, надо полагать, на ее отношения с Арвидасом. Наверняка Петр принялся горячо возражать. Возможно, он еще и не успел предложить Лизе выйти за него замуж. Не исключено, что оба увлеклись поцелуем, лежа в высокой пахучей траве в конце сада. Лиза была девушка спелая, и многим мужчинам, видевшим ее на речных пляжах, снились ее плечи и шея, — а Петр был парень страстный, чтобы не сказать отчаянный... Поэтому легко вообразить, как Лиза, вдруг спохватившись, оттолкнула Петра и задыхающимся голосом проговорила: «Все вы, мужики, одного и того же хотите!» За этим последовали бурная перепалка возбужденных молодых людей. В кармане у Петра был кривой садовый нож — именно им, это известно точно, он и сделал с собою такое, о чем страшно подумать любому мужчине. Исчерпав все аргументы, он прибегнул к последнему доводу, к такому доказательству своей любви, какого даже Бог, наверное, не вправе требовать от человека.

Доктор Шеберстов сделал что мог, но ведь он всего-навсего врач. Когда Петр, наконец, забылся сном, доктор собрал окровавленные тряпки и, стараясь не смотреть на Лизу, пробормотал: «Теперь ты свободна. Иди спать». И будто бы Лиза ответила ему: «Теперь я раба ему, и никогда не покину его». Может, все сказано было и другими словами, но за смысл — ручаюсь.

Через два месяца они поженились, и никто в городке не обвинял молодых в том, что свадьба прошла тихо, без многолюдного пьянства и удалой драки, как было принято. Хотя, конечно, в те дни по городку ходило немало едких шуточек насчет холощенного жеребца и пышущей здоровьем кобылки.

Молодые получили домик от железной дороги в конце Семерки, в двух шагах от клуба, и теперь их каждый день можно было видеть вышагивающими парочкой вдоль железнодорожного пути. Служба лютая, если кто не понимает. Россия — страна железнодорожная, недаром у нас и главный герой — стрелочник, — и тут уж не до разбора на мужчин и женщин: фуфайку на плечи, кирзачи на ноги — и булгачь без продыху зимой и летом с киркой и кувалдой, чтобы дорога была в порядке. Зарплата маленькая, поэтому все держали скотину, благо с сенокосами у железнодорожников проблем не было: вся полоса отчуждения — твоя.

Нельзя сказать, чтобы горе сблизило супругов, да и может ли такое горе вообще сблизить? Выпив рюмку-другую, Лиза впадала в

ярость и кричала Петру: «Уйду! уйду от тебя! У меня-то есть чем потресть, а у тебя и помахать нечем!» Муж, однако, в споры не вступал, тихо убирался в сарай, к скотине, и там переждал приступы Лизиной ярости. Она, впрочем, вскоре приходила в себя. Поначалу к ней подъезжали иные мужички, пыгались полакомиться, но как-то уж так получилось, что никому это не удалось. Стоило ей вспомнить слова мужа: «Я тебя за это осуждать на стану», как ухажер получал от ворот поворот. По этому поводу Буяниха однажды сказала: «Русской бабе не привыкать жить назло себе».

На пятом или шестом году совместной жизни Иевлевы взяли из детдома девочку, насквозь больную, и выходили, вырастили и, кажется, полюбили. Ничего особенного с появлением Анечки в семье не произошло, разве что Лиза стала пореже впадать в женскую ярость. По воскресеньям они втроем выбирались на берег Преголи, за Башню, и часами гуляли по дороге сбоку сенокосов. Где-нибудь напротив Детдомовских озер останавливались перекусить, и, пока Лиза с Анечкой охотились в траве за кузнечиками, Петр задумчиво наблюдал наливавшиеся млечной кровью облака, выстаннывая тихонько бессловесную песню. Вообще он старался при посторонних рта не раскрывать, однако Лиза замечала, чувствовала, что внутри него будто ворочаются какие-то слова или даже просто звуки, и он не знал, что с ними делать. Вечером они ужинали втроем на маленькой веранде, пристроенной к домику. Мягкий желтый свет прикрученной — для экономии — керосиновой лампы выхватывал из темноты их руки, расплющенные тяжелым трудом, и тонкие детские пальцы, поправляющие маслянистый локон, и спокойные лица, смягченные усталостью и улыбкой...

Лиза по-прежнему в среду и субботу старалась попасть на спевки фабричного хора. Дня не проходило, чтобы товарки не предлагали ей прихватить с собой и мужа: так уж всем хотелось услышать его новый голос. Лиза лишь отмахивалась: в том, чтобы зазвать Петра на спевку, ей чудилось что-то стыдное, какой-то намек на тот страшный вечер в саду... С другой стороны, в голову ей иногда приходила мысль о том, что, быть может, Петру стало бы легче, отважась он открыть путь тому слову, тому звуку, который изнутри бередил и терзал его душу. Хотя она, конечно, и не могла знать, в самом ли деле поможет ему участие в хоре, исполнявшем «По долинам и по взгорьям» и русские народные песни после торжественных заседаний в клубе по случаю государственных праздников.

Летом спевки проходили на большой деревянной веранде, обращенной к старому парку. Анечка бегала послушать хор, а иной раз и сама смело вставала в первом ряду и звонко выводила «Родина слышит», умилая взрослых и даже руководительницу хора Магнию Михайловну, высоченную сухую старуху с белым пучком на затылке, с шалью на плечах, давно вытершейся и превратившейся в рыбо-

ловную сеть. Беспокоясь о дочке, Петр тайком пробирался парком поближе к веранде и, спрятавшись за деревом, наблюдал за хором. Когда его однажды заметили и окликнули, он убежал. В другой раз ему не удалось скрыться, потому что позвала его Анечка, которой молчун отказать не смог. Она выгатила отца из темноты за руку и повела к веранде. Магния Михайловна прикрикнула на смущенного Петра и велела ему встать с тенорами, а потом взмахнула руками-веслами и грозно уставилась на новенького. Прячась за спинами соседей, он вполголоса подпевал. Магния Михайловна сердилась, но ни с первого, ни с третьего раза распеть Петра ей не удалось.

Чувствуя себя виноватым, он остался после репетиции, чтобы помочь Лизе и Магнии Михайловне убрать стулья и скамейки.

Анечка бегала туда-сюда по веранде, смеясь и напевая — очень весело, бойко — «Вечерний звон».

— Аня! — со смехом крикнула Лиза. — Я разве так тебя учила? Зачем озорешь?

— Да знаю, знаю — как! — Анечка мигом взобралась на табуретку, состроила постное лицо и затынула: — Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он...

— О юных днях в краю в краю родном, — с нажимом, указывая дочке, как именно нужно петь, подстроилась Лиза.

— Где я любил, где отчий дом, — вдруг печально и негромко выпел Петр, отрешенно глядя вверх Лизиной головы.

И уже следующие две строки —

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз! —

они пропели тремя серебряными голосами — ломким Аня, сильным и звонким Лиза и чистым, божественно чистым — Петр.

Старуха Магния Михайловна стояла перед ними со стулом, прижатым к груди, и боялась только одного — упасть, потому что ноги у нее отнялись.

Больше Петр не боялся петь на репетициях — и на концертах — так, как ему хотелось и как он мог. Они с женой по-прежнему вкалывали на железке без продыху, а свободные часы убивали на сад, огород и скотину, — но по средам и субботам, за редкими исключениями, оба являлись на спевки к вспыльчивой и суровой Магнии Михайловне. На концертах хор встречали бурными овациями: тогда еще редко кто обзавелся телевизором и люди семьями ходили в фабричный клуб, часто — невзирая на расстояние и погоду. Хор угощал их и привычной «По долинам и по взгорьям», и «Полюшком», и «Коммунистическими бригадами», но главным номером, которого всякий раз с возрастающим нетерпением ждал зал, было выступление трио Иевлевых, и, когда их объявляли, многие

вскакивали и, роняя кепки, начинали хлопать в ладоши, подначивая соседей: «Ну! чего сидите? Иевлевы ж! давай!» — и их поддерживал зал, жаждавший — чуда.

И Иевлевы исполняли какую-нибудь «Во поле березоньку» так, что в буфете на втором этаже сами собой выстреливали бутылки с шампанским.

Летними вечерами, после спевок, хористы не спешили разбегаться по домам: кто таскал туда-сюда стулья, кто слонялся по залу с метлой, кто глубокомысленно курил... Лиза и Петр не обращали внимания на эти нехитрые уловки и, если бывали не в настроении, просто уходили домой. Чаще же, однако, Петру не моглось уйти просто так, словно тяготило его что-то недосказанное важное, что непременно нужно договорить, выговорить именно сегодня, сейчас. Он бродил с Анечкой по веранде, напевая — мыча что-то себе под нос, то принимаясь вполголоса петь, то вдруг досадливо себя обрывая: не то, не так, да и не нужно этого вовсе. Иногда пыталась помочь Лиза, осторожно подбрасывая словцо либо выпевая простенькую мелодийку. Постепенно их колоброженье по веранде замедлялось, словно Иевлевы заметили добычу и уже подбирались к ней, боясь спугнуть, и вот кто-нибудь — бывало, что и Анечка, — начинал вести звук... Нет, это была не песня (хотя, конечно, чаще всего именно песня), вообще не что-то определенное, — Лиза плела свою мелодию, Анечка — свою, а Петр словно бродил между ними, качаясь туда и сюда, будто примериваясь, откуда нырнуть, прыгнуть — вверх ли, вниз ли — неважно, важнее место отыскать, — и вдруг нырял, прыгал... Три голоса сливались в один, Иевлевы сходились и останавливались друг против друга, но вряд ли уже замечая других, — и, сросшаяся в одну, мелодия стремительно взмывала в темноту над парком — и тотчас падала, и вновь взлетала, и так много раз, пока поток серебряного звука сам собою не начинал уверенно взбираться выше, выше и выше — и исчезал, растворяясь в ночи, в воздухе, и уж сама ночь звучала ломким Анечкиным голоском, сильным и звонким Лизиним и чистым, божественно чистым — голосом Петра... Звук был так высок, его было так много, что его как бы уже и не было. Выросшее дерево серебряной мелодии круглилось, вспухало и бурлило незримой кроной, возвращая звук Иевлевым, а они лишь дышали им, не имея к нему никакого отношения, возвращая звук ночи. Голоса их — но это уже были как бы и не их голоса — звенели над облитой лунным светом Преголей, над заречными сенокосами, и вдруг усталый дед Муханов отбрасывал вилы, которыми ворошил сено, и изумленно вслушивался, глядя на звездное небо: Господи правый, что это? что происходит? Голоса летели над улицами, созывая людей, которые сходились к клубу и молча сгущались у веранды, зачарованные совершенно непонятной силой звука. И вот звучал уже весь блистающий звездами и славой Божией мир, и древнее тысяче-

окое чудище ночи замирало в своих берлогах и на безумных высотах, и устанавливалась звучащая тишина, какой она была, наверное, в те времена, когда Бог и дьявол еще не вступили в распря из-за души человеческой...

Иногда это наваждение длилось всего несколько минут, а иной раз растягивалось на часы, и потом люди рассказывали о разных чудесах — об исцелениях и полетах наяву, а потом те же люди, посмеиваясь, напоминали друг другу о другой ночи и садовом ноже, положившем начало чуду, — но, вернувшись домой и оставшись наедине с собой, они же думали: «Но если в этой жизни бывает такое, значит, эта жизнь того все же стоит? И не в ноже, конечно же, дело, — но тогда в чем? И почему ему это дано и что это такое, что ему дано?» И какой-нибудь мальчик утыкался носом в подушку, чтобы родители не услышали, как он плачет, и шептал что-то такое возвышенно-бессмысленное, что ради этой бессмыслицы можно было и умереть — тотчас же, сию секунду, с радостью и даже без свидетелей...

Анечка выросла, удачно вышла замуж за слесаря с мукомольного завода Колю Суздальцева, у них родились двойняшки. Петр и Лиза состарились, да и голоса их — повкалывай-ка на морозе да на ветру — изменились не к лучшему. Вскоре по выходе на пенсию у Петра и вылезла болячками каторжная работа. Он не выходил из больницы. Доктор Шеберстов предупредил Лизу насчет рака — так и получилось. За несколько месяцев внутренности у Петра вконец сгнили, двигаться он уже не мог. Его поместили в отдельную палату, но, поскольку пахло от него так, что не выдерживали даже выдавшие виды старые санитарки, ухаживали за Петром Лиза и Анечка. Иногда они тихонько пели ему, но он лишь бессмысленно тарасил налитые слезами глаза. Однако, почуяв кончину, он собрался с силами и велел позвать Лизу. Анечка прибежала к матери, когда та, воздев на расплывшийся нос очки, штопала внучкину варежку. Услыхав, что ее зовет Петр, она воткнула иголку в клубок, обмотала ее ниткой и ушла, приказав Ане оставаться дома.

Войдя в палату, она тотчас поняла, что кончина Петра близка. Он попытался что-то сказать ей, но из горла вырвался лишь тихий хрип. Лиза придвинула к кровати два стула, легла рядом с мужем, голову его пристроила на своем плече и закрыла глаза. Утром их нашли мертвыми.

Вот и вся история рыжей Лизы и рыжего Петра Иевлевых. Хотя я не думаю, что это — вся история, думаю даже, что что-то осталось за пределом этой истории — жизнь ли, Бог ли, любовь ли, звук ли какой, предшествующий слову, как любовь предшествует жизни, — что-нибудь да осталось, хоть что-нибудь — иначе зачем живы мы, Господи?

ВИТА МАЛЕНЬКАЯ ГОЛОВКА

Человек от животного отличается лишь способностью ко лжи. Городской сумасшедший Вита Маленькая Головка не умел лгать. Его строгий отец пытался научить сына заводить в назначенное время часы, чтобы тем самым вовлечь парня в упорядоченную человеческую жизнь, — но не смог. А после смерти отца Вита и вовсе остался при своем: по ночам гонял на полуразбитом велосипедишке (который называл «волосапед») да иногда подрабатывал колкой дров и рытьем могил. Ему было не под силу пересчитать деньги, но все же он знал, что две бумажки больше одной, поэтому при расчете люди давали ему ту же десятку, но десятью бумажками, и он бурно радовался. Днем он обычно спал — в комнате без занавесок или хотя бы клочка тюля на окне, чтобы не оказаться застигнутым врасплох неизвестными врагами. По ночам же он неторопливо объезжал на велосипеде улицы городка — громадная туша с крошечной головкой на длинной мальчишеской шее — и бесстрашно забирался в самые глухие места, чтобы вовремя засечь приближение опасности и предупредить горожан о нашествии инопланетян, гигантских жуков или детей. С ребятней у него никак не складывались отношения: дети его дразнили и забрасывали камнями. Выведенный из терпения Вита норовил догнать обидчика и сразить наповал плевком верблюжьей мощи.

Мать не знала, что с ним делать, но сдавать его в больницу для опытов, как советовали соседи, не спешила. Быть может, от этой участи спасали Виту деньги, которые он время от времени приносил домой, а может, мать просто жалела его: после смерти мужа и бегства остальных детей из холодного дома старая женщина осталась в одиночестве.

Единственный человек, с которым Вита поддерживал дружеские отношения, была соседка, известная мужчинам городка под

кличкой Белядь — так в детстве она выговаривала слово «лебедь». Это была белокурая прокуренная буфетчица из фабричного клуба, которая вдобавок ко всем своим грехам отваживалась не посещать общественную баню. Раза два в неделю она нагревала на газовой плите несколько кастрюль воды и забиралась в цинковую ванну, поставленную посреди комнаты. Застав ее однажды с вывешенными на края ванны белыми ногами, Вита смутился, но Белядь лишь томно прикрыла глаза и проговорила: «Сколько ж на мне грязи после этих дураков...» Ей Вита колот дрова бесплатно.

Но не белыми длинными ногами привлекала Белядь бедного парня. В углу застекленной веранды стояли два креслица с плетеными соломенными спинками. В одном из них любила отдохнуть сама хозяйка, в другом же сидела огромная — в человеческий рост — женская кукла из очень твердой розовой пластмассы. У куклы были белые блестящие волосы, которые Вита любил расчесывать большим гребнем. Ему нравились ее неподвижные стеклянные глаза с серыми махрами ресниц, высокая шея, едва намеченная грудь и необыкновенно гладкий живот с дырочкой вместо пупка. Заметив, что кукольные прелести смущают Виту больше, чем хозяйкины, Белядь, вдоволь насмеявшись и наплакавшись, сшила кукле нижнее белье, ситцевое платье в цветочек и белые матерчатые туфли без каблучков.

Отдыхая субботними вечерами в соломенном креслице, Белядь с грустной улыбкой наблюдала за Витой, который разговаривал с куклой на своем тарабарском языке или гулял с нею, бережно обняв за талию и стучая твердыми розовыми пятками в пол.

Похоже, Вита не очень хорошо понимал, зачем к Беляди ходят мужчины, но не любил, если они спяну принимались смеяться над ним и тем более — над куклой. Его обезьянье лицо становилось страшным и со звериным рычаньем он наступал на обидчиков, обращая некоторых в бегство.

Чаще других гостил у Беляди Сергей Вранов, косоротый нестарый мужчина с ребристым лбом, носивший короткие лаковые сапоги и шегольскую дерматиновую куртку. Несколько раз Вита видел, как Белядь и Вранов ночью затаскивали что-то тяжелое в ее дом. Обижаживая на веранде куклу, он слышал, как Белядь с пьяненьким надрывом говорила ухажеру: «Надоело мне это, добром оно не кончится!» Сергей отвечал ей со злостью: «Проболтаешься — спаяю вместе с домом». И при этом постукивал по столу громыхивающим спичечным коробком. Белядь прерывисто вздыхала — и умолкала.

Сергею-то Вранову и принадлежала идея женить Виту на кукле: любил косоротый иной раз и поозоровать. Мысль эта пришла по душе и Вите, хотя, конечно же, никакой души у него не было. Быть может, все дело было в том, что Вранов в разговоре с Ма-

ленькой Головкой никогда не повышал голоса? Как знать. «Что ж, — вздохнула Белядь, — душа к душе, а тут двое бездушных — парочка в самый раз».

Она сшила для куклы фату и накрашила пластмассовые губы своей самой яркой помадой, запах которой взволновал Виту: это был запах праздника. Погрузившись в повозку, все четверо и отправились в Красную столовую.

Узнав, что происходит, Колька Урблюд тотчас побежал за гармошкой, а вечно пьяный Васька Петух предложил провертеть в кукле отверстие, чтобы муж сполна насладился плодами законного брака.

Вранов выставил хорошую выпивку и закуску и пригласил на торжество завсегдатаев Красной столовой. Виту и куклу усадили во главе стола и тотчас хором закричали «горько».

— Без этого нельзя, — с серьезным видом объяснил Муханов-младший. — С этого жена и начинается.

Под дружный смех мужиков Вита Маленькая Головка неловко приложился своими губищами к кукольным, при этом выпачкавшись в пахучей помаде. Белядь отвернулась. Колька рванул меха гармошки.

Пили, пели, гуляли допоздна. Вита впервые в жизни попробовал водки и развеселился. Он даже сплясал под Урблюдову гармонь: с зажмуренными глазами и широко открытым ртом он высоко подпрыгивал на одном месте и взмахивал своими непомерными руками, вызывая у мужиков рвотные приступы хохота. После пляски он вдруг уснул, крепко обняв куклу за талию. Пришлось их, обнявшихся, так и грузить в телегу.

— Сереж, а Сереж, — вдруг сказала Белядь, когда они подъезжали к ее дому, — а чего ты про нас думаешь? Мы-то могли бы покрутиться, а?

— Ты баба хорошая, — серьезно ответил Вранов, — но шалава. А я на шлюхах не женюсь. Я тут заметил одну бабочку...

Он причмокнул на лошадь.

Помолчав, Белядь спросила безразлично:

— А она знает, чем ты на самом деле занимаешься, Сереж?

Вранов со скрипом повернулся к ней — Белядь безмятежно улыбнулась ему. Мужчина ответил ей улыбкой, от которой у нее отнялись ноги.

Вита проснулся от криков. Окно пылало красным: горел соседний дом — дом Беляди.

Во дворе суетились люди с баграми и ведрами. Пламя было такое сильное, что уже в тридцати-сорока шагах от пожара брови у Виты запахла паленым.

— Эй! куда! — завопил Колька Урблюд. — Не пускайте! сгорит же!

Но было уже поздно. Подвывая от боли, парень нырнул в охваченную огнем и дымом веранду.

Наконец подкатила пожарная машина. Вялые водяные струи ударили в пламя. Выскочивший из огня человек упал наземь и покатился под ноги зевакам. Это был Вита, тащивший за руку белокурую женщину. Его облили водой.

Участковый Леша Леонтьев пробрался через толпу к Вранову и что-то вполголоса сказал ему. Тот пожал плечами.

— Это еще доказать надо, начальник. А, бя...

От сада к толпе брела Белядь с бутылкой в руке. Платье на ней было измято и выпачкано землей. Она уставилась на Вранова и с нехорошей усмешкой погрозила ему бутылкой.

— Что, гад, не вышло по-твоему? Если б я в саду не свалилась, ты б меня... А вот он... — На нетвердых ногах она шагнула к лежавшему на земле Вите, который все еще однообразно стонал. — А вот он меня спасать бросился...

— Сдалась ты ему, — угрюмо возразил Урблюд. — У него жена есть.

— Витек... — Белядь икнула, наклонилась к Вите. — Скажи ты им, фомам неверующим...

Вита вдруг сел и взмахнул невесть откуда взявшейся железкой. Ткнул вслепую — навстречу голосу. Лицо его было сильно обожжено, и он не мог открыть глаза. Обезьянья челюсть его дрожала. Леша Леонтьев схватил Белядь за локоть. Вита угрожающе выставил железку перед собой и закричал, срывая голос:

— Не подходи! Мое! Мое! Мое!..

И никто до самого утра не осмелился приблизиться к кукле, превратившейся от огня в сущее уродство: волосы сгорели, руки и грудь оплавилась, шея искривилась, — но никому и в голову не пришло смеяться или даже плакать, видя, как Вита Маленькая Головка то и дело склоняется к своей пластмассовой жене, еще источавшей волнующий праздничный запах губной помады...

МИЛЕНЬКАЯ И МАСЕНЬКАЯ

Цвели крокусы, когда советские танки вошли в этот маленький восточнопрусский городок, превращенный английской авиацией в дымные развалины. Над дорогами, тесно обставленными липами, летал пух из перин, брошенных беженцами, уходившими к Кенигсбергу и в Польшу. С трудом взобравшись по деревянной приставной лестнице к большим часам на уцелевшей кирхе, инвалид с негнувшейся ногой перевел стрелки на московское время. На маленькой площади у разбитого фонтана командир головного Т-34 обнаружил в плетеной корзине собаку, к соскам которой приникли два полузамерзших младенца. Кто была их мать — немка? полька? литовка? — выяснить не удалось.

— Пиши: две девочки детской национальности, — хмуро приказал начальник госпиталя своей помощнице, принимая корзину с детьми. — Собаку отправь на кухню.

Девочек назвали Машей и Мариной, собака отзывалась на кличку Берта. Четырнадцать лет они прожили в детдоме, где и выяснилось, что девочки родом из племени лилипутов, а одна — Марина — вдобавок горбатенькая.

Крошки никогда не разлучались.

После детдома Маша выучилась на телефонистку и поражала клиентов и коллег умением приласкать любое русское слово, — например, «стеклянненький» или «домишенька». Услыхав однажды, как она вызывает «дежурненькую» районного узла связи, известная городская царица Буяниха дала девушке прозвище Миленькая, заменившее ей и имя и фамилию.

Горбатенькая Марина стала продавщицей в магазине, а потом уличной буфетчицей в Красной столовой. Распустив пышные волосы по плечам, чтобы скрыть горб, и сжав густо покрашенные губы

в злую ниточку, она презрительно торговала пирожками с капустой и рисом возле женского туалета на автовокзале. Она курила едкие папиросы и носила туфли на очень высоких каблуках, которые сердечно берегла, ибо деньги на покупку откладывала два года. Ее прозвали Масенькой.

Миленькая и Масенькая жили в крошечной квартирке на Семерке вместе с собакой Мордашкой, которой они обзавелись после естественной смерти Берты. Характером Мордашка была в Масенькую: со всеми ссорилась и гадила где ни попадя. Нередко сестрам приходилось таскать свою собачонку на руках, уберегая ее от праведного гнева окрестных псов и мальчишек.

Вечером, всегда в одно и то же время, сестры ужинали в Красной столовой котлетами и прозрачным чаем с маковой булочкой. Все это время Мордашка непрестанно рычала под столом, изнемогая от желания обляять и буфетчицу Феню, и мужчин, неторопливо попивавших свое вечернее пиво. По завершении трапезы Масенькая непременно произносила приговор — глядя в стену, но очень громко и с едкой, как ее папиросы, улыбкой:

— Кормят здесь плохо.

И строго смотрела на сестру.

Миленькая со вздохом согласно кивала и добавляла с извиняющей улыбкой:

— И мало дают.

Их ровесницы выходили замуж и обзаводились детьми. Миленькая радовалась счастью подружек и всегда охотно соглашалась посидеть с малышом, если матери нужно было отлучиться на танцы или в магазин... Масенькая хмурилась. Оставшись наедине с сестрой и Мордашкой, угрюмо цедила:

— А мы с тобой разве что за крота выйдем...

Как же она была удивлена и раздосадована, когда весельчак и пьяница Колька Урблюд однажды проводил Миленькую до дома и набился в гости. Сестры перевернули вверх дном свою крошечную квартирку, наводя порядок к приходу гостей. Мордашку, ввиду неукротимости злобного нрава, привязали в саду к яблоне, и она в отчаянии принялась жрать дождевых червей.

Колька привел с собой Аркашу Стратонова, парня огромного и вечно сонного, но способного в один присест уесть ведро вареных яиц. Принарядившиеся сестрички наперебой потчевали мужчин и подливали вино. Колька Урблюд играл на гармошке и пел жестокие романсы. Наконец он устал и, вытирая пот с лица, предложил Миленькой и Масенькой раздеться... Помертвевшая Маша пискнула:

— Зачем?

— Как это зачем? — удивился Урблюд. — Или ты думаешь, мы песни петь пришли?

Поскольку Миленькая потеряла сознание и ее пришлось оставить в покое, Масенькая оказалась одна перед мужчинами. Наутро

она прошептала, почти не разжимая губ, что никогда не простит этого сестре. Каждый день она пыталась Миленскую детальными рассказами о том роковом вечере, доводя ее до слез, и хотя Миленская давно подозревала, что ничего тогда не случилось и сестра лжет, она не осмеливалась проверять ее.

История эта стала известна в городке, и отныне подвыпившие мужчины вечером запросто стучались к сестрам-лилипуткам. Бледная от страха Миленская проводила их в комнату, где на белоснежной постели их ждала маленькая женщина с лицом, закрытым шелковым платком. При одном взгляде на ее атласный живот мужчин пробирала дрожь. Но никто из них потом не мог сказать, что это была именно Масенькая: ведь лицо ее оставалось закрытым. Стоило же кому-нибудь днем намекнуть на случившуюся между ними близость, как горбатенькая, уперев руки в бока и расставив ноги пошире, начинала во все горло пушить приставаду и хама, позволяющего себе грязные намеки.

— Береги себя, — говорила она сестре с ледяной улыбкой. — Я приму на себя наш грех.

— Тебя никто не принуждает, — пыталась защищаться Миленская. — Но если тебе нравится...

— Будем считать, что мне нравится, — останавливала ее сестра. — Как бы там ни было, к тебе и соринка не пристанет.

Миленская несколько раз задумывалась о самоубийстве, но дальше этого дело не шло. Приходилось жить.

В магазине, где в то время работала Масенькая, случилась крупная растрата. Был суд, горбатенькая оказалась в тюрьме. Миленская писала ей письма, сообщая о здоровье Мордашки и сочиняя приветы, которые Масенькой всякий раз якобы передавали жители городка.

Вернулась Масенькая постаревшей, усталой и по-прежнему злой. Неприятно щурясь, она курила едкие папиросы и рассказывала о лагерной жизни. Миленская слушала ее с мертвеейшей от ужаса душой: она боялась, что и в этом своем несчастье сестра однажды обвинит ее, Машу.

Мордашка переселилась в те края, где ее давно ждала старая Берта. Сестры пригласили Андрея Фотографа, чтобы он запечатлел их безутешную скорбь над убраным цветами собачьим трупом. Кончина Мордашки подкосила горбатенькую окончательно. После тюрьмы она не могла вернуться в магазин, и ей пришлось подметать улицы. Как-то рано утром ее подобрали на задворках больницы. Она бегала по кругу, отчаянно крича, что не может выбраться из этого заколдованного места. На следующий день она умерла, напоследок спросив у Миленской:

— Любишь ли ты меня?

— Да, — сказала сестра.

— И такую?

— И такую.

— И я тебя, Маша. Жаль, что на том свете нам нипочем не встретиться: ты попадешь в рай.

Когда земля на могиле осела, Миленькая установила памятник — и исчезла. Случайно обнаружив, что на граните выбиты имена обеих сестер, люди бросились к Миленькой домой. Дверь уже много дней была заперта, Маша никуда не выходила. Пришлось взламывать замок. На столе обнаружили окаменевшие остатки еды, в углу — вымытое до блеска ведро для нечистот. Миленькой нигде не было. Кто-то случайно сдернул покрывало с зеркала — и вскрикнул. Из глубины зеленоватого стекла на людей с жалобной улыбкой смотрела Маша.

Через неделю в квартирку сестер-лилипуток въехали новые жильцы. Обнаружив Машино отражение в зеркале, хозяйка обыскала комнату, но никого не нашла. Тогда она осторожно провела влажной тряпкой по стеклу — и Маша исчезла...

ГОЛУБКА

Взгляд девочки заставил фотографа выпростать голову из-под накидки и внимательно посмотреть на десятилетнего ребенка, спокойно сидевшего между отцом и матерью. Она была очень красива — ни в мать, ни в отца. Но никому и в голову не пришло бы заподозрить Валентину Ивановну Голубеву в супружеской измене. Илья Ильич, служивший начальником железнодорожной станции, с извиняющейся улыбкой рассказывал о прабабушке, которая из-за своей нечеловеческой красоты так никогда и не вышла замуж: все, кто в нее влюблялся, гибли на дуэлях, пускали пулю в лоб или умирали от яда. Чтобы избавиться от проклятия красоты, прабабушка плеснула себе в лицо кислотой, но стала от этого еще краше и желаннее. На смертном одре она оказалась наедине со своим непорочным сердцем — чистым, как кубик льда.

— Что-то не так? — спросил Голубев одними губами, боясь пошевелиться.

Пожав плечами, мастер вернулся под накидку. «Наверное, она просто хочет писать, — подумал он. — Или какать». И нажал спуск.

Голубевы жили в домике окнами на пакгаузы и здание вокзала, рядом с которым над старыми каштанами возвышалась водонапорная башня красного кирпича с ржавым флюгером на куполе. Когда мимо проходили поезда, в буфете на стеклянной полке начинала дребезжать одна и та же рюмка. Валентина Ивановна все собиралась приклеить к доньшку рюмки бумажку, да руки как-то не доходили. С утра до вечера она хлопотала по дому, готовила, стирала, протирала и, когда уж очень уставала, говорила обычно с вялой усмешкой: «Меня и похоронят, наверное, в фартуке».

Илья Ильич не любил свою службу. Не любил лязг железнодорожных составов, ночные вызовы, ругань с клиентами, скандаливши-

ми из-за простойных штрафов, не любил и фразу, которую его подчиненные считали его любимой: «Железная дорога всегда права, даже если не права». Однако он скрывал ото всех эти чувства, и делал это так успешно, что числился лучшим начальником станции на отделении, и это тоже его мучило.

По субботам он с дочерью Галей, Голубкой, отправлялся в библиотеку, и это был праздник для обоих. Неблизкий путь до старого двухэтажного дома на площади, где над почтой и милицией размещалась городская библиотека, непременно нужно было проделать пешком — чтобы растянуть удовольствие. Особенно хорошо было зимой, промерзнув на мостах через Лаву, взлететь по деревянной лестнице на второй этаж и войти в жарко натопленную комнату с конторкой, за которой сидел Мороз Морозыч, библиотекарь с ватной шевелюрой и ватной бородой, скинуть пальто и присесть на корточки перед открытой печной дверцей, рядом с которой громоздились пахучие слезящиеся сосновые поленья. А жарким летним днем здесь было прохладно и приятно пахло бумажной прелью. Настоящее же пиришество начиналось, когда Голубев и Голубка принимались перебирать книги. На это уходило часа два, три, а то и четыре, с перерывом на чай и разговоры с Морозом Морозычем.

— Библиотека и есть коммунизм, — говорил Илья Ильич. — Или рай, если хотите. Братство великих душ и умов. Здесь слиты все достижения красоты, уравновешивающие друг друга в гармоническом целом, которое и спасет мир, как говорил Достоевский...

— Достоевский говорил о красоте Христа, — возражал Мороз Морозыч.

— Христос — мечта, которая если где и жива, так только в этом же раю, на родине души...

Домой они приносили старенький портфель с железными уголками, набитый книгами так, что его невозможно было закрыть и приходилось нести под мышкой.

Валентина Ивановна с напряженной и усталой улыбкой наблюдала за мужем и дочерью, которые весь вечер разбирали добычу.

— И стихов набрали, — с удивлением говорила она. — Ну никак не пойму, зачем люди пишут и читают стихи...

— Поэты говорят вслух то, чего обычно люди стесняются, — отвечал Илья Ильич.

В хорошую погоду по воскресеньям они отправлялись к Стене. Когда-то здесь, километрах в двух от станции, был хутор — с двухэтажным жилым домом, конюшней, коровниками и водонапорной башней. Хутор забросили, постройки растащили, и только огромный кусок слепой стены, покрытый пятнами лишайников и исчерченный серебряными следами слизи, торчал над разросшимися на развалинах бузиной и ежевикой

Однажды Илья Ильич сделал открытие: если встать на кочку метрах в пятидесяти от стены и крикнуть, стена ответит удивительно четким эхом.

Расстелив на траве брезентовый плащ, родители пили легкое вино и закусывали, а потом молча сидели рядышком, думая каждый о своем. Галя-Голубка гоняла ящериц в кирпичных осыпях между кустами бузины или играла в эхо.

— Лиссабон! — выкрикивала она.

— Лиссабон! — отвечала стена чистым голосом.

— Душа моя!

— Душа моя!..

«Душа моя», — сонно думал Илья Ильич, вспоминая строку из стихотворения императора Адриана: *animula vagula blandula* — душенька летучая чудная...

Голубка выросла в чудную красавицу, которую растроганный отец называл «ваше ресничество». Все чаще Илья Ильич заставлял ее у окна. Она беззвучно плакала, глядя на пронесившиеся мимо пассажирские поезда.

— Ничего, — бормотал он, — скоро и ты уедешь отсюда и будешь жить настоящей жизнью. Скоро...

Однако ему вовсе не хотелось, чтобы это случилось скоро, хотя он сам не раз говорил дочери, что в этом городке можно только готовиться к жизни, но не жить и не умирать.

Он боялся одиночества — с книгами, усталой женой и дребезжащей рюмочкой в буфете.

Дочь вышла замуж, едва ей исполнилось восемнадцать. Ошеломленные родители пытались отговорить Гаю-Голубку, но она стояла на своем: «Мы уедем в Москву и будем жить настоящей жизнью. — И с ненавистью, удивившей родителей, добавила: — Без ковров и хрусталя».

Голубевы боялись ее мужа — Валета, о котором только и знали (Валентина Ивановна поведала об этом мужу ночью шепотом), что он может игровой картой перерезать человеку горло.

— Ну-ну, это уж слишком, чтоб было правдой, — попытался успокоить жену Илья Ильич, но ему тоже было не по себе.

Дочь уехала.

Спустя несколько месяцев тихо скончалась Валентина Ивановна. Галя не откликнулась на телеграмму и не приехала на похороны.

После поминок Илья Ильич остался в доме один. Прибравшись, он сел у окна. Что-то мешало сосредоточиться. Рюмочка, наконец догадался он, рюмочка, которая дребезжала, когда мимо окон проходил поезд. Он достал рюмку из буфета и аккуратно разбил ее на крыльце, а осколки смел в мусорное ведро. Он так устал, что, отправляясь спать, повесил пиджак на тень от гвоздя, вбитого в стену прихожей.

Весь следующий день он не находил себе места, пока не понял, в чем дело: когда мимо дома шли поезда, в буфете не дребезжала рюмочка.

— Не переживай, Илья Ильич, голубчик, — сказал товарный кассир Ерофеев, добрый пьяница и заядлый доминошник. — Хоть о дочке не жалеяй.

— Ну да, — промямлил Голубев. — Что ж, она устроена...

— Я не про то, — сказал Ерофеев, протягивая ему фотографию. — Или ты ничего не знал?

На снимке была запечатлена нагая Голубка, сидевшая на земле спиной к Стене, с широко разведенными ногами и едкой улыбкой на прекрасном лице.

— Такая фотка чуть не у каждого пацана есть, — сказал Ерофеев. — Дрочат они на нее, что ли...

Дома Илья Ильич долго плакал, глядя на фото дочери, о которой, выходит, и впрямь ничего не знал, — но даже в этой непристойной позе, с вызывающе злой улыбкой — Голубка была божеественно красива и любима. «Красота мир спасет, — подумал Голубев. — Мир, но не человека. Красота, но не красавица».

Поднявшись на другой день очень рано, он попытался так расставить рюмки в буфете, чтоб хоть какая-нибудь дребезжала от проходящих поездов, — но ничего у него не получилось. И тогда Илья Ильич отправился к Стене. Лег в траву и крепко зажмурился, но уснуть не удалось. Побродив по развалинам, взобрался на кочку и громко крикнул:

— Душа моя!

— Душа моя!.. — откликнулась стена.

«Хорошо, что у человека нет души, — с расслабленной улыбкой подумал Илья Ильич, опускаясь на траву и закуривая, — не то жизнь лишилась бы смысла и цели...» И по-прежнему улыбаясь, проводил взглядом дымок папиросы, быстро рассеявшийся в чистом воздухе августовского утра...

ЧТО-ТО ОРАНЖЕВОЕ

Он бочком протискивался в дверь и, пробормотав что-то приветственно-невразумительное, устраивался в дальнем углу под окном. Следом за ним протискивалась его собачонка с вечно поджатым хвостом, которая пряталась под столом и до самого закрытия не подавала признаков жизни. Зимой и летом он носил черное пальто с прозеленью в швах и черную шляпу с обвислыми полями, покрытую пятнами плесени. Он молча просиживал весь вечер над кружкой пива, время от времени закуривая сигарету (и стараясь при этом чиркать спичкой как можно тише). После двух-трех затяжек он замирал, глядя перед собой пустыми глазами, и не понять было, слышит ли он очередного рассказчика, которыми славилась Красная столовая. На него давным-давно не обращали внимания. Даже прозвище — Утопленник — ему дали нехотя: такой человек заслуживал лишь того имени, что значилось в его паспорте. Его это не огорчало: он привык к одиночеству в глухом городке на краю обитаемого мира.

Он жил с матерью в домике за лесопилкой и служил фельдшером в больнице на Семерке. До работы было далеко, и, чтобы сократить путь, Николай Порфирьевич (так его звали) вымолил у задатых охранниц позволения ходить через железнодорожный мост, соединявший берега Лавы. Проводив его тщедушную фигурку презрительным взглядом, охранницы лишь морщились и, решительно поправив ремень, на котором висела огромная винтовка, и выпятив обтянутую синей гимнастеркой двухведерную грудь, продолжали обход объекта по узкой металлической дорожке, висевшей над рекой вдоль железнодорожного пути. Больше всего Николай Порфирьевич боялся встречи с поездом на этой дорожке. Если же это случалось, он вцеплялся обеими руками в ржавые перила и зажмуривался, чтобы

не видеть ни ползущих в угрожающей близости вагонов с их страшно выпирающими буксами, ни струящейся внизу мутно-желтой воды, вспенивающейся вокруг толстенных гранитных опор.

Подпертая плотиной Лава разделялась на два рукава. Один обрушивался водопадом в глубокую и широкую чашу, дно которой было усеяно острыми камнями, другой резко забирал вправо, в узкий судоходный канал со шлюзом, а от него ответвлялся канальчик, доставлявший воду к небольшой турбине и обеспечивавший энергией картоноделательную фабрику и мукомольный заводик. Три рукава встречались под железнодорожным мостом и через полкилометра сливались с Преголей. Пробегая вечером по мосту, Николай Порфирьевич чувствовал себя маленьким и беспомощным перед надвигавшимися из темноты поездами, перед черневшими над водой громоздкими зданиями мельницы и фабрики с клубами пара на крышах, перед струившейся внизу Лавой, наконец, перед задастыми стрелочниками, чьи презрительные взгляды оставляли на его лице ожоги. «Скорее! скорее отсюда!» — это была единственная мысль, владевшая безраздельно бедолагой фельдшером на мосту. Успокаивался он лишь на хорошо освещенном железнодорожном переезде, откуда было рукой подать до дома и Красной столовой.

Промозглым осенним вечером Николай Порфирьевич был достигнут на середине моста поездом, медленно влачившимся к тому месту, где с главным путем встречалась ветка, ведущая к мельнице. Фельдшер замер, вцепившись в перила, но не успел зажмуриться — перед глазами, на самом краю зрения, вспыхнула и тотчас погасла оранжевая искра, и почему-то эта вспышка, словно сигнал тревоги, заставила его сердце учащенно забиться. Он испуганно посмотрел на покрытую мучным налетом черепичную крышу мельницы, на клубы пара, поднимавшиеся над картоноделательной фабрикой, на ивняки на берегу, слившиеся в сплошную темную массу, — и вдруг увидел белую фигурку у воды, там, где сходились две тропинки — одна поднималась к железнодорожному переезду, другая через прибрежные ивняки выводила к Красной столовой. Это женщина, сообразил Николай Порфирьевич. Его била дрожь — но не от холода. Держась за перила, он напряженно наблюдал за белой фигуркой, даже забыв о скрежетавшем за спиной поезде. Приподняв подол, женщина ступила белой ногой в воду. Шагнула. Оступилась, покачнулась, но удержала равновесие. Еще раз шагнула, тотчас погрузившись до пояса в ледяную черную воду. Широко развела руки — и вдруг бросилась вперед. Ее подхватило сильное течение. Она заколотила руками, что-то крикнула. Из освещенной сторожевой будки на мосту выглянула стрелочиха в капюшоне. На тропинке со стороны фабрики показались темные фигуры людей. Охранница выстрелила из винтовки в воздух. Люди на тропинке испуганно присели, заозирались. Тяжелый состав начал тормозить,

визгом и скрежетом металла заглушая все звуки. Женщину сносило к мысу, где Лава встречалась в потоком пены, выброшенным турбиной. Николай Порфирьевич подался вперед, пытаясь разглядеть женщину в воде. Он вдруг понял, что она вот-вот погибнет. Или погибает. Или даже уже погибала. И он должен что-то сделать. Закричать? Прыгнуть? Он мгновенно вообразил, как освобождается от пальто (пять больших пуговиц, туго входивших в петли), сбрасывает шляпу, пиджак (четыре пуговицы), брюки (три пуговицы), рубашку (пять пуговиц на планке да две на манжетах), кальсоны, ботинки... нет, как же без кальсон? Нет, нет, все не так и не то, нужно бежать назад — вдоль остановившегося состава, к лестнице об одном поручне, ведущей на берег, огороженный колючей проволокой, нужно пролезть под проволокой и при этом успеть опередить овчарку, которая охраняла предместье с этой стороны (другая — за насыпью, еще две на том берегу), и через пятнадцать-двадцать шагов он окажется у самой воды... Но ведь женщина — у мыса, а между мысом и берегом — метров тридцать ледяной Лавы... Словно прикипев к перилам, Николай Порфирьевич продолжал наблюдать за мысом, на который уже выбежали люди. Они что-то кричали.

— Вон там! — Стрельчиха в капюшоне показала рукой в темноту. — Вон там!

Несколько человек бросились к фабрике — до нее было метров сто пятьдесят — и вскоре вернулись с фонарями и баграми.

Поиски утопленницы продолжались несколько часов. На берегу, несмотря на позднее время, собралось много народу. Поеживаясь под ледяным дождем, мужчины курили и давали советы тем, кто с лодок обшаривал дно баграми. Наконец из воинской части прибыли водолазы. Они-то и отыскали утопленницу, застрявшую под корягой. Тело вытащили на берег. И вот только тогда Николай Порфирьевич, словно очнувшись от сна, разжал вконец окоченевшие руки и спустился вниз. Собаки не тронули его. Он пробился через толпу к воде. Женщина лежала на спине с широко раскинутыми руками и ногами, изо рта у нее что-то вытекло, испачкав подборок, белую шею и полное плечо. При свете фонарей Николай Порфирьевич разглядел, что женщина была красива. На ней был домашний халат, перехваченный поясом с кистями.

— Кто-нибудь знает ее? — спросил участковый Леша Леонтьев, сидевший на корточках рядом с утопленницей. — Откуда она такая?

— С поезда, — предположил младший Разводов. — Рижский два часа как ушел.

Леша снизу вверх посмотрел на него и покачал головой.

— Ладно, пошли по домам. Давайте, давайте, мужики, расхось...

Женщину на носилках перенесли к фабрике и погрузили в машину.

— Глянь-ка, и ты тут. — Леонтьев поманил Николая Порфирьевича. — Лезь в кузов, доктор, опять на службу надо.

Николай Порфирьевич полез в кузов.

В приемном покое женщину раздели — под халатом не было ничего, даже чулок. Доктор Шеберстов велел Николаю Порфирьевичу отправляться домой и на прощание поблагодарил за усердие. Фельдшер смущенно пробормотал, что на мосту он оказался случайно, но его уже никто не слушал.

Несколько дней в городке только и говорили, что о загадочной утопленнице. Вскоре выяснилось, что она и впрямь сошла с рижского поезда, оставив все свои вещи и документы в купе. Судя по бумагам, она была замужем, мать двоих детей. Что побудило ее в одном халате и босиком покинуть теплое купе, сойти именно на этой станции (стоянка — две минуты) и отправиться к реке? Опросы проводников, соседей по купе и вагону ничего не дали. В крови покойной не было обнаружено следов алкоголя. Говорили, что, когда муж, приехавший забирать тело, увидел на ее груди и бедрах следы укусов, а на полных плечах — небольшие характерные синяки, он лишь насупился и закусил губу. Из чего всегдашатаи Красной столовой сделали вывод: женщина в поезде встретилась с любовником, который — почему бы и нет? — после страстных объятий объявил, что решил с нею навсегда расстаться; совершенно очумевшая от горя баба и решила покончить с собой...

— Еще та стерлядь! — восхищенно заметил Колька Урблюд. — Такую и не захочешь, а укусишь!

Дремавшая за стойкой Феня лениво улыбнулась Урблуду и проворчала:

— Врешь, конечно. Но душевно. По-бабьи.

Тогда-то Николай Порфирьевич и попытался внести свою лепту в расследование, предпринятое завсегдашатаи Красной столовой. И тогда-то все и поняли, что этот скучный человек преследует лишь одну — и, разумеется, недостойную — цель: всего-навсего восстановить событие во всей его полноте и достоверности. Увы, его не интересовали версии и предположения. Он рассказывал только о том, что видел сам и заслуживающие доверия свидетели. Он поведал, как увидел белую фигурку на берегу и как решал, прыгать ему в воду или нет. Мужики сходились на том, что, даже если бы фельдшер прыгнул с моста, дело кончилось бы двойными похоронами: темень, ледяная осенняя вода, сильное течение, девятнадцать пуговиц (некоторые насчитывали больше)... А смерти Николаю Порфирьевичу никто не желал. И даже если бы он успел добежать до берега (колючая проволока! собака!), как он преодолел бы рукав Лавы? Как отыскал бы в темноте тонущую женщину и вытащил эту корову на берег?

Наедине с собой он вновь возвращался мыслями к происшествию на Лаве. Быть может, лишь потому, что никаких других при-

ключений в его жизни не было. Но, наверное, еще и потому, что он считал себя непосредственным участником случившегося, а не просто свидетелем. Лежа в постели, он пытался вызвать образ прекрасной незнакомки, молча сидящей в темном купе и глядящей в окно. Тело ее еще хранило память о его руках и губах. Наверное, горькую память. Проводник объявляет станцию. Стоянка две минуты. С улыбкой на губах она спускается на перрон. Мокрый ледяной асфальт обжигает босые ступни. Она идет вдоль состава к переезду и даже не оборачивается вслед тронувшемуся поезду: ее это уже не касается. Она еще не знает, что будет делать и чем все это кончится, но жизнь ее уже безвозвратно перевернута. Пересекает переезд и сворачивает на тропинку, ведущую через ивняк на берег Лавы. Нет ни цели, ни, скорее всего, даже предощущения цели, — лишь действие само по себе. Движения сомнамбулы точны и безотчетно целенаправленны. За кустами — тусклый, жестяной блеск воды. Высоко в небе — опущенная мукой крыша мельницы, освещенная прожекторами, да клубы пара над строениями фабрики. Громада железнодорожного моста, по которому медленно ползет товарняк. Тщедушный человечек, судорожно вцепившийся в перила. Кажется, она чувствует его взгляд. Его страх, недоумение и растерянность. Но она уже ступила теплой ногой в темную реку, и душа ее свернулась бесчувственным комом, как сворачивается в холодной воде капля расплавленного воска. Слышала ли она выстрел? Крики людей? Звала ли на помощь? Или все это почудилось Николаю Порфирьевичу? Как почудилась и оранжевая вспышка перед глазами? Но вспышка-то была. Была.

Он был еще подростком, когда они приехали в этот восточно-пруссский городок. Тогда здесь находились ремонтные склады, где после депортации немцев были собраны вещи и мебель из опустевших домов. За бутылку-другую водки тут можно было разжиться креслом, фотоаппаратом или часами. Матушка Николая Порфирьевича добыла в складе дамский велосипед — золотые буквы на коричневом лаке, веер туго натянутых разноцветных шнуров по обе стороны заднего колеса (чтобы платье не попадало в цепь и спицы), большой звонок и даже фара, работавшая от динамики на вилке переднего колеса. В первый же день Коля научился управлять чудесной машиной, а на второй, не сказавшись матери, отправился в путешествие по городку. День был солнечный, теплый. Сердце мальчика наполнилось ощущением счастья. Велосипед отлично бежал по асфальту. На крутом спуске с Банного моста велосипедиста догнал грузовик. Коля прижался к бровке тротуара, пропуская машину, и в этот-то миг перед его глазами и вспыхнула оранжевая искра. Велосипед подбросило на глубоко врезанной в мостовую решетке ливневой канализации, руль вырвался из рук, мальчик вылетел из седла и рухнул на тротуар. Домой он вернулся весь в синя-

ках и ссадинах, с ободренным велосипедом, переднее колесо которого было сильно погнуто. Матушка сурово наказала сына, а когда он рассказал ей об оранжевом всплохе перед глазами, сухо изрекла: «Бог предупреждает, а наказывают люди себя сами». После того как матушка вышла на пенсию, велосипед отправили в сарай. И хотя Николаю Порфирьевичу было далеко до службы, матушка так и не отменила запрета, а ключ от сарая носила на поясе.

После происшествия на берегу Лавы Николай Порфирьевич задумался о природе оранжевой вспышки. В обыденных обстоятельствах она могла бы сигнализировать, скажем, о переутомлении. Но в обоих случаях ни о каком переутомлении и речи быть не могло. И на спуске с Банного моста, и на железнодорожном мосту словно кто-то пытался предупредить его об опасности (ведь мост всегда граница!). Быть может, это его собственная нервная система, повинувшись импульсу из глубин подсознания, предупредила об угрозе. Однако эта гипотеза состоятельна лишь применительно к первому случаю. Во втором же ему ничто прямо не угрожало. Он стоял на мосту, крепко держась за перила, на безопасном расстоянии от движущегося поезда. Он не бросился в воду, с места не тронулся, пальцем не шевельнул. Иногда — без особого энтузиазма — он допускал, что подсознание (в наличие которого, впрочем, он не очень-то верил) каким-то чудесным образом предупредило его об опасности бездействия, угрожавшего последующими муками совести и прочей литературой: мог бы спасти — да струсила и т. п. Совесть, однако, Николая Порфирьевича не мучила, и это его ничуть не удивляло: он был не в состоянии помочь несчастной женщине. Даже если бы прыгнул с моста не раздумывая и не раздеваясь. Его тотчас снесло бы сильным течением. а намокшая одежда (пальто, пиджак, рубашка, брюки, кальсоны) и тяжелые башмаки сводили шансы на выживание к нулю. Прыжок с моста был бы поступком абсолютно бессмысленным, и в городке не нашлось бы ни одного человека, который расценил бы его иначе. Это был бы поступок вроде того, который совершила однажды одноногая Даша, полоскавшая белье в реке и вдруг услышавшая зов о помощи. Заваливаясь набок на своем деревянном протезе, эта совершенно не умеющая плавать бабища скакнула в привязанную к берегу утлую лодочку-душегубку, в которой сидели четверо малышей, перевернула ее и обрушилась в воду. Дурачившимся на середине реки парням (они-то и звали на помощь) пришлось спасать детей. Дашу спасти не успели. Сиротами остались трое ее сыновей и две девочки — всем им пришлось хлебнуть лиха, и никто из них так и не смог понять материнского поступка: безотчетная глупость — это и есть собственно глупость. Так что выбор, перед которым вдруг оказался Николай Порфирьевич, был явно ложным. Попросту говоря, выбора не было. Поэтому и оранжевая вспышка могла означать только одно: вни-

мание, сейчас что-то случится. Что-то страшное. Но на сей раз не с тобою, — с другим. С тем, кого ты даже не знаешь — ни в лицо, ни по имени. И этот прекрасный образ никогда не покинет тебя, навсегда овладев твоими мыслями, мечтами, сновидениями. Быть может, лишь потому и затем все и случилось, быть может, лишь затем женщина и покинула теплое купе и погибла в ледяных водах, чтобы никогда не умирать в твоём воображении... При этой мысли по телу Николая Порфирьевича пробегала дрожь, а лицо искажалось испуганно-счастливой улыбкой, которой он, к счастью, видеть не мог. В такие минуты он верил в Бога, в чей замысел ему случайно удалось проникнуть. Он был счастлив, ибо Господь спас его от одиночества, подарив теплое тело незнакомки, ее тайну, ее любовь.

С годами Николай Порфирьевич стер из памяти саму мысль о том, что в ту роковую ночь он оказался перед выбором. Частенько вечерами он совершал прогулку, начинавшуюся на асфальтовом перроне станции и завершавшуюся на глинистом берегу Лавы близ железнодорожного моста. Однажды он выловил там из воды щенка — сучку, нареченную Лавой и беззаветно влюбившуюся в своего замкнутого и робкого хозяина. Иногда, пробегая по мосту, он ни с того ни с сего вдруг останавливался как вкопанный и, вцепившись обеими руками в перила, вглядывался в темноту. Он мог долго так простоять, ни о чем определенном не думая, в оцепенении, из которого его выводил гудок паровоза или оклик скучающий стрельчихи. Встряхнувшись, он бежал домой, где его ждали состарившаяся мать, преданная дворняжка и волнующе прекрасное воспоминание о женщине, навсегда вошедшей в его жизнь и преобразившей ее, наполнившей до краев его душу, которую по одному этому не надо было спасать, ибо она уже была спасена...

ЖЕНЩИНА И РЕКА

Как о воде протекшей будешь вспоминать...

Июв

Погрузившись по щиколотки в жидкую глину, я сидел на корточках, обхватив руками колени, и заворожено смотрел на текучее вещество реки, на свое отражение в воде — темная фигура на фоне невысокого берега. На другом берегу бегали и кричали дети. Казалось, я впадаю в сон. На краю обрывчика за моей спиной, прямо надо мною, возникла девочка, отразившаяся в воде. Нешироко расставив ноги и склонив голову набок, она смотрела мне в затылок — я почувствовал это физически. Я напряг зрение. Девочка была невысокая и, кажется, миловидная, кажется, чуточку веснушчатая. Чувственные, красиво вырезанные губы делали ее старше своих четырнадцати, ну, может быть шестнадцати лет. На ней была белая футболка, обтягивавшая неразвитые груди, и коротенькая юбочка. Крохотная родинка на верхнем правом веке, чуть больше — на нижней губе, а третья... Но я же знал, где была третья! Я резко встал и обернулся. Девочка исчезла. Я быстро вскарабкался наверх. Передо мною расстилалась (ничего другого она делать не умела) гладкая, как стол, кое-где поросшая низеньким кустарником поверхность пустынного острова, над которым медленно гасло августовское небо... Я прыгнул в воду и быстро переплыл ставшую вдруг узкой реку, чье желтовато-коричневое зеркало тускло горело в лучах заходящего солнца.

Край синего облака внезапно вспыхнул алой каймой. И в тот же миг над землей возник звук — слабый, бесконечно печальный, гаснущий — и все не погасающий. Он долго не затихал.

Женщина, сидевшая на складном стульчике с книгой в руках, прикрикнула на ребятешек, с рассеянной улыбкой взглянула на меня, поправила свои красивые рыжеватые волосы.

Я оделся, поднялся на дамбу — она повторяла изгибы реки. Вдали темнели ворота шлюза, черепичные кровли над кронами лип. Слева от дамбы раскинулся луг со стадионом в центре. Над лугом поднимался тонкий туман.

Девочки не было. Девочка была. Скорее всего, оба утверждения одинаково справедливы, и с этим, увы, надо примириться, хотя это и невозможно. Девочка, женщина... Я никогда не встречу ее — я никогда не расстанусь с нею.

ПРОДАВЕЦ ДОБРА

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей скобяным товаром, — это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком, — и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена — толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забравшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион Иванович, повинуюсь ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много... и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много — да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое.

Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует...»

Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечных и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо.

Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.

— Не желаете ли добра? — просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза. — Вот. — Он протянул коробочку с подтеками клея на углах. — Не обижайтесь...

Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне.

В своей комнате я осторожно открыл коробку. Одна сторона ее была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово — «добро».

Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передряг. Чернила на доньшке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним — одним-единственным — смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.

ПЯТЬ-ПЯТЬ-ПЯТЬ

Школа дураков была одной из достопримечательностей городка. В конце августа сюда со всей округи, главным образом из деревень, свозили странно похожих друг на дружку туполицых мальчиков и девочек, которые, цепляясь за своих матерей и непрерывно жуя булки, толпились в магазинах, где им наскоро покупали одежду и обувь подешевле, и осаждали парикмахерскую — По Имени Лев, каменяя лицом, быстро остригал их наголо, после чего они тянулись за реку, к двухэтажному зданию возле Гаража, где и располагалась школа-интернат для умственно отсталых детей — олигофренов. Жили они обособленно, но иногда их выводили погулять на луг, тянувшийся до Детдомовских озер, и у нас появлялась прекрасная возможность вволю подразнить и пострелять из рогаток по дуракам. Поскольку их воспитатели не очень-то бдительно следили за стриженными, ребята постарше умудрялись отбить от стада дурочку помиловиднее — такая обычно за конфетку-другую охотно соглашалась утешить терзания юной плоти.

Родители редко навещали детей, сбавренных в школу-интернат. Люся Логинова была исключением. Она приезжала к сыну Мине не реже двух раз в месяц, удивляя даже директора школы азербайджанца Адильча, который и после третьего стакана, когда вообще-то речь его становилась невразумительной, связно выговаривал: «Вот чем отличается мать от еб твою мать».

Жила она в маленьком лесном поселке километрах в двадцати от нашего городка. Родители ее разошлись и уехали, оставив девочку на попечение тетки, которая, конечно, была только рада, когда за Люсей стал ухаживать чубастый красавец Костя Логинов (уж больно много мыла потребляла девочка, страсть как любившая мыться, словно в роду у нее уток было больше, чем людей).

Вскоре Люся забеременела, и, как ни выкручивался Костя, родители принудили его жениться на сироте. В первую же ночь загорелся сарай с сеном, где уложили молодых, но радость Костина была недолгой: мучившаяся животом Люся всю ночь просидела в малинике, издали наблюдая за пожаром.

Муж пил и бил жену так, что вскоре у нее выпали все волосы и она уже не могла появиться на людях без косынки или платка. Первенец оказался дурачком, в чем, впрочем, винили не только Люсю, но немножко и Костю. Она и сама иной раз начинала заговариваться и бессмысленно и бессвязно частить — получалось что-то вроде «пыт-пыт-пять», за что товарки по свиноферме и дразнили ее — Пять-пять-пять. У них было любимое развлечение в день получки — выхватить у Люси деньги и заставить ее побегать за хохочущими женщинами. Наконец обессиленная Люся бухалась на колени перед бабами и, театрально протянув руки к обидчицам, начинала со слезами упрашивать: «Девушки-голубушки, не ради себя прошу, но ради сыночка маленького, неразумненького...» Бабы отдавали деньги, плача, обнимая Люсю и называя ее вороной. Чтобы утешить женщин, она читала стихи собственного сочинения. Товаркам нравилось.

Люся была известной в поселке поэтессой. Однажды заведующий клубом одноногий старичок Животов, услышав ее стихи, велел ей выступить со сцены на концерте после лесхозовского профсоюзного собрания. А чтобы она поменьше боялась, налил ей водки в карандашницу. Выйдя на сцену и от волнения ничего перед собою не различая, она прокричала в пустоту:

Россия-мать, как я люблю тебя,
твои прозрачны реки и поля,
твоих людей и птиц на небесах.
О как люблю во всех тебя красках!
Россия-мать, хоть ты люби меня!

Зал от неожиданности замер, недоуменно глядя на невысокую, щуплую, с пухлыми детскими коленками женщину, а потом разразился аплодисментами, «которым позавидовал бы даже Пушкин», как выразился потом старик Животов.

С того вечера Люсино выступление стало непременным номером всякого концерта в клубе и всякий раз ее благодарили дружными рукоплесканиями.

Сосед Виктор Манохин, работавший на трелевочном тракторе, однажды даже сказал Косте Логинову: «Не мое, конечно, дело, но ты бы бросил ее бить, а то нервы у меня слабые — могу и заступиться». Узнав об этом, Люся перепугалась до икоты, но после этого Костя и впрямь стал бить ее реже, а потом и вовсе махнул рукой и уехал на заработки за Урал.

Оставшись одна, — Миню уже сдали в интернат, — Люся жила тихо и бедно: свиноферма, да стихи, да поездки в город — к сыну. Завидев издали Виктора Манохина, убегала домой, запиралась на все замки и, сидя на полу в прихожей с закрытыми глазами, лихорадочно бормотала свое «пять-пять-пять», боясь, что сосед направляется к ней, а у нее не прибрано, и угостить нечем, и лифчик с разными пуговками — одна маленькая белая, а другая черная и крупная.

Когда же Виктор и впрямь сказал, что заглянет вечером на огонек, Люся вымыла пол с мылом, приготовила щи с мясом и даже пришила к своим застиранным трусикам кружева, — но, сняв косынку и внимательно посмотрев на себя в зеркало, решила Манохину не открывать и, как он ни бился в дверь, не открыла, а кружева с трусиков — спорола.

Через год вернулся Костя. Был он сер, пьян и нехорошо кашлял по ночам. Денег он не привез, а привез серый кусок кимберлита, «чтоб ты, дуреха, знала, из чего алмазы выколупывают».

На радостях Люся предложила мужу навестить сына, но Костя хмуро отказался: «Сама такого родила — сама и паси».

Люся села в автобус, который дважды в день проходил через поселок, и отправилась в гости к Мине.

Была холодная весна — с ясным небом и колким блеском полой воды, плескавшейся у дамбы, по гребню которой, ежась от ветра, гуляли Люся и Миня. Мальчик непрестанно жевал копеечную булку, купленную ему матерью в Белой столовой. Суетливо поправляя на сыне то пальто, то шарф, Люся торопливо рассказывала ему об отце, вернувшемся из диких сибирских краев, о поселковой жизни и о жизни будущей, которая непременно будет счастливой — хотя бы только потому, что она — будущая. Потом она достала из кармана скатанную в тонкую трубку бумажку, усадила Миню на скамейку и встала перед ним с театрально воздетой рукой. Она всегда приезжала к сыну с новым стихотворением. Мальчик сонно слушал, жуя булку, и на его щеках и подбородке шевелились приставшие крошки. Этим же стихотворением Люся особенно гордилась — во-первых, потому, что его ей заказал старик Манохин для надгробия погибшей внучки (и даже пообещал заплатить), а во-вторых, оно ей просто понравилось. Глядя поверх Мининой макушки, она прочла нараспев высоким голосом:

Ты со стаей лебединой
улетела в небеса.
На земле звалась Мариной,
была девушка-краса.

Раскрасневшаяся от радости и резкого холодного ветра, Люся по пути к интернату несколько раз повторила удачные строки. Сдав

сына дежурному воспитателю, она неторопливо направилась к площади, к автобусной остановке, с удовольствием прислушиваясь к поцокиванию своих каблучков, подбитых крошечными стальными подковками, и со смутной и стыдливой улыбкой поглядывая на встречных мужчин. Дышалось легко, хорошо, весенне. И даже пропахший бензином маленький туполобый автобус с сердитыми старухами в толстенных кофтах и подпившими подростками вызывал у нее только умиление. Она смотрела в окно на пустые поля и голые деревья, освещенные еще ярким солнцем, глубоко вдыхала запах бензина и со счастливыми слезами на глазах шептала:

Ты со стаей лебединой
улетела в небеса...

В небеса, в небеса... была девушка-краса...

ЖИВЕМ ВСЕГО ДВА РАЗА

— Простите, вы немец?

Андрей Фотограф обернулся.

Девушка спрыгнула с подножки вагона и поправила темно-каштановые волосы, с улыбкой глядя на рослого костлявого мужчину в черной широкополой шляпе, длинном черном плаще, с узким шарфом, щегольски обмахнутым вокруг шеи. Она была в ситцевом платье с кружевами, слегка пожелтевшими от долгой сундучной выдержки, в туфельках на высоких каблуках. На плечи был наброшен легкий светлый плащ. В руках она держала новенькую дешевую сумочку.

— Последнего немца выслали из Восточной Пруссии два года назад, — растерянно сказал он. — Хотите — я вас сфотографирую... я фотограф... Прошу вас!

— Стоянка поезда три минуты. — Она с улыбкой покачала головой. — Вы сумасшедший. И фотоаппарата у вас нету. Да и на немца вы не похожи, скорее — на цыгана.

— Это рядом. — Андрей попытался придать своему лицу умоляющее выражение, но сил не было даже на это.

Девушка по-прежнему улыбалась, но взгляд ее был серьезен.

— Это безумие, понимаете?

— Безумие, — согласился он. — Поезд стоит три минуты. Вот вот отправится.

Он шагнул в сторону и наткнулся на этажерку, которую двое молодых людей в одинаковых крапчатых кепках с пуговкой собирались погрузить в вагон. Этажерка покачнувшись — он неловко придержал ее рукой.

Девушка рассмеялась.

— Давайте я попробую угадать ваше имя, — предложил он. — Лотерея. Если угадаю, вы...

Она погрозила ему шелковым пальцем.

— Женя, — обреченно сказал он. — Евгения.

Она — уже без улыбки — смотрела на него.

Вот-вот должны были объявить отправление.

— Хорошо, — наконец сказала она. — Куда идти?

Он, разумеется, солгал: от вокзала до ателье было минут двадцать ходу. Они шли не торопясь, взявшись за руки, не обращая внимания на прохожих, удивленных такой фривольностью.

— Да вы не слушаете меня! — воскликнула вдруг она.

— Слушаю. Ваша мама юрист, отец погиб на фронте, вы на смерть поссорились с женихом и уехали из Саратова сюда, в Кенигсберге у вас тетушка, вы везете ей в подарок шесть серебряных ложек и надеетесь с ее помощью устроиться на работу... Вас действительно зовут Женей?

Она расхохоталась.

— А как же еще! — У нее были мелкие голубоватые зубы. — Шесть ложек — подумать только!

В палисаднике перед фотоателье — это был серый двухэтажный домик под черепичной крышей — цвели алые и белые розы, за которыми ухаживала пожилая уборщица Кувалда, женщина одинокая, грубая, усатая, с огромными костлявыми кулаками. Она важно говорила, что однажды была влюблена, но история кончилась ничем. Пока Андрей обслуживал клиентов, она читала книги из его скромной библиотеки.

— Розы! — счастливым пустым голосом сказала Женя. — Скопища!..

В прихожей она одним движением, не глядя — куда, скинула светлый плащ — Андрей подхватил — и прошла в зальчик, где на стрекозьем штативе стоял деревянный фотоаппарат. Андрей ногой отшвырнул стул, на котором обычно послушно одеревеневали клиенты, и придвинул к ней кресло с высокой прямой спинкой, украшенной резными химерами, драконами и змеями, сплетающимися чешуйчатými хвостами и угрожающими друг дружке оскаленными пальцами и раздвоенными языками. Женя откинулась на спинку, закинув ногу на ногу и небрежно уронив тонкие прозрачные руки на подлокотники, и вопросительно посмотрела на фотографа, который только сейчас понял, как она высока ростом.

— Сейчас, — сказал он, мучаясь бессилием своей речи. — Момент. Только один момент.

Через несколько минут он вернулся с огромной охапкой алых и белых роз.

— Это безумие, — вновь сказала она, — и вдруг резко встала и, не спуская с него напряженно-темного взгляда, развязала пояс на

платье. — Помогите же. — Повернулась к нему спиной. — Там крючки.

Разбудила их Кувалда, матерно горевавшая о загубленных розах. Бухая кирзовыми сапогами, она поднялась в квартиру фотографа, и не успел Андрей спохватиться, как баба вошла в комнату и уставилась на Женю, которая с улыбкой сидела в постели, держа перед собою простыню с алым пятном.

Кувалда шевельнула усами.

— Ну, — наконец сказала она, — раз так...

И ушла.

Наскоро перекусив, они бросились на вокзал. Вскочив на подножку, Женя спросила без тени робости, придет ли Андрей на следующий день встретиться с нею.

— Завтра в два я буду у памятника Шиллеру, — сказал Андрей. — Там все встречаются. Известное место.

Двое молодых людей в одинаковых краповых кепках с пуговкой, оттолкнув Андрея, едва успели втащить в вагон этажерку. Женя махнула рукой из-за их спин. Поезд тронулся.

Когда Андрей вернулся домой, Кувалда в кухне допивала вторую бутылку водки.

— Значит, счастлив, — отчетливо проговорила она, не поворачиваясь к Фотографу. — И любишь. И хочешь, значит, чтоб всегда так было...

Он с изумлением уставился на нее.

— А если хочешь, чтоб — всегда, — тягуче продолжала Кувалда, — больше с нею никогда не встречайся. Никогда. — Она наконец посмотрела на оторопевшего Андрея и с беззлобной усмешкой повторила: — Никогда. Живем-то всего дважды.

— Дважды? — тупо переспросил Андрей.

— Всяк просит Господа перед смертью о второй жизни, точно зная, что вот уж она-то и будет настоящей, и успевая прожить ее в предсмертном хрипе, стоне и блеве. Так сделай это сейчас, чтоб не жалеть потом. Проживи по-настоящему. И тогда-то у тебя не будет ничего и никого, кроме нее. Не по силе? Мало кому по силе.

— Три минуты, — глухо пробормотал Андрей.

— Чего?

— Да я про жизнь, — сказал он, поднимая налитый Кувалдой стакан. — Не интересно.

Эту историю Андрей Фотограф рассказал мне двадцать шесть лет спустя, когда мы пили пиво в Красной столовой. Он был известным в городке человеком, прославившимся тем, что делал блистательно лаконичные и трогательные надписи на надгробиях и обручальных кольцах (пятерка за строку прозы, десятка — за стихотворную). Весь городок знал надпись — его авторства — на могиле глав-

ного городского обормота и пьяницы Кольки Урблюда: «Лежал бы ты — читал бы я». На его фотографиях были запечатлены все жители городка, их жизнь от рождения до смерти. Раз-другой в месяц, подкопив денег, он исчезал на несколько дней из городка, но всякий раз возвращался — помятый, небритый, с виноватой улыбкой на обрюзгшем лице, — чтобы вернуться к обязанностям «мастера смерти», как он сам это называл, — вновь и вновь останавливать мгновения и выдавать их клиентам строго по квитанциям...

— И ты так и не встретился с нею?

Он странно посмотрел на меня и проговорил с улыбкой:

— Но зато у меня ничего и никого настоящего, кроме нее, в жизни и не было. А она — была. Понимаешь?

— Была?

— Была, — пьяно кивнул он. — Живем-то всего два раза, чего же непонятного...

О РЕКАХ, ДЕРЕВЬЯХ И ЗВЕЗДАХ

«Неба не видят только свиньи и змеи, — сказал Миша Лютовцев жене наутро после свадьбы. — А мы с тобой должны удержаться в людях».

Тоня испуганно кивнула, соглашаясь с мужем, который вообще-то был человеком нормальным, без отклонений.

Миша работал сушильщиком на бумажной фабрике, жена — медсестрой в фабричной больничке. Жили они в домике возле старого парка, в конце Семерки. При маленькой зарплате жители городка были вынуждены держать скотину, птицу, огород. Не были исключением и Лютовцевы, которые вскоре после свадьбы обзавелись двумя десятками кур, поросенком, коровой третьим отелом, десятком гусей, овцами и кроликами. Вставали и ложились затемно, чтобы управиться с хозяйством: подоить и выгнать в стадо корову, задать поросенку и овцам, нарезать свежей травы для кроликов... Летом надо было запастись сеном для коровы и овец. Когда родился сын, а следом еще один, молоко на сторону продавать перестали, но по-прежнему торговали кроличьим мясом — зверьки плодились без удержу. Тоня научилась выделывать кроличьи шкурки — из них соседка Граммофониха шила шапки и детские шубки, пусть и не очень казистые, зато теплые и дешевые.

Словом, жили Лютовцевы как все — трудно. Мало того, что с утра до вечера невозможно было спины разогнуть, так ведь еще и отпуск подгадывали под сенокос либо под осеннюю уборку.

Но при всем при том один час в день Миша и Тоня выделяли на реки, деревья и звезды. «Всего час, — предложил Миша еще тогда, после свадьбы. — Шестьдесят минут».

Тоня опростетчиво согласилась, но уже через несколько месяцев пожалела об этом.

Каждый день они выбирались на час в парк, тянувшийся вдоль Преголи. Конечно, прогуляться вечером после тяжелого дня — дело хорошее, — ну а если дома хозяйство и нужно к утру сварить кормежку поросенку, а если дома дети малые плачут, а если за день так наломаешься, что у телевизора можешь только лежать? «Сегодня-то могли бы и отложить, — как-то запротестовала Тоня, — у меня мозоль аж горит...» Но Миша так посмотрел на нее, что ей не оставалось ничего другого, как сунуть распухшие ноги в галоши и взять мужа под руку.

Они медленно шли через заброшенный парк, под высокими старыми деревьями. Полузаросшая дорожка выводила их на берег реки. Темнело. Загорались звезды. Через час Лютовцевы возвращались домой.

Миша решительно пресекал попытки жены обсуждать домашние дела во время таких вылазок: «Коли мы только ради всего этого выбрались, то об этом нужно и говорить». То есть о реках, деревьях и звездах. Но вот закавыка: оказываясь лицом к лицу с рекой, деревьями и звездным небом, они терялись, совершенно не находя слов для общего разговора. Ну, в самом деле, что можно сказать о реке? Течет себе в глинистых берегах, весной и осенью разливается, затапливая сенокосы в пойме, зимой тихонько урчит подо льдом. Деревья шумят под ветром, сбрасывают листья, чтобы весной зацвести и осенью пожелтеть. А звезды — о них и вовсе нечего сказать, так они далеки от людей и непонятны. Конечно, бывает, что тихим и теплым осенним вечером, когда выйдешь на высокий берег и вдохнешь всей грудью пахнувший терпким листом воздух, и окинешь взором петляющую среди ивняков Преголю, и увидишь тлеющую пряжу Млечного Пути, и ощутишь вдруг на какой-то миг страстную и не вмещающуюся в одну душу любовь невесты к чему и к кому, — жизнь внезапно будто и сводится к этому единственному мгновению, — но выразить это словами? Какими? Не было таких слов ни у Миши, ни у Тони.

Озадаченный этим обстоятельством, Миша записался в фабричную библиотеку и набрал разных книжек о реках, деревьях и звездах, которые перед сном читал вслух, неодобрительно поглядывая на жену, которая хоть и боялась заснуть, но ничего с собой не могла поделать: сказывалась усталость. Однако мало-помалу они научились говорить об особенностях гидрологии Преголи, о коре и сердцевине деревьев, о величинах звезд и расстоянии до Бетельгейзе. И сведений, почерпнутых в книгах, было так много, что за час Миша и Тоня не успевали обо всем переговорить. Да и слова были все новые, ученые, никак не ложившиеся под язык.

Впрочем, постепенно, с годами, Лютовцевы забросили чтение книг, однажды сообразив, что можно изучить геологию речного русла, проникнуть в тайну цветения каштана и узнать химический со-

став голубых звезд-гигантов, но главное, человеческое — по-прежнему останется неуловимым, влекущим и невыразимым: течение, рост, свет и горение — вечность текучая, утрашающе живая и по-человечески изменчивая. Перед нею тысячи книг значат ничуть не больше, чем слово «река», слово «дерево» или слово «звезда», но и эти слова ничего не значат перед рекой, деревом или звездой.

Однако и эти горькие открытия не изменили привычку Миши и Тони каждый день уделять час рекам, деревьям и звездам. Да, наверное, тут все дело именно в привычке, приобретенной за долгие годы. Однажды Тоня призналась, что наверняка почувствует себя не в своей тарелке, если они вечером с Мишей не выйдут в парк.

Соседи беззлобно подшучивали над Лютовцевыми, хотя, впрочем, не считали их чокнутыми: гуляют себе люди — и пусть гуляют.

Мне же кажется, что если Бог все-таки существует и однажды труба архангела созовет мертвых и живых в Иосафатскую долину на Страшный Суд, и Судья спросит, чем оправдана жизнь человеческая, и сушильщик с бумажной фабрики Миша Лютовцев и его жена медсестра Тоня ответят, что каждый день они пытались говорить о реках, деревьях и звездах, — Господь удовлетворится их жизнью, а возможно, даже назовет ее счастливой — невзирая на Тонины мозоли, Мишин гастрит и все неурожайные на картошку годы...

БЕСПРИЧИННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Громадный угрюмый кирпичный дом-утюг высоко возносил свои черепичные скаты над пестрядиной толевых и шиферных крыши сарайчиков, в которых вздыхали коровы, похрюкивали свиньи и бесшумно росли овцы. Поздним летним вечером Митя Северин выбирался во двор, садился на принесенный с собою стул, упирался босыми пятками в землю и подносил к губам трубу. Он играл «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», постепенно переплавляя мелодию во «Вниз по реке» или битловское «Вчера». Время от времени он прикладывался к стоявшей под стулом бутылке и, выкурив маленькую папироску и смачно отхаркавшись, вновь брался за трубу. Играл он чудо как хорошо, поэтому ни доминошники в другом углу двора, ни жильцы дома, отходившие ко сну, на Митю не ругались. Из окна за ним наблюдала жена — цыганка Оля, сурового вида женщина с резкими чертами лица и копной крашенных волос на лошадиной голове. Когда в доме оставалось лишь одно освещенное окно, Оля спускалась во двор, брала мужа под руку, стул в руку — и вводила спать. Утром старуха дворничиха Кильманда убирала окурки и плевки, а бутылку сдавала в магазин Шурке.

Митя служил в пожарной команде, которая с утра до вечера спала или резалась в домино, а на пожары всегда опаздывала. В пожарные шли люди, обремененные семьями и державшие большое хозяйство, требовавшее времени. Митя же прирабатывал игрой в оркестре на похоронах да иногда на свадьбах. Сосед старик Яшин морщился: «Не люблю эти похоронные развлечения. Может, просто смерти боюсь?» Митя ухмылялся: «Да не смерти ты боишься, а жизни. Живешь, как жук, жуком и помрешь. А смерти нету — есть только похороны». Яшин сердился: «Жук! А ты не жук? Или у тебя цель какая-нибудь такая есть?» — «Я в детстве бабке на иконе

покаялся, — отвечал Северин, — ни за что никогда никакой цели не иметь. Чтоб жизнь меня не поймала».

Таких людей в городке называли «беспричинными» и не ставили ни во что. Зимой и летом они толкались у винного магазина, и в этих компаниях всегда торчал Митя.

В начале лета Тата Северина утонула в реке Лаве. Ее выловили у железнодорожного моста. Похоронив дочку, цыганка Оля надела поверх ситцевого халата норковую шубу, когда-то подаренную мужем, и ушла куда глаза глядят, оставив Митю в полупустой, запущенной квартирке. Тем вечером он, как всегда, спустился со стулом, бутылкой и трубой во двор. Почему-то не игралось, и Митя, поразмыслив, отправился на реку. И только забравшись по грудь в воду, он ощутил подъем и разыгрался.

— Дочь погибла, жена ушла, а ты стоишь в реке, рыбами обогранный, и дудишь! — поругал его старик Яшин. — Что ты за человек!

— А я не человек, — хмуро возразил Митя. — Я, брат, игра.

— Одумайся да женись, Северин! И только не ищи какую-нибудь там красавицу: тебе жена нужна, а не женщина.

Все лето он играл на реке неподалеку от старого шлюза. Городок сонно млея под луной, утонув по крыши в разливе лип и боярышника, под печальный напев Митиной трубы. На берегу собирались парни и девушки — они молча слушали Северина и угощали его вином, когда он выбирался из воды погреться у костра. Если его спрашивали, почему он тут играет, Митя отбуркивался: «Нипочему». Романтичные девушки намекали на смерть его дочери в реке: не отпевает ли он Тату? Северин смотрел на них с удивлением и лишь пожимал плечами.

В конце августа он исчез. Мужики с баграми обшарили дно у старого шлюза, где в последний раз видели Митю, но тела не нашли. Предположение о самоубийстве было отвергнуто с порога: с какой такой жизнью сводить счеты беспричинному человеку? Напился и утонул. Пожалел о нем разве что старик Яшин, который сказал: «Жизнь состоит из нас, а любит его, как мать — больного ребенка. И это важнее для матери, чем для ребенка». Но чего не услышишь от старых болтунов, которые в томительном ожидании смерти давно забыли, что такое любовь и жизнь...

ДЕРЕВО СМЕРТИ

Бурно вскипевший под ветром, ярко вспыхнувший под солнцем влажный пышный куст сирени со спящие белыми и бледно-лиловыми пузырящимися спелыми гроздьями, брызжущий сладкими каплями света, вызывающий радостный озноб и счастливое изнеможение, — пламенно ликующий сгусток жизни, беззаконной, как само бессмертие...

Это акварель — все, что у меня осталось на память о Владимире Николаевиче Дурягине, школьном учителе рисования и черчения. Может быть, лучшее, что он сделал в своей жизни. Его подарок. Я храню его почти тридцать лет.

Этого грузноватого краснолицего мужчину моя мать сравнивала с медведем, ввязавшимся в драку с бабочкой: он был беспомощен в «обращении с детьми».

Когда-то Дурягин работал водителем электропогрузчика на бумажной фабрике, славился относительной трезвостью, вспыльчивостью и страстью к живописи. Он был не одинок в тяге к бумаге и краскам. По воскресеньям они — Дурягин, а также мастер электроцеха Виктор Илюшин, розовощекий скептик с тонкими губами, и репортер местной газетки Олег Пташников, пьяница-тихушник и отец четырех бойких девчонок, — прихватив мольбертики, провизию и вино, отправлялись в ближайший лес или острова, образованные речными петлями и резавшими их шлюзовыми каналами. Писали акварели, писали маслом — река, ивы, облака, коровы... Неторопливо выпивали, закусывали и болтали. Называлось это — «приподняться на цыпочки». Как сказал однажды Виктор Илюшин, «всю жизнь бежишь вдоль стены и все нет времени остановиться, приподняться на цыпочки и заглянуть за нее: а что там? Может, там какая-нибудь гадость или и вовсе нет ничего, но приподняться — надо».

Иногда к ним присоединялся тогдашний учитель рисования Иван Козуб, двухметровый тощий субъект с иссиня-черными прямыми волосами до плеч, зимой и летом носивший какие-то немислимо широкие черные плащи, кольхавшиеся и летавшие вокруг него при ходьбе. Невзирая на грозную наружность, — узкое смуглое горбоносое лицо, выпяченный острый подбородок, лохматые брови, из-под которых он бросал демонические взоры, — Иван Маркович был добрейшим человеком, позволявшим детям на своих уроках любые выходы. Когда они с женой, у которой были слабые легкие, решили перебраться из Прибалтики на юг, Козуб и порекомендовал Владимира Николаевича Дурягина на свое место. Так водитель электропогрузчика с семилеткой за душой, только-только отметивший сорокалетие, стал учителем единственной в городке средней школы.

Он старался, он очень старался. Много читал, учился на каких-то курсах, засиживался за полночь, составляя планы уроков. Но стоило ему сказать: «А теперь давайте-ка порисуем куколков» — и услышать в ответ смешок в классе, как кровь бросалась Дурягину в голову и он, колотя толстым татуированным кулаком по столу, начинал кричать: «Вон из класса, скотина безрогая, немедленно и без промедления!» Случалось ему и руки в ход пускать, и, хотя многие в городке считали, что без битья нет воспитания, находились и недовольные.

Владимира Николаевича вызвали к директору, и едва он переступил порог, как на него набросился хозяин кабинета Николай Ильич Шуплов (он прославился нагонями от наробразовского начальства за то, что на стене его кабинета рядом с портретом Ленина висела увеличенная фотография самого Шуплова, тогда — штурмана морской авиации, в шлемофоне с очками и новеньким орденом Ленина на груди, — композиция называлась «три Ильича») и завуч Рита Евгеньевна. Громоздкий Дурягин, замерев у двери со сжатыми за спиной кулаками, багровел от стыда и злости: директорскую ругань он воспринимал как должное, но вот фырканье этой красивой седой кошки...

— Понял? — Директор посмотрел на часы: ответ Дурягина, конечно же, его не интересовал. — Ну и договорились.

— Да ничего он не понял! — в отчаянии всплеснула тонкими веснушчатými руками Рита Евгеньевна. — Владимир Николаевич, вы же... Да вы любили когда-нибудь, а, господи боже мой?

— У меня дочка, — с трудом выдавил из себя Дурягин. — Наташка.

— Ладно вам философию тут разводить! — Директор поморщился. — Летите, соколы, отсюда!

Выйдя из директорского кабинета, Владимир Николаевич вдруг отчетливо понял: когда-нибудь он непременно убьет эту седую кра-

сивую кошку и бросит труп на съедение собакам, после чего убьет собак и бросит их на съедение мухам, после чего... Он остановился и глубоко вздохнул: что проку-то? Мухи бессмертны.

Вечером после уроков, прихватив бутылку, он отправился к Олегу Пташникову, товарищу по вылазкам на пленэр. Измученная мужниным пьянством и родами, остропузая тощенькая женщина с порога истерически закричала на Дурягина. Олег оттолкнул ее и потащил приятеля на улицу.

— Совсем оведомилась, — бормотал он по дороге. — Знаешь, какая у нее девичья фамилия? Круглова. — Сморщился. — Таня Круглова. Безысходно, как перловка. А когда-то... Сейчас думает только о том, чтоб — полон рот и немножко сзади...

На лавочке в больничном саду, скрытые от чужих глаз густыми зарослями сирени, они отвели душу, ругая начальство и женщин.

— А знаешь, Володя, я вот как-то ночью подумал: а чем таким важным женщина отличается от мужчины?

— Ну!

— Да нет, я не про ямки-холмики, это ландшафт, география! Я про другое — важное! — Олег сделал паузу и, театрально воздев палец, открыл: — Женщина не может помочиться в костер!

И невесело рассмеялся.

Дурягин никак не ожидал, что вопрос седой кошки — «Да вы любили когда-нибудь?» — так его заденет. Возвращаясь домой после разговора с Олегом, он вдруг остановился на мосту через Лаву. Осеннее солнце бесформенным комом расплавленного стекла угасло за густыми ивняками и каштанами. Серовато-зеленая всхолмленная поверхность воды, наливаясь мутной синевой, темнела и одновременно слепила последними отблесками пронзительно-оранжевого света. Пахло палой листвой, стынущей землей и еще чем-то остро-свежим, и запахи эти, странно смешиваясь со светом заката, казалось, проникали прямо в душу...

Владимир Николаевич встряхнулся и с удивлением посмотрел на свои руки, лежавшие на перилах моста, — нет, пальцы не дрожали, почудилось. Отчего это он так разволновался? Вроде бы, выпив водки и выговорившись, выпустил пар, и разговор с начальством уже не казался таким обидным. А что касается любви... «Мужик я, конечно, бешеный, — с удовольствием подумал он, закуривая папироску. — Но за столько лет ни жену, ни дочку — ни одним пальцем...»

Дочка в тускло освещенной кухне вяло ела селедку.

Владимир Николаевич посмотрел на ее жидкие серые волосы, на слизисто поблескивающие тонкие узловатые пальцы и беззлобно сказал:

— После тебя можно троих накормить. Рыбу надо есть так, чтобы от нее оставались одни глаза. Мать спит?

— Лежит.

В спальне стоял привычный густой запах лекарств.

— Среда у нас сегодня или четверг? — сонным голосом спросила Нина Ивановна.

Владимир Николаевич со вздохом повесил пиджак на спинку стула.

— С Олегом Пташниковым посидели немножко, выпили. Жена у него опять с пузом...

— Это который лысый?

— Лысый? Почему лысый? Олег волосатый.

— Наверное, все-таки четверг.

Подтянув кальсоны, Владимир Николаевич лег и, закинув руки за голову, с усилием закрыл глаза.

«Четверг. Значит, завтра пятница».

Когда-то Нина Ивановна работала каландровщицей на бумажной фабрике. Осторожно пробираясь на погрузчике по огромному залу, Владимир Николаевич обязательно притормаживал возле каландров, возносившихся под стеклянную крышу цеха, чтобы понаблюдать за девушкой, ловко заправлявшей бумажное полотно между толстыми блестящими стальными валами. Познакомились на вечеринке в фабричном клубе, через полтора года поженились, обзавелись домом, хозяйством — куры, поросенок, кролики — и ребенком. Вскоре после родов жена заболела — да так, что ей «дали группу», и к тому времени, когда Владимиру Николаевичу предложили учительствовать, Нина Ивановна с трудом передвигалась по дому, а больше лежала: полиартрит. «Досталась я тебе, Володенька, — жалобно улыбалась она мужу. — Все на тебя свалила: дом, хозяйство, Наташку...» Дурягин отмахивался: «Я стожильный. — И с усмешкой: — И непромокаемый, как гриб».

Казалось, тот четверг ничего не изменил ни в жизни, ни в характере Дурягина. Как и прежде, он всплывал едва ли не на каждом уроке, стучал татуированным кулаком по столу и, багровея, кричал: «Хулиган! Ну-ка пошел отсюда!» Разве что воли рукам не давал, памятуя разговор с директором. Завуча Риты Евгеньевны сторонился, но так, чтоб не обиделась: начальство все же. Раз-другой в неделю выпивал с Олегом Пташниковым, которого в конце концов выгнали из газеты, и он устроился на бумажную фабрику художником-оформителем. Олег облысел. После второй рюмки его вело, разговор становился рваным и путаным, и Дурягин уходил домой, оставляя приятеля в больничном саду, где тот продолжал говорить, говорить, говоря, обращаясь то к стакану — «Так-то, товарищ Стаканыч!», то к бутылке — «То-то же, госпожа Бутылишна!»

Ежегодно в школе набирался кружок рисования, куда осенью записывалось с полсотни желающих. Владимир Николаевич читал нам лекции — монотонные, как уголовный кодекс, — о композиции и перспективе (у него был серый потрепанный двухтомник большого формата — «Рисунок и живопись» — его библия и его конституция) и заставлял рисовать кубы и сферы, гипсовые кувшины и стеклянные граненые графины. Многие ученики, не выдержав тягот похода через серо-белую стереометрическую пустыню, дали деру. Я же почему-то решил дожидаться весны: учитель обещал волшебное приключение — пленэр. Весной на природе Владимир Николаевич оживился, и занятия кружка перестали походить на сеанс ожидания в приемной дантиста.

Но в начале мая занятия оборвались — умерла Нина Ивановна Дурыгина — и больше никогда не возобновлялись.

К тому времени, когда я окончил университет, Владимир Николаевич лишился и дочери: она умерла от рака.

Я приехал навестить родителей и на другой же день встретил на улице Дурыгина. Узнав о новеньком университетском дипломе, Владимир Николаевич пригласил к себе — отметить. Я не стал отнекиваться. От него уже пахло водкой и еще сильнее — плесенью от его старого, но ветхого пиджака. Он не производил впечатления сломленного судьбой человека — в голосе его звучала скорее насмешка над собой: «Видишь ли, в одиночку пить так и не научился — по конкурсу на прошел».

Был сильный ветер, трепавший деревья и рвавший с облаков, мчавшихся по синему июньскому небу, редкие капли дождя, который, едва успев начаться, тотчас уносился на запад, к морю.

— Ничего, — усмехнулся Дурыгин, поймав мой взгляд. — Я же непромокаемый, как сырая рыба.

В доме у него было чисто прибрано, но пахло, как от пиджака, — ветошной прелею.

— Каждый день броюсь, — вдруг сказал он. — Встал однажды утром и понял: не поброюсь — руки на себя наложу. — Поставил бутылку на крытый голубой клеенкой стол, достал из стенного шкафчика граненые рюмки, тарелки с сыром, огурцами и крупно нарезанным хлебом. — Хозяйство все перевел, одних курей оставил. — Аккуратно отвинтил пробку. — С-под винта слаще, что ли? Семь штук.

— Семь — чего?

— Курей. Я тебе говорю: одних курей оставил. Семерых. Куда мне больше? с утра до вечера в школе. Со встречей. — Опрокинул водку в рот, звучно булькнул бритым горлом. — Буздоров. Ешь. Люблю сыр, который солдатской портянкой пахнет.

Конечно же, я ожидал, что он заговорит о жене или дочери, — и он заговорил о дочери.

— Я не любил ее.

Он не любил ее.

Окончив школу, бесцветная Наташа отучилась на каких-то курсах и устроилась кассиром на железнодорожной станции. Она жила бесшумно, и иногда, поздно вернувшись из школы и обнаружив в комнате работающий телевизор, Владимир Николаевич мог его выключить и услышать из темного угла безгневный шелест: «Я здесь, папа...»

После смерти Нины Ивановны Дурягин стал все чаще заводить разговор о дочкином замужестве, о внуках. «Так не берут, папа», — спокойно отвечала она. «Ну хоть для себя роди... хоть от кого... безбрачно...» — «Не могу, папа. Врачи говорят: болезнь у меня». — «Что за болезнь вдруг нашлась?» — «Внутри все болит. Давно. И кровь идет». Откуда — отец почему-то спросить не отважился.

А вскоре ее положили в больницу и прооперировали, — после чего доктор Шеберстов вызвал к себе Владимира Николаевича и сказал, что у Наташи рак и жить ей осталось недолго.

— Пусть пока у нас лежит, у тебя-то дом пустой, некому стакан воды подать.

— Так, значит, она в желтой палате?

— В желтой.

Все жители городка, даже те, кто ни разу не лежал в больнице, знали, что расположенная на первом этаже узкая, на одну койку, палата, стены которой когда-то были выкрашены желтой краской, предназначалась для безнадежных больных. И хотя по приказу главного врача ее несколько раз перекрашивали, и хотя помещали туда чаще всего послеоперационных больных, многие из которых потом благополучно возвращались домой, — «желтая палата» в лексиконе жителей городка так и осталась синонимом смертного приговора.

На следующее утро, по пути в школу, Дурягин отнес дочери яблочек и шоколадных конфет.

— Ничего мне не надо, — сказала Наташа. — Да и нельзя. Ты просто приходи ко мне, пожалуйста.

— Приду, безоговорочно приду...

Он стал приходить к дочери дважды в день: перед школой заглядывал поздороваться, вечерами засиживался допоздна.

Владимир Николаевич и не думал, что высидеть два-три часа рядом с молчаливой дочерью — мучительный труд. Он не знал, о чем с нею говорить, а если все же и затевался разговор, — она отвечала односложно или просто тихо вздыхала. Особенно тяжелы были воскресенья.

Чтобы хоть чем-нибудь занять себя, Владимир Николаевич принес с собою альбом, карандаши и принялся набрасывать портрет дочери. Он изобразил узкую палату с высоким потолком, кровать, тумбочку и уже после этого — девушку, накрытую одеялом. Вооб-

ще-то, ему нравилось писать причудливые рельефы тканей, игру света и тени на скомканном холсте или блеск льющегося шелка; нравилось писать и женские волосы — тогда как лица получались у него стылými, статичными. Но тут вдруг не обнаружилось ни складок ткани, ни волос: дочь была такая бесплотная, что одеяло лежало плоско, как на столе, а волосы ее были скрыты белой косынкой, — художнику оставалось довольствоваться маленьким бесформенным носом, углом подбородка и тенями в глазных впадинах.

— Какое красивое дерево сирень, — вдруг прошептала она. — Райское дерево...

Перекур по дороге домой на мосту через Лаву давно стал ритуальным. Прижимая локтем к боку альбом и поеживаясь от свежего весеннего ветра, Владимир Николаевич бездумно смотрел на сверкающую под закатным солнцем стеклянную крошку реки. По-весеннему пахло талой землей и еще чем-то остро-свежим, проникавшим, казалось, прямо в душу. Владимир Николаевич со вздохом бросил окурок вниз, поправил альбом под мышкой — и вдруг замер. Он понял: дочь умирает, а он ее никогда не любил, и у него останется этот рисунок. Этот. Он вырвал лист из альбома и, зажмурившись, изорвал в клочья. Швырнул вверх — ветер подхватил.

На следующий день он пришел к дочери с коробкой акварельных красок.

— А мне нравилось, как ты карандашом ширкал, — сказала Наташа. — Ширк, ширк... Так тепло.

— Ничего, — пробормотал отец. — Скоро лето. Я нарисую тебе сирень.

И он принялся рисовать сирень.

Владимир Николаевич налил еще по одной. Выпили.

— Теперь туда пойдём.

И повел меня в гостиную.

Стены этой довольно большой комнаты, обставленной унылой фанерной мебелью, со столом под плюшевой скатертью и бахромчатым абажуром под потолком, — стены от пола до потолка были увешаны акварелями, изображавшими цветущую сирень.

— Владимир Николаевич включил свет, хотя в гостиной было светло, и развел руками.

С папиросой в зубах я медленно двинулся вдоль стены. Сирень цвела пышно, сирень бушевала под ветром, сирень никла под дождем, сирень пылала ярким серебром, сирень плыла в ярком весеннем свете, сирень яростно белела на фоне фиолетового предгрозового неба, — она была всюду, как сама жизнь, — и на мгновение я представил себе, что чувствовал этот человек, изо дня в день рисовавший сирень у постели умиравшей дочери, тихо дышавшей в узкой желтой палате, и мне вдруг стало страшно и я отвел взгляд

от последней акварели, ибо она и впрямь была последней: внизу стояла дата — день смерти Наташи Дурягиной.

— Дерево смерти, так-то, — скучным голосом проговорил Дурягин. — Понимаешь, какая жуть? Я не любил ее.

— А это?

— Это не любовь. Это — это прости меня за ради Христа Бога, пожалуйста, деточка моя, единственная, дорогая моя, Наташка моя!..

Я не решился утешать его.

Мы выпили на посошок.

— Насовсем уезжаешь? Тогда погоди. Какая тебе больше понравилась?

— Владимир Николаевич...

— Ладно, только без философии мне.

Он вынес из гостиной свернутую трубкой акварель, обернутую газетой. Я не поручусь, что от нее не пахло теми же пошлыми духами «Белая сирень», которыми пользовались почти все женщины городка.

— От дождя ее держи.

— У меня портфель.

Мы попрощались. Как впоследствии выяснилось, действительно — навсегда.

Через несколько дней я уехал.

Акварель сохранилась. Вот уже почти тридцать лет она висит над моим письменным столом. Бурно вскипевший под ветром, ярко вспыхнувший под солнцем влажный пышный куст сирени со слепяще-белыми и бледно-лиловыми пузырящимися спелыми гроздьями, брызжущими сладкими каплями света, вызывающий радостный озноб и счастливое изнеможение, — пламенно ликующий сгусток жизни, беззаконной, как само бессмертие, — дерево смерти — слепок души бессмертной — да-да, бессмертной души и любящей, любящей, любящей...

ВСЕ БОЛЬШЕ АНГЕЛОВ

После смерти вдового сына старуха Стефания осталась в доме с внуком Иваном, мужчиной молодым, туго соображающим и основательным. Вскоре он женился, обзавелся хозяйством — корова, свиньи, куры, индюки и кролики — и сыном Витей. После чего жена его громко сказала, глядя на приколотый к стене календарь, что и троим в доме не повернуться, а четвертая им — «нет никто».

Старуха Стефания тотчас собрала пожитки в узел и убралась в дощатый сарайчик-дровяник, пригнанный к кирпичной стене свинарника. Иван принес ей раскладушку и, наморщив большой белый лоб, раздумчиво проговорил:

— Как же ты зимовать тут будешь?

Стефания улыбнулась ему двумя передними зубами:

— Как-нибудь, Ваня. Ты только мною сердце себе не рви.

В этом дощатом сарае она и прожила несколько лет, выбираясь во двор очень редко — чтобы не сердить Иванову жену, которая говорила:

— Вы, баба Стефа, сидели б себе в сарайке тихо, а то соседи скажут, что мы вас не уважаем.

Целыми днями старуха, пристроившись на чурбачке, наблюдала через щелку в двери за дворовой жизнью — за курами и утками, за кобелем, чесавшим лапой лоб, за голубьями и воробьями...

Подросший правнук Витя однажды увидел глаз в щелочке, открыл дверь и познакомился со старухой. Ему понравилось таинственно сидеть в пахнущем древесной прелью полутемном сарае и вполголоса беседовать с прабабкой.

— А хорошо тебе в прошлом жилось? — спросил Витя.

— Плохо. Все время только о еде и думала, а Бог велел думать — о пропитании. — Старуха вдруг улыбалась мальчику дву-

мя зубами. — Но сны бывали хорошие, врать не стану. Ласковые были сны, мужские...

— А сейчас что хорошего? — продолжал допытываться правнук, основательностью и большим белым лбом пошедший в отца.

— А вон — дырочка. — Стефания поманила правнучка к глухой стене, где в сосновой доске была дырка от выпавшего сучка. — Смотрю в нее и ангелами люблюсь. Долго-долго надо смотреть — тогда только и увидишь. Сперва парочкой мелькнут, потом бригадой пролетят, и все больше, больше их, и все красивые, с крыльями...

Витя с любопытством приник к отверстию, но, сколько ни таращился, ничего, кроме жидких облаков на летнем небе, не выглядел.

— Молод ты еще, Виктор Иванович, — весело сказала старуха. — Доживешь до моих лет — и увидишь ангелов. А как ничего, кроме них, в небе не останется — пора и помирать, значит...

Мальчик нахмурился и спросил:

— А ангелы какают?

Старуха зашлась тихим смехом.

— Придет срок — сам у них и спросишь.

Вскоре она умерла.

Прошло двадцать пять лет.

Виктор с женой, двумя дочками и парализованным после инсульта отцом жил в том же доме, держал свиней в том же свинарнике, а дрова — в том же сарайчике, где была дырочка в стене. Мать давно их оставила и жила с новым мужем где-то на Волге. В двадцать семь у Виктора обнаружилась язва желудка. У младшей дочери был церебральный паралич, и почти все свое время жена Виктора Марина посвящала уходу за несчастной девочкой и неподвижным свекром. Виктор работал в дорожно-строительном управлении, с утра до вечера крутил баранку тяжелого самосвала. Чтоб хоть как-то сводить концы с концами, он держал большое хозяйство — корова, свиньи, куры, индюки и кролики. Иногда он доходил до полного отупения и курил в кухне папиросу за папиросой, массируя живот и прислушиваясь к задушенным всхлипам жены, лежавшей в соседней комнате спиной к телевизору. Он любил Марину и жалел ее до боли в сердце, но сил не было, чтобы утешить ее. В такие минуты он боялся думать о будущем. Притушив папиросу в пепельнице, он уходил в дровяник, запирали дверь на крючок и, пристроившись на чурбачке, прикидал к дырочке в стене, открытой ему когда-то старухой Стефанией, давно ушедшей в вечность ласковых мужских снов. Он смотрел в дырочку долго-долго, до рези и слез в глазах, пока среди облаков не начинали мелькать крошечные и прозрачные, как мотыльки, ангелы, и боль покидала его измученное сердце, и душа становилась легче и как будто даже больше — чем больше становилось ангелов в небе...

КОЛЬКА УРБЛЮД

Помянем братцы, помянем же Кольку Урблюда!..

Проходите, устраивайтесь поудобнее за этим столом, где незабвенный наш Урблудище проводил летние вечера, вколачивая костяшки домино в столешницу с такой лютостью, что трескались доски и кожа на ладонях. Ему, впрочем, никогда не везло в игре, — зато уж бабы его любили, как никого другого, — за то и убили.

Ну, по рюмашке! Упокой, господи, беспокойную его душу! А теперь — соленый огурчик. нет, нет, не так, Колька любил сперва облизать огурчик с причмоком — ах, смак! — и уж только после этого сладострастно разжевывал хрусткое тельце своими урблужьими зубищами, мыча и мотая глупой кудлатой башкой. А разжевав и звучно проглотив, выпучивал слезящиеся глаза и орал: «Еще по одной, пока не остыло!»

Вот и мы давайте-ка, братцы, — еще по одной, помянем да вспомним его непутевую жизнь и смерть его нелепую — он бы сам обхотался, если б мог.

Большого охламона, балбеса и шалопая в городке — да и в мире — просто не было и быть не могло: все шалое, что накопилось в природе, ушло на изготовление Кольки Урблюда. Как ни учили его уму-разуму родители да учителя, — ремнем, указкой по башке, сложной вдвое бельевой веревкой, предварительно вымоченной в крепкой подсоленной воде, — а научился он разве что на гармошке играть да похабные песни петь. Годам к тринадцати-четырнадцати он кое-как освоил чтение, письмо и счет на пальцах, а когда на уроке зоологии он назвал верблюда — урблюдом, все тотчас поняли: лучшего прозвища для этого придурка — умри, не придумать. Урблюд — и есть урблюд.

Парень он был здоровенный, но в армию его почему-то не взяли, что вызвало в городке всеобщее недоумение на грани паники: что же за болезнь посмела затаиться в этом быке? Если его спрашивали об этом напрямик, Урблюд серьезно отвечал: «Яйца у меня, братцы, квадратные — других болезней нету!»

В городке не так уж много возможностей устроиться на работу, — так вот, Колька за год-другой перебрал все места — и отовсюду вылетал с треском, ибо еще в школе пристрастился к вину и бабам. Уж казалось бы, на что тепло ему было на мясокомбинате, — воруй не хочу, — так ведь и оттуда выгнали с позором и хохотом. Когда бдительная пожилая охранница на проходной строго спросила, что это он прячет в штанах, Колька показал ей что-то очень похожее на большущий кусок краковской колбасы, уложив несчастную женщину в обморок. И, конечно, впоследствии никто не верил его клятвенным заверениям, будто это и впрямь была колбаса.

Даже в пастухах не удержался. Уже на третий вечер он привел с пастбища общественное стадо на Семерку стоящим на задних ногах. Да, да, Колька за пару дней умудрился выдрессировать коров так, что они вернулись к хозяевам цирковыми животными, способными плясать под его дудку на задних ногах, мотая выменем и весело взмыкивая. Его, разумеется, прогнали, но о чем он жалел, так это только о том, что ему не дали времени вывести коров новой породы, которые доились бы пивом, — «Все к тому шло. А на что людям ваше молоко? От него одно белокровие!»

Год за годом он пытался стать полезным членом общества: рыл мелиоративные каналы в лесу, подметал Семерку, кочегарил в больнице, таскал шпалы в железнодорожной бригаде, — но в итоге всякий раз оказывался в своем дворе с гармошкой на коленях и бутылкой на чурбачке. Уж на что его Клава была сварлива и горласта, и та в конце концов махнула рукой: «Что с него взять? Беспричинный человек». Колька же лишь хитро щурился: «Ничего, Клавесин Клавесинич, будет и на нашей улице праздник — все мухи от зависти передохнут!» Но Клава была твердо убеждена: в ближайшие триста тридцать три года мухи могут не беспокоиться о своей участи.

Удивительно было уже то, что Колька женился. Клава была невсякая, крепкая и домовитая женщина с норовом, которого побаивались все ближние и дальние соседи, взрослые и дети, самые брехливые собаки и самые драчливые петухи, — все, кроме Кольки. Если жена набрасывалась на него с бранью и кулаками, он с дурным смешком подхватывал ее на руки, швырял на постель и наваливался сверху, — после чего населению городка оставалось заткнуть уши ватой и сунуть голову под подушку, чтобы не слышать истошных Клавкиных воплей. На следующий день Колька

пропивал все сено, которое сам же в поте лица заготавливал корове на зиму, — и все повторялось.

Но больше всего, конечно, Клаву раздражали Колькины похождения. И хотя вскоре она поняла, что не Урблюд бегаёт за юбками, а женщины за ним, — смириться с этим не хотела и не могла и не раз вступала в драки до крови с «этими сучонками, суками и сучищами».

Никто не мог понять, чем же этот безалаберный охламон принимал женщин до самой селезенки, до последней косточки в позвоночнике, так что даже уважаемые и строгие матери семейств, позволявшие мужьям прикасаться к себе не чаще раза в месяц, бросались очертя голову в потные Урблюдовы объятия, бесстыдно орали, кусались и царапались и готовы были заниматься любовью с этим балбесом посредине центральной площади. Не раз случилось, что женщины ссорились и дрались, споря за право принадлежать Кольке, — он же лишь похохатывал: «Да что вы, куры, меня на всех хватит!»

В конце концов Клава не выдержала урблужьей жизни и слегла в больницу. Доктор Шеберстов обнаружил у нее опухоль и, назначив операцию, сказал Кольке, что в благополучном исходе не уверен. «Ничего! — засмеялся Урблюд. — Режь! Ее из пушки не убить, а тут всего-то — ножик».

На следующий день после операции он явился в больничный двор, устроился на табуретке под окном палаты, где умирала Клава, и рванул меха гармошки. Другой бы человек исполнил что-нибудь важное, сердечное, — но не Колька. Этот принялся во всю глотку орать похабные частушки, повергнув врачей, медсестер и больничных сначала в изумление, потом в гнев и наконец — в смех. Хохотал в своем кабинете доктор Шеберстов, визжали медсестры в процедурной, стонали нянечки в детском отделении и выли от боли и смеха роженицы, — и так продолжалось три дня и три ночи без передышки.

Начал Колька с безобидного:

Шел я лесом, песню пел,
соловей мне на хуй сел.
Я хотел его поймать —
улетел, абена мать!

А вот на этой сломался мрачный патологоанатом Фомин, который в тот момент, разбив куриное яичко о каменную пятку очередного трупа, собирался завтракать:

По деревне едет трактор,
сзади капает мазут.
Берегите, девки, целки —
хуй на тракторе везут!

А когда прозвучало:

На Алтае я была,
золото копала.
Если б не было пизды —
с голоду пропала б! —

Клава вдруг открыла глаза, слабо улыбнулась и прошептала: «Урблюжонок...»

Если верить доктору Шеберстову, именно Урблюд своей гармошкой и вытащил Клаву с того света.

Впрочем, после выписки из больницы жизнь ее ничуть не изменилась: Колька по-прежнему безобразничал, дурил, пил и таскался по бабам.

Может, так бы оно все и продолжалось, если бы в Кольку не влюбилась — а как еще назвать это помешательство? — темная баба Марина по прозвищу Лапа (она носила ботинки сорок шестого размера, а ростом была чуть выше обеденного стола). После гибели мужа-шофера Лапа растила двоих сыновей, всегда ходила в черном и смотрела на мир из-под низко надвинутого платка зло и недоверчиво. Была она неразговорчива, мужчин обходила стороной, поэтому даже странно, когда и как они с Урблюдом стакнулись. Что уж там всколыхнул в ней Колька — одному Богу ведомо, — но уже на следующий день соседи впали в столбняк, узрев Лапу в кокетливом светлом платице, в туфельках на высоком каблуке и с улыбкой на разгладившемся лице. Люди, однако, недооценили характер Марины. Решив, видно, что отныне Колька должен принадлежать только ей, Лапа принялась жестоко расправляться с соперницами, обещая вскоре добраться и до Клавы.

И добралась бы, не случись той драки на задах огородов, спускавшихся от Семерки к Гнилой канаве, куда толевый завод потихоньку спускал мазут.

Пьяненький Колька, который брел берегом канавы с гармошкой, выкрикивая: «Ах, бедное сердце, куда ты стремишься? И там презирают тебе...» — конечно, не мог и предположить, чем завершится встреча с ватагой разгоряченных женщин, выяснявших отношения на задах огородов. Женщины были в затрапезных халатах и в галошах на босу ногу — так уж в городке было принято летом ходить и на реку, и в магазин, и на огород. Раскрасневшиеся, возбужденные бабы орали друг на дружку благим матом, и громче всех — Лапа, — как вдруг кто-то увидел Урблюда. Что уж он им сказал — неизвестно, но в ответ одна из женщин то ли шутя, то ли всерьез толкнула его в плечо, на что Урблюд отреагировал по обыкновению с улыбкой и лениво: пнул ее так, что она села на землю. Сорвала с ноги галошу и хлопнула обидчика по руке. Тот с захо-

том обложил ее в три этажа. И вот тут-то и началось. Женщины с галошами в руках скопом набросились на хохочущего Кольку, которому, однако, уже после первых ударов по спине и гениталиям стало не до смеха, — а бабы вошли в раж. С перекошенными лицами, изрыгая хулу и визжа, они били не глядя и не думая о последствиях, а когда Лапа вдруг закричала: «Хватит!» — было уже поздно. Женщины с изумлением и растерянностью взирали на мужчину, который извивался у их ног, истекая кровью, с опухшим до неузнаваемости лицом. Лапа присела перед ним на корточки — Колька с трудом поднял голову, посмотрел на нее залитыми кровью глазами и прохрипел: «Ладно, бляди, я вас прощаю...»

И умер.

В тот же день все участницы кровавого побоища — рыдающие, рвущие на себе волосы — были арестованы и препровождены в изолятор. Не плакала только Лапа, облаченная в черное и в ботинки сорок шестого размера. Когда же участковый Леша Леонтьев спросил: «Неужели вам не жалко его было, а?» — именно она, Лапа, глухо, но твердо ответила: «Настоящих мужчин не жалеют».

Клава похоронила мужа и навсегда покинула городок, сказав на прощание: «Второго Урблюда нет и не будет — один он, как Бог».

Она, конечно, права, хотя при чем тут Бог — непонятно.

Вот и вся история.

Осталось еще раз помянуть Кольку. Так что давайте-ка, братцы, по третьей, под огурчик, — мир праху Урблужьему, мир праху!..

ВОЙНОВО

— Ее написал мой дед, — с грустью проговорила старуха. — Он был русский православный германский солдат. Только не рассказывайте, пожалуйста, никому про эту икону: она нечистая.

— Богородица?

— Эта Богородица побывала замужем.

— Богородица?

Евфимия — монахиня старообрядческого монастыря на польских землях бывшей немецкой Восточной Пруссии — рассказала мне эту историю.

В 1832—1834 годах русские старообрядцы из Латвии бежали от царских притеснений в Восточную Пруссию, где на берегу озера Душ построили, вместе с поляками-католиками, деревню Войново. Дед Евфимии был иконописцем. Его иконы до сих пор хранятся в общинах Рогожского и Преображенского кладбищ, а также в Гребенщиковской общине. Он полюбил польку по имени Мария и тайно встречался с нею. Говорят, она была божественно красива. Когда она забеременела, Иоанна — так звали деда Евфимии — призвали на службу в германскую армию. В сентябре 1914 года этот русский человек на поле Танненберга-Грюнвальда, где за пятьсот лет до этого славяно-литовско-татарские войска разгромили немецких крестоносцев, поднялся в атаку против солдат армии генерала Самсонова. В конце 1916 года Иоанн, уволенный из армии по причине тяжелого ранения, вернулся домой. Мария родила мертвого ребенка и ждала тайного мужа со страхом: врачи сказали, что детей у них никогда не будет. Избывая горе, Иоанн навсегда расстался с Марией и дал обет — написать такую икону, чтобы простились ему все его грехи. Он изобразил Марию — прекрасную, покинутую

им католичку, так и не ставшую матерью его ребенка. Он писал икону двадцать лет, почти не выходя из дома и питаясь хлебом и водой. Мария погибла в начале войны, Иоанн — в конце. Умер от сердечного приступа. Спустя три десятилетия польское правительство купило войновские иконы. На эти деньги и живет войновский женский монастырь. Очи войновских икон потрясали польских поэтов. Единственная икона, которая не была продана, — та, которая хранилась у Евфимии. Она прятала ее в своей келье, завернув в черную ткань. Когда зашла речь о продаже икон, она извлекла икону из тайника и с ужасом обнаружила, что на руках у Богородицы — младенец. Мальчик. Она точно знала, что дед не писал его. Евфимия тотчас завернула икону в черную ткань и до сих пор не разворачивает ее.

— Покажите! — взмолился я.

— Нет. — Она двинулась вниз, к «цементажу» — монастырскому кладбищу, за которым ухаживали монахини. — Я покажу вам могилу Марии. — Приложила палец к губам. — Только никому ни слова: она латинской веры. Пожалуйста.

Серая плита, имя, дата — больше ничего.

— Что же будет с иконой, если...

Я запнулся.

Евфимия вздохнула.

— Не знаю. Но я вам скажу, как назвал ее Иоанн. «Ад любви». Верите? Это правда. Как я могу показать ее кому б то ни было?

У меня перехватило горло.

Через полчаса мы уехали. Километров через двадцать остановились, купили водки в деревенском магазине, выпили, я лег в траву и заплакал: Боже, Боже мой, Боже милостивый!..

СОН САМУРАЯ

Юкио Цурукава был русским японцем с Сахалина. Окончив целлюлозно-бумажный техникум, он приехал в наш городок и стал мастером на бумажной фабрике. В паспорте он был записан как Юкио Тоямович, но жители городка звали его Юрием Толяновичем. Впервые увидев его, старуха Граммофониха подозрительно поинтересовалась: «Сынок, уж не яврей ли ты?» Прозвище ему дали — Самурай, хотя сам Юкио всячески открещивался: «Мой отец бухгалтер, а мать учительница. Какой самурай!» О японском его происхождении напоминала разве что висевшая рядом с зеркалом офуда — ромбовидно сложенный лист бумаги с иероглифами, изображавшими имя владычицы небес — богини Амаэрасу-о-миками.

На фабрике он и познакомился с Лидой КОРТУНОВОЙ, девушкой красивой и бойкой. Вскоре поженились и получили квартиру на Семерке. Едва у Лиды обозначился живот, Юкио поставил во дворе качели для будущего ребенка. Весной он каждый день вытаскивал жену из дома, чтобы полюбоваться цветущей вишней, а осенними вечерами, бережно усадив в мотоциклетную коляску, вывозил на Детдомовские озера, где они молча сидели час-другой, глядя на отражение луны в воде. «Зачем?» — недоумевала Лида. — «Зад мерзнет». — «Чтобы ребенок был красив и умен», — отвечал Юкио. И читал ей стихи:

О, как светла,
о, как светла, светла,
о, как светла, светла, светла,
о, как светла луна.

— Это японская луна, — задумчиво сказала Лида. — Про нашу так не скажешь...

У Лиды случился выкидыш. Она плакала днем и ночью, а Юкио сидел под падающим снегом на качелях и курил папиросу за папиросой.

— У нас с тобой разные крови, — сказала Лида. — У меня православная, а у тебя чужая.

— Если хочешь, я крещусь, — предложил муж. — Не больно. Лида с сомнением покачала головой.

— Ты даже сны чужие видишь.

— Откуда тебе знать? — удивился Юкио.

— Бога не обманешь.

После второго выкидыша Лида запила и стала путаться с мужчинами.

Юкио поехал в Кибартай и крестился.

Вернувшись, он застал Лиду в кухне с шалым алкоголиком Ванятой по прозвищу Вонь.

— Пшел вон! — закричала Лида, едва Юкио переступил порог. — С кем хочу — с тем и ебуть! Зато он моей крови!

Юкио вышел во двор и сел на качели.

Шел снег — тихий, как сон.

Все спящие одной крови, подумал Юкио.

Утром, когда пропела долгопоющая птица петух, Лида вышла во двор и обнаружила мужа мертвым — у него остановилось сердце.

Качели раскачивались в две руки — с одной стороны их толкал, наверное, Иисус Христос, с другой — Амагэрасу-о-миками, владычица японского неба.

Светила луна, шел снег, была Россия.

Скрип-скрип-скрип...

ВЕСЕЛАЯ ГЕРТРУДА

18 марта 1916 года на русско-германском фронте близ Шталуппенена был выпущен всего один артиллерийский снаряд, попавший в крышу одиноко стоявшего фольварка. В это мгновение поручик Сергей Иванович Ламеннэ, пришедший навестить своего друга Мишеньку Рагозина, артиллерийского наблюдателя, скучавшего который день у стереотрубы на чердаке брошенного дома, поднес зажигалку к Мишиной папироске. Снаряд, казалось, разорвался прямо над их головами. Последнее, что увидел Сергей Иванович, была Мишина рука с папироской, втянувшей огонек зажигалки; в следующий миг горячая липкая жидкость, фонтаном ударившая из того места, где только что была Мишина голова, ослепила поручика.

В германский полевой госпиталь был доставлен человек с зажигалкой в судорожно сведенной руке. Рот его был забит черепичной крошкой. Лицо превратилось в темно-красную маску, из расколотой грудной клетки торчали кости и обрывки легких. Оперировать его пришлось несколько раз. Человек остался в живых, но надолго лишился речи, плохо видел и слышал. Документов при нем не обнаружили, погоны сорвало взрывом, и только по лохмотьям шинели и белья определили, что это был офицер. Спустя несколько месяцев, когда он научился самостоятельно передвигаться и реагировать на простейшие команды, его перевели в лагерь для военнопленных неподалеку от городка Велау, стоявшего у слияния рек Алле и Прегель.

Соотечественники пытались разговорить молчуна, но попытки их были безрезультатны. Он не откликался ни на какое имя, ни на воинское звание, лишь слабо улыбался в ответ. Те, кто ухаживал за ним, утверждали, что его белье, сколько бы ни носилось, никогда не пачкалось. По мнению суеверных солдат, в большинстве своем

вчерашних крестьян, это обстоятельство решительно отличало молчуна от всех прочих. Сердобольные солдаты брали его с собою, отправляясь в работы на соседние фольварки, чтобы добыть приварок к скудному лагерному пайку. Офицер, впрочем, был мало к чему способен, хотя и старался не отставать от товарищей.

Хозяйка фольварка — точнее, это был дом на окраине Велау — сострадательно морщилась, глядя на офицера, неумело ковырявшего землю лопатой.

Муж фрау Гертруды Келлер, часовой мастер Гуго Келлер, пал смертью храбрых во Франции, оставив вдове весьма скромное хозяйство, крохотную мастерскую с инструментами и неутоленную жажду материнства. Широкий лоб, умные серые глаза, чуть тронутые оспенной рябью тугие щеки, соединенные аккуратно вырезанными губами, всегда готовыми к дружелюбной улыбке, — такова была фрау Гертруда, спокойная, физически крепкая и не очень-то склонная относиться к жизни как к наказанию за чьи бы то ни было грехи. После смерти мужа она перестала по ночам видеть сны — теперь они посещали ее днем, затуманивая взгляд калейдоскопом бесконечных видений. Изуродованное лицо офицера, утратившего память, вызывало у Гертруды жалость, и она стремилась хоть как-то облегчить его судьбу. Она поручала ему легкую работу по дому, поила его суррогатным кофе с картофельными блинчиками и рассказывала о погибшем муже. Однажды Сергей Иванович случайно забрел в комнатку, служившую покойному Гуго Келлеру мастерской, тронул маятник напольных часов, висевших в углу, и понял, что ему не хочется покидать эту комнату, этот городок, эту страну. Гертруда нашла его за столом в мастерской. Он обернулся и с улыбкой по-русски сказал: «Часы. Время».

Война завершилась. Сергей Иванович остался в доме Гертруды Келлер. Соседи только пожимали плечами, но старались не быть чрезмерно строгими к молодой вдове. Своим спокойным и дружелюбным нравом она трогала даже сердца, обросшие ледяной чешуей предубеждений. Она называла его Мишей. Постепенно он привык откликаться на это имя. Каждое утро он находил на тумбочке у изголовья голубую тарелку с алым сочным яблоком. Целыми днями он пропадал в мастерской, надвинув лупу на глаз и пытаясь разобраться в тонком кружеве механизмов. Со временем он настолько преуспел в ремесле, что добропорядочные бюргеры стали отдавать свои часы только русскому Мише. Михаэлю. Гертруду это радовало. Она учила мужа немецкому языку, читая с ним вслух Шиллера. У нее было двенадцатитомное тюрингенское издание, которое муж читал в минуты досуга в мастерской, сдвинув лупу на лоб и шевеля губами.

В начале 1925 года у них родилась дочь, которую назвали Луизой. Отец мастерил для девочки заводных зверюшек. Михаэль и

маленькая Луиза могли часами просиживать в мастерской, один — работая, другая — наблюдая за тем, как отец чинит время. Иногда он отрывался от работы и долго смотрел на девочку. Именно в такие минуты на пороге мастерской бесшумно вырастал божий ангел, которого Луиза ясно различала, но боялась пошевелинуться, чтобы не огорчить отца.

В конце двадцатых годов его обследовал известный психиатр доктор Эберле-Гофман, описавший «феномен Михаэля Келлера» в специальных журналах как интересный случай ретроградной амнезии. «Утрата памяти столь полная, что удивительно, как этот человек не забыл родной язык. Хотя специалисты утверждают, что речь его весьма бедна... Но, конечно, самое поразительное заключается в том, что этот человек, искалеченный войной и утративший родину, сохранил в своем сердце некий свет, некую высшую радость, даруемую Господом лишь избранным... Его воздействие на пациентов, имевших возможность с ним общаться, просто удивительно по силе. У проведших с ним в палате несколько дней наблюдалось резкое улучшение состояния...» По этому поводу профессор Хайдеггер записал в своем интимном дневнике (из которого впоследствии вырос его знаменитый труд «Время и Сущность»): «Бытие добра и зла невысказуемо вне длительности, вне времени, вне истории, тогда как Радость («феномен Михаэля К.») преодолевает эту длительность и, «поглощая добро и зло», выступает как психологический атрибут вечности. Т. о. Михаэль К. существует одновременно во времени и в вечности, как всякий человек, но его существование реализуется в форме сновидения, обладающего самодостаточным содержанием...»

По воскресеньям Миша с женой и дочкой ходил в церковь, а после обеда они втроем, если позволяла погода, катались на лодке по Прегелю. Гертруда видела теперь сны, которые можно было потрогать руками, и бескостные видения не беспокоили ее.

Вникая в премудрости часового дела, Миша досконально изучил то, что часовщики называют ремонтуаром и ангранажем, реглажем и кадратурой, узнал систему Грагама и шварцвальдский крючковый ход и понял, что часы — дитя пространства, прикинувшегося в глазах людей временем. Несколько месяцев он пытался сконструировать механизм, который помог бы ему вернуться в прошлое, но однажды не выдержал и расколошматил конструкцию молотком. Он понял, что затерялся во времени, понял, что вернуться назад означало бы познать секрет вечности, чуждой смертному человеку, поддающемуся, однако, на уловки грядущего, убеждающего нас в том, что мы владеем настоящим. На самом деле мы владеем только прошлым, с грустью заключил Миша, прошлым, которое и есть наше настоящее и наше будущее; собственно же будущее — фикция, сон, и только во сне мы проникаем в гряду-

щее безвременье, влекущее как счастье, — сон и смерть родственны, как чудо и чудовище, чудо сна и есть единственная дверь из времени в вечность...

Каждое утро он находил на тумбочке у изголовья голубую тарелку с алым сочным яблоком. Весь день исследовал серебряную вязь часовых механизмов. Ночью со вздохом облегчения вытягивался на крахмальных простынях, с наслаждением вдыхая запах ромашки, исходивший от Гертруды. Это и была жизнь, это и было счастье.

В марте 1945 года, сидя у стола, на котором покоилась со скрещенными на груди руками Луиза, убитая случайным осколком при воздушном налете, Миша и Гертруда прислушивались к канонаде, приближавшейся к городку со всех сторон. В мастерской тикали часы. Гертруда что-то шептала. Рано утром, когда они собрались на кладбище, под окнами их дома остановился русский танк. Из люка выбрался кряжистый белокурый парень со шлемом в руках. Он поднялся на крыльцо и постучал в дверь, но ни Миша, ни Гертруда не шелкнулись. Увидев гроб, танкист смутился и шепотом спросил: «Огонька не найдется, папаша?» Часовщик щелкнул зажигалкой и поднес огонь к папиросе. Русский прикурил, закашлялся и вышел, тихо притворив за собою дверь. Гертруда сказала: «Пора, Миша...» — «Я не Миша, — сказал муж. — Меня зовут Сергей. Сергей Иванович Ламеннэ. На Рождество мне подарили лошадь с льняной гривой, а потом мы катались на санях». Он думал, что вот сейчас заплачет, но не заплакал.

Похоронив дочь, он ушел. Люди и чудовища, населявшие Гертрудины сновидения, выбрались в ее дневную жизнь, и она, кажется, даже не заметила исчезновения мужа. Каждое утро она ставила на тумбочку у изголовья голубую тарелку с алым сочным яблоком, которое сморщивалось и гнивало, прежде чем она успевала закрыть за собою дверь.

Изможденный старик в истрепанном пальто прошагал сотни километров, питаясь подаванием в толпах инвалидов и ночуя где придется, и однажды в полдень толкнул дверь в библиотеку помещая Ламеннэ, чудом сохранившуюся, даже с книгами на полках, — правда, это были совсем другие книги. На каминной полке стояли часы. Он нажал потайную пружинку, достал из углубления ключ и завел часы, звонко пропевшие фрагмент знаменитого бетховенского финала. Испитая девушка, служившая в этой сельской библиотеке, изумленно взирала на уродливого старика, подслеповато помаргивавшего у камина. Путаясь в словах, он спросил о судьбе барской библиотеки. Пожав плечами, девушка отперла клетушку, где были свалены тома с золотыми и лиловыми обрезами. Сергей Иванович безошибочно извлек из кучи том большого формата. Открыл книгу, прочел:

Freude, Freude treibt die Rader
In der groben Weltenuhr...¹

И только после этого обратил внимание на полустертую карандашную вязь. Он приладил свою часовую лупу и узнал почерк младшей сестры Веры. Она писала в никуда, адресуя свое послание ему, Сергею Ламеннэ: «Милый Сережа, я так и знала, что когда-нибудь ты откроешь Шиллера на этом месте и прочтешь мою записку. Маму и папу они уже расстреляли во дворе за клумбами. Со мною, Катенькой и Любашей Бог весть что станется, но вряд ли мы избежим... Помнишь ли, как плакали мы над этими строками? Это было вечность назад. Глупые мечтатели, глупые гимназисты! И все же я испытываю странную радость и веру в то, что Он не оставит нас и эту страну, этот народ и Его радостью соединятся живые и мертвые, правые и виноватые, и мир устоит, устоит, Сережа! Прощай, Сережа, прощай, милый, молись за нас, как мы молим Бога о тебе. Шиллер будто прозрел нас и сберег нас и нашу веру для будущего. Я целую краешек этой страницы. Кажется, уже. Прощай».

Сергей Иванович вдруг понял, что бездна времени, разверзшаяся перед ним, страшнее бездны вечности. Жизнь показалась ему чем-то столь же далеким и чуждым человеку, как его душа. Ему захотелось умереть — тотчас, сразу, мгновенно, и было мучительно сознавать, что это невозможно. Он поцеловал краешек страницы, исписанной вкось — через немецкие буквы — по-французски карандашом.

С книгой под мышкой и лупой на лбу он вышел из дома, спустя несколько часов был арестован и расстрелян. Книга и немецкое удостоверение личности были приобщены к делу как вещественные доказательства.

Гертруда продолжала жить среди чудовищ, тикающих часов и тарелок с гниющими яблоками. Вся ее жизнь сжалась в один день, еще тридцать лет клонившийся к закату. Потешая новых — русских — жителей городка, прозвавших ее Веселой Гертрудой, она часами приплясывала на одном месте, монотонно напевая: «Зайд умшлюнген, миллионен...»² Она жила среди людей и чудовищ из сновидений и потому и не заметила прихода смерти, открывшей дверь в мир, где ее ждал Миша, ждал Гуго, ждала Луиза, ждал, наконец, Бог радости, так и не научившийся немецкие сны отличать от русских...

¹ Радость двигает колеса
Вечных мировых часов.

Из оды Фридриха Шиллера «К радости».

² «Обнимитесь, миллионы...»

Из оды Фридриха Шиллера «К радости».

ЯБЛОКО МАКСА

Городской сумасшедший Тихий Коля умер в десяти шагах от меня. Жалко улыбнувшись, он медленно, не спуская с меня взгляда, упал — сначала на колени, потом на живот — в алую пыль Семерки, подсвеченную закатным солнцем, — из его разжавшейся ржавой руки выпало золотое яблоко, которое покатилося к ногам мальчика, объятото ужасом и замершего в нерешительности: я лихорадочно соображал, бежать ли мне прочь — либо поднять яблоко, сверкавшее так, словно оно было облито жидким стеклом...

Нас связывала только память о прекрасной Магилене. Кому пришло в голову назвать так эту девочку в голубом платье, с голубыми бантами в ярко-пшеничных волосах, всегда гулявшей с тщательно вымытой, ослепительно белой собачкой, клички которой я уже не помню? Магилена. Прекрасная Магилена. Была средневековая повесть о прекрасной принцессе Магилене, но эта девчушка, конечно же, не имела никакого отношения к героине повести. Она была младше меня года на три, то есть на сто лет, мы жили по соседству, она была внучкой или правнучкой Макса — единственного немца, которого не депортировали в 1948 году, потому что он владел секретом выращивания удивительно красивых роз. Таково было всеобщее убеждение жителей городка. Иначе как, в самом деле, объяснить, почему из бывшей Восточной Пруссии выслали всех немцев, кроме Макса? Из-за роз. Да еще, может быть, из-за яблок, за которыми он ухаживал в саду психбольницы. Яблоня к яблоне, яблоко к яблоку. Таких больше ни у кого в городке не было. Выродились. Надо было знать, как за ними ухаживать. Знал только Макс. Яблоки, которые он выращивал в больничном саду, так и назывались — яблоки Макса.

Мы забирались в сад психбольницы вовсе не за яблоками. Здесь было немало укромных уголков, где можно было спокойно покурить без риска нарваться на взрослых. А если нас застукивал Макс, мы знали: этот не выдаст. Мы валялись в высокой траве, дымили дешевым табаком и ждали, когда к Максy прибежит Магиленa. Ее голубое платье, ее голубые банты, ярко-пшеничные волосы, ее ослепительно белая кудлатая собачка — все это вспыхивало за деревьями, мчалось, нарастало, заполняя сад, словно сюда ворвалась взрывающаяся на ходу комета... Мы обменивались иронически-скептическими репликами, боясь признаться себе, что она — прекрасна. Вкусны ли были яблоки — не помню, а вот ощущения света, блеска, яркости, сияния, связанные с юной Магиленой, — живы и сильны до сих пор.

Сумасшедший Тихий Коля ходил за нею хвостом, по обыкновению жалко улыбаясь и всегда — наготове — с золотым яблоком в руке, густо поросшей рыжим волосом. С яблоком для Магилены. Если вдруг захочет. Над ним, конечно, издевались — он не обращал на это внимания. Когда она (мы жили по соседству) дразнила меня, плюхаясь тяжелой мякотью ягодич на мои колени и требуя, чтобы я держал ее крепче, крепче, еще крепче, не то она упадет, черт возьми, — Тихий Коля подглядывал за нами в щелку, прячась за забором, сжимая золотой плод в ржавой руке с такой силой, что между пальцами проступали клочья яблочной кожуры.

Она умерла, не достигнув двенадцати. Утонула. Ее хоронили в голубом платье, с голубыми бантами в ярко-пшеничных волосах. Умиленные старухи еще долго рассказывали историю об ослепительно белой собачке, которая тайком от хозяев бегала на кладбище — повыть на могиле прекрасной Магилены. Мне снилась кукла, похороненная вместо девочки, — ночами она вдруг вскидывалась в гробу и норовила укусить меня.

Смерть являлась мне во всем своем блеске и ужасе.

Я много думал о смерти. Сперва мне казалось, что она прячется за дверью, с поразительным искусством нарисованной в углу моей комнаты. Почему вдруг неведомому художнику взбрело в голову написать в углу комнаты чуть приоткрытую дверь, к которой я приникал чуть не каждую ночь, пытаясь расслышать какие-то голоса, шепоты, шорохи, звуки, — о Господи, эта дверь! Мне так и не удалось открыть ее в своих снах, хотя теперь я, кажется, догадываюсь, кого мне предстоит там встретить.

Когда родители покидали дом, где я вырос, вдруг обнаружилось, что крыльцо имеет не четыре, как я всегда думал, а три ступеньки. Три. Но и до сих пор, пытаясь в сновидениях вернуться в родительский дом, я спотыкаюсь — о четвертую ступеньку.

Кажется, Аристотель ввел в эстетику понятие *ta genota* — так и было, то есть было именно так, а не иначе, — понятие, до сих пор

смущающее тех, кто в поисках гармонии факта и вымысла балансирует между игрой ума и памятью сердца. Иногда я с обескураживающей ясностью понимаю: был Макс, была Магилена, был Тихий Коля, сраженный любовью у моих ног, — а вот яблока, возможно, и не было. Я не уверен. Или все же было? Ведь без него не было бы этой истории...

Мне много раз доводилось видеть похороны и даже участвовать в похоронных процессиях. Мимо нашего дома на Семерке плыла, покачиваясь на выбоинах в краснокирпичной мостовой, выкрашенная черным лаком полуторка с откинутыми бортами, в кузове которой на блестящих еловых лапах и охапках пахучей туи стоял обтянутый ситцем гроб, — за машиной брели родные и близкие, в спины которым дышали полупьяные музыканты во главе с Шопеном, Вагнером и Чекушкой, выдувавшим из своей мятой трубы божественно печальные звуки...

Но вот так, лицом к лицу, я впервые столкнулся со смертью, когда вскоре после похорон прекрасной Магилены ко мне с жалкой улыбочкой ни с того ни с сего приблизился сумасшедший Тихий Коля с золотым яблоком на ладони и вдруг упал и умер, уронив яблоко в алую пыль Семерки — оно покатилося к охваченному ужасом юноше.

И что?

Конечно же, я спотыкаюсь о четвертую ступеньку.

Та генота.

Умерла Магилена. Умер Тихий Коля. Умер Макс.

А яблоко — катится...

БУЙДА

(вместо послесловия)

— Кто же селедку ест с белым хлебом?

Голос принадлежал старику, у которого на запястье правой руки темнела похожая на пуговку родинка. Казалось, руку можно растегнуть и, отвернув голубовато-белую кожу, — как манжету сорочки, — увидеть алое мясо и желтую кость.

— На то он и Буйда, — со вздохом пояснила бабушка, не вынимая изо рта курительной трубки, которая всегда висела у нее на пропахшей табаком груди. Трубка была прикована к старухе тонкой тусклой цепочкой, завязанной на тощей морщинистой шее. — Имя такое...

Старик был нашим соседом, который иногда заглядывал к бабушке на чашку чая. Не помню, как его звали, — в памяти осталась фраза — «Кто же селедку ест с белым хлебом?» — да родинка-пуговка на его правой руке. И еще — смутное ощущение загадочной, но неразрывной связи имени и судьбы.

В детстве я тайно страдал из-за странной своей фамилии. У соседей по Семерке были имена как имена: Иванов, Чер Сен, Дангелайтис, Лифшиц, — а у меня, увы, — Буйда. Вдобавок учителя поначалу ставили ударение на последнем слоге, усугубляя мои мучения. (Повезло мне разве что с именем. После полета в космос первого человека семилетний наглец дерзко заявил товарищам, что назван в честь Гагарина, о миссии которого бабушка узнала из Библии в день моего рождения.)

У меня не было даже мало-мальски приличного прозвища, в то время как в городке многие были обладателями роскошных псевдонимов, раскрывавшихся подчас лишь на могильной плите. Колька Урблюд и Вита Маленькая Головка, парикмахер По Имени Лев и Машка Геббельс (которую называли еще Говноротой, поскольку

была она великой ругательницей, а набравшись самогона с куриным пометом, требовала уничтожить «всех жидов», каковых в городке было трое или четверо: она считала, что именно они насылают порчу на ее кур и поросят), сестры-близняшки Миленькая и Масенькая, Кацнельсон-Кальсоныч и болтливейшая старуха Граммофониха... И даже имя деда Муханова, курившего ядовитые сигареты с грузинским чаем вместо табака, воспринималось всеми исключительно как прозвище: Дедмуханов.

Наверное, я чувствовал бы себя парией, не случись истории с Мотей Ивановой. Все знали, что когда-то Николай и Катя Ивановы приняли в семью грудного ребенка, брошенного бессердечной матерью на железнодорожном вокзале. Иногда я встречал Мотю на Детдомовских озерах, где мечтатели могли поговорить вслух с собою, а убитые горем люди — выплакаться. И вдруг спустя двадцать лет в городке объявилась пьяница-бродяжка, которая назвалась Мотиной матерью. Ее было подняли на смех, однако тихая мечтательная девушка Мотя внезапно преобразилась и вступилась за женщину. Она готова была вцепиться в горло любому, кто отважился на дурное слово о бродяжке. Николай и Катя Ивановы смирились и дали женщине приют в своем домике, поселив ее в комнате на чердаке. И уже на следующий день весь городок наблюдал за Мотей, которая тащила на себе домой упившуюся в Красной столовой «мать». Через неделю ее задержали при попытке украсть поросенка у соседей. Мотя плакала и отдавала пьянчужке свои деньги, но по-прежнему и с прежней энергией защищала ее от нападков. На исходе лета ее подняли баграми со дна Преголи — в зубах у нее был зажат дохлый окунь. В результате долгого пребывания под водой металлические части ее скелета были съедены коррозией, — тронь — развалится, — поэтому хоронить ее пришлось в гробу, который безутешная Мотя изваяла из нежной ваты. Когда, наконец, лучшая подружка робко поинтересовалась причиной такого трогательного отношения к бродяжке, Мотя мечтательно сказала: «Она хотела назвать меня Лизой. Елизавета — мое настоящее имя. — И пропела: — Е-ли-за-ве-та!».

Эту историю рассказал мне школьный приятель и известный фантазер, которого мальчишки с нашей улицы прозвали Жопсиком. Никого, конечно же, не интересовало подлинное имя этого пухловатого близорукого мальчика. В уличной компании его терпели только за умение сочинять занимательные истории — иногда это были разветвленные многофигурные авантюрные романы, тянувшиеся из вечера в вечер. Нередко он хитрил, пересказывая «своими словами» новеллы Боккаччо или Эдгара По, пьесы Шекспира или романы Достоевского, — но я не выдавал его: мне было жаль Жопсика.

Тем более что он в совершенстве владел самым притягательным изо всех искусств — искусством лжи. В самом деле, ведь многие купились на его историю о пещере под Таплаккенскими холмами, где в полной темноте хранится мраморная женская фигура дивной красоты, которая предназначена для спасения человечества от одичания и вымирания, — но вынести ее наверх и явить людям нельзя, поскольку она больна раком и погибнет, как только ее коснется хотя бы слабенький лучик света. И нашлись же люди, которые отправились на Таплаккенские холмы и даже обнаружили там какую-то яму, — на дне ее, под слоем палой листвы и птичьих экскрементов, покоился скелет карлика без левой ноги и с янтарным мундштуком в черных зубах, — но, конечно же, никакой статуи, никакой дивной богини там не оказалось. А история о рыцарях-крестоносцах, которые вот уже семьсот лет спят верхом на боевых конях (копыта их обгрызены мышами) в подвале полуразрушенной кирхи на центральной площади и ждут своего часа, чтобы в честном бою одолеть дьявола, вознамерившегося отнять эти земли у Святой Девы? Разве не полезли в подвал мужчины с лопатами, кирками и фонарями, чтобы своими глазами увидеть славного гроссмейстера Германа фон Зальца и его рыцарей в белых плащах с черными крестами, готовых по первому зову ринуться на защиту города и мира от врага рода человеческого? А, наконец, его выдумка о восьмом дне недели, когда именно — и только тогда — и случаются по-настоящему важные события в человеческой жизни? «Как же он называется, этот день? — возмущенно воскликнул дед Муханов. — И почему раньше про него никто не знал?» — «Я не могу сказать, как он называется, — важно ответил Жопсик. — Никто не знает, что случится, если произнести это слово вслух, — счастье или беда. Скажу только, что в этом слове шесть согласных подряд и звук, которого нет в человеческом языке». — «Да знаю я это слово! — захохотал Колька Урблюд. — Взбзднуть! И звук, конечно, не человеческий — жопный. Убить тебя много!»

Когда я спросил его однажды, почему он лжет и при этом рассчитывает на всеобщую любовь и великое будущее (он сам мне говорил об этом), Жопсик посмотрел на меня с состраданием и после театральной паузы ответил: «Потому что у меня — зеленое сердце».

Он жил с матерью, имя которой в городке давно стало нарицательным. О ее пьяных выходках и связях с мужчинами судачили все кому не лень. Случалось, что напившиеся ухажеры избивали ее, и тогда сын бросался на обидчика — маленький, близорукий, он в бессильном отчаянии кричал, что убьет негодяя, — кончалось все это подзатыльником или пинком: «Заткнись, выблядок, а то и тебе не поздоровится». Наконец случилось то, к чему, наверное, все и шло: трезвый мужчина с черной прорезью вместо рта и розоватой щетиной на впалых щеках ударил шлюху ножом. Об этом зна-

ли все, включая участкового милиционера Лешу Леонтьева, — однако улики и убедительные доказательства напрочь отсутствовали. Убийца чувствовал и вел себя как всегда: каждое утро являлся на лесопилку, где работал рамщиком, и каждый вечер пил пиво в Красной столовой, скучливо отмахиваясь от расспросов: «Да брехня все это. Нужда мне ее убивать...» Убедительность его словам придавало то обстоятельство, что, во-первых, он был трезв, а во-вторых — соседи не раз видели мать Жопсика с ножом, которым она то и дело собиралась зарезаться на крыльце, чтобы раз и навсегда покончить с поганой жизнью. Может, и впрямь «сама над собою сделала»?

Вот тогда-то мальчик впервые обратился за помощью к королю Семерки рыжему Ирусу. Вообще-то, любой неполодозрелый житель Семерки мог рассчитывать на его защиту — таков был неписанный закон. При этом, однако, почему-то считалось, что Жопсика защищать незачем. Незачем — и все. На этот раз, после непродолжительных размышлений, Ирус согласился, вытребовав, впрочем, гонорар — на бутылку пива. «Можно без стоимости посуды!» — со смехом добавил он. На следующий же день состоялась кулачная дуэль между королем Семерки и предполагаемым убийцей, который, увы, одержал верх в поединке. Драка эта, однако, произвела на городок впечатление, и милиция взялась за черноротого всерьез. Его арестовали и увезли. А Жопсик явился к побитому Ирусу. «Ладно, — мрачно сказал король. — Можешь звать меня Игорем (этой чести удостоивались только самые приближенные его оруженосцы). — Подбросил на ладони мелочь, которую принес Жопсик, и уже с раздражением спросил: — Ну, чего еще ждешь?» — «Сдачи. Пиво без стоимости посуды, — не моргнув глазом ответил мальчик. — Ты тоже можешь меня звать по-настоящему — Глебом».

Бабушка рассказывала, что в их деревне было принято выкрикивать имена над животом беременной женщины, пока ребенок не зашевелится в утробе. Имя, на которое откликнулся плод, и было его подлинным именем. Мой отец откликнулся на имя Адам, но родителям оно почему-то не понравилось, и первенца назвали Василием (по-белорусски имя звучало Базил), — вероятно, в тайной надежде приобщить мальчика к сонму великих базилевсов и святителей. Отец появился на свет жаркой июльской ночью девятнадцатого года в нищей, малолюдной белорусской деревушке, где слезы женщин были старше их на тысячу лет. Обладателю царского имени предстояло пережить великий голод, войну, сталинские лагеря. Когда я однажды заговорил о потаенной иронии истории, играющей с нами в слова, отец возразил: «Эта страна так просторна, что ни слова, ни мысли в ней не имеют никакого значения. Да и ее история — тоже».

Поэты возводят нерукотворные памятники себе, которые прочнее меди, но время, с его непостижимо жестоким милосердием, доносит до нас подчас лишь имя или обрывок строки, — не слово, но славу. Мы ничего не знаем о возлюбленной Сафо — поэтессе Эранне, которая славилась среди современников поэмой «Веретено». Нам ничего неизвестно о Гомере и очень мало — о Шекспире. В то же время мы знаем о безумии Свифта и Гаршина, о мерзости Хайдеггера и коллаборационизме Гамсуна... Иногда такое знание оказывает некоторое влияние на наше понимание истоков или особенностей творчества писателя, но по существу оно — ничемно. Подлинное имя Гомера — «Илиада». Шекспира зовут «Король Лир», а Достоевского — «Преступление и наказание».

Эмерсон в «Избранных человеках» писал: «Иногда мне кажется, что все книги в мире написаны одной рукой; по сути они настолько едины, что их, несомненно, создал один вездесущий странствующий дух».

Так ли уж он не прав? Подлинное имя Гоголя — nihil. Он больше, чем человек, он — литература.

«Gesang ist Dasein», — как считал Рильке, — песня есть существование.

На могильной плите, под которой покоится его прах, выбито:

Роза, чистейшее противоречие, радость
быть ничьим сном под столькими веками.

Для многих интерпретаторов эти строки — как бы голос самого небытия, того Нет, духом которого проникнута культура XX века. Но для Рильке тотального Нет никогда не существовало (истинное бытие frei vom Tod — свободно от смерти; в Седьмой элегии: Hiersein ist herrlich! — Тут-бытие великолепно!), для него поэт — это Да, он — Всегда, это действительно — *радость быть ничьим сном*. Моим. Нашим. Человеческим. Божественным. Вечным, как жизнь.

Когда я напечатал в польской газете свою первую заметку, подписанную полным именем, — было это году в 89-м или 90-м, — дежурный по номеру поздно вечером позвонил в панике главному редактору: «Чеслав, текст серьезный, а подписан первоапрельским псевдонимом! Может заменим?» — «Но это его настоящее имя». — «Боже! Как же он с ним живет?» Варшавянин мог бы и не обратить внимания на мое имя, но на севере и северо-востоке Польши большинство жителей — выходцы с западнобелорусских и западноукраинских земель, которым хорошо известно, что «буйда» означает «ложь, фантазия, сказка, байка» и одновременно — «рассказчик, сказочник, лжец, фантазер».

Что ж, приходится смириться с тем, что *Gesang ist Dasein*: Буйда — это буйда. Рассказчик — это рассказ, и в этом нет никакой моей заслуги. Как нет заслуги в том, что человек обладает сердцем, даже если оно — зеленое. Я есть то, что я есть: nihil. Надеюсь, меня не обвинят в претенциозности и высокомерии, — я не выбирал имя, разве что — судьбу. А остается только имя, хотя значима только судьба.

Содержание

ПРУССКАЯ НЕВЕСТА (вместо предисловия)	5
ОТДЫХ НА ПУТИ В ИНДИЮ	10
СЕДЬМОЙ ХОЛМ	14
ХИТРЫЙ МУХ	19
АЛЛЕС	22
КИТАЙ	25
ПО ИМЕНИ ЛЕВ	30
БРАТЬЯ МОИ ЖАВОРОНКИ	38
ПЯТЬДЕСЯТ ДВА БУКОВЫХ ДЕРЕВА	43
ФАРФОРОВЫЕ НОГИ	47
ТЕМА БЫКА, ТЕМА ЛЬВА	51
ЧЕРТ И АПТЕКАРЬ	59
КРАСАВИЦА МУ	69
ВАНДА БАНДА	76
БЕДНЫЙ КРЕСТЬЯНИН	83
ЧУДО О БУЯНИХЕ. <i>Поэма</i>	87
ЕВА ЕВА	116
РИТА ШМИДТ КТО УГОДНО	121
КРАСНАЯ СТОЛОВАЯ	149
ВИЛИПУТ ИЗ ВИЛИПУТИИ	160
МЕСТЬ	181
ЧАРЛИ ЧАПЛИН	184
СИНИЕ ГУБЫ	188
ВСЕ ПРОПЛЫВАЮЩИЕ	201
АПРЕЛЬСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ	205
ТРИ КОШКИ	217
ФАШИСТ	219
СИНБАД МОРЕХОД	230
РЫЖИЙ И РЫЖАЯ	234
ВИТА МАЛЕНЬКАЯ ГОЛОВКА	240
МИЛЕНЬКАЯ И МАСЕНЬКАЯ	244
ГОЛУБКА	248
ЧТО-ТО ОРАНЖЕВОЕ	252
ЖЕНЩИНА И РЕКА	259
ПРОДАВЕЦ ДОБРА	261
ПЯТЬ-ПЯТЬ-ПЯТЬ	263
ЖИВЕМ ВСЕГО ДВА РАЗА	267
О РЕКАХ, ДЕРЕВЬЯХ И ЗВЕЗДАХ	271
БЕСПРИЧИННЫЙ ЧЕЛОВЕК	274
ДЕРЕВО СМЕРТИ	276

ВСЕ БОЛЬШЕ АНГЕЛОВ	284
КОЛЬКА УРБЛЮД	286
ВОЙНОВО	291
СОН САМУРАЯ	293
ВЕСЕЛАЯ ГЕРТРУДА	295
ЯБЛОКО МАКСА	300
БУЙДА (вместо послесловия)	303

«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

первый российский независимый филологический журнал, свободный как от государственного идеологического диктата, так и от узкоцеховых пристрастий. «НЛО» ставит своей задачей максимально полное и объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, пересмотр устаревших категорий и клише отечественного литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте. В «НЛО» читатель может познакомиться с материалами по следующей проблематике:

— статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные исследования; важнейшие классические работы западных и отечественных теоретиков литературы;

— историко-литературные труды, посвященные различным аспектам литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных текстов, эпистолярная, мемуаров и т. д.);

— статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской литературной жизни, ретроспективной библиографии.

«НЛО» уделяет большое внимание информационным жанрам: обзорам и тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации новых трудов по теории и истории литературы. «НЛО» — периодическое издание, выходит 6 раз в год.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1996—1998 гг. вышли:

В серии «Россия в мемуарах»

Н. И. Свешников. ВОСПОМИНАНИЯ ПРОПАЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Автор, бродячий торговец книгами второй половины XIX в., много видевший и испытавший, рассказывает о своей своеобразной и богатой впечатлениями жизни: общение с уголовным миром (ночлежки, притоны, трактиры, тюрьмы), знакомства с известными литераторами (Н. С. Лесков, Г. И. Успенский, А. П. Чехов) и т. д. Первые напечатанные в 1896 г. воспоминания Свешникова были переизданы в 1930 г. и давно уже стали библиографической редкостью. В предлагаемое переиздание включены также опубликованные и неопубликованные воспоминания о народной книжности (рыночные букинисты, уличные разносчики).

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БЛАГОРОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Объединенные под одной обложкой воспоминания А. Е. Лабзиной, В. Н. Головиной и Е. А. Сабанеевой охватывают один из самых ярких периодов русской истории от начала царствования Екатерины II до восстания декабристов — время небывалых событий и характеров, блеска и изящества, пышных дворцов, роскошных парков, прекрасных дам и мужественных кавалеров. Перед читателем проходят бытовые картины придворной и провинциальной жизни: Петербург и Париж, Нерчинск и поместье в Калужской губернии. Среди действующих лиц: Екатерина II, Павел I и Александр I; придворные и простые провинциальные жители. На первом плане — личная жизнь: любовь и измены; истовая религиозность и разврат — все с точки зрения русской женщины конца XVIII — начала XIX в.

Ш. Массон. СЕКРЕТНЫЕ ЗАПИСКИ О РОССИИ

Воспоминания француза, который провел ряд лет при дворе Екатерины II и Павла I, содержат закулисную хронику русской придворной жизни того времени. Демонстрируя незаурядную наблюдательность и осведомленность, автор дает яркие характеристики мудрой императрицы и ее сумасбродного сына, их фаворитов и придворных. Независимость суждений и нелюбимая выводов делают книгу уникальным мемуарным источником. Книга выходила на русском языке в начале 20 в. и с тех пор не переиздавалась.

Л.Н. Энгельгардт. ЗАПИСКИ

Автор, генерал-майор, описывает свое детство, воспитание и обучение, службу у Г.А. Потемкина (своего дальнего родственника), придворный быт 1787-х гг., участие в русско-турецкой войне 1787—1791 гг., подавление польского восстания 1794 г., порядки в армии при Павле I и т.д. По ходу изложения он создает яркие портреты ряда военных и государственных деятелей, в том числе Г. А. Потемкина, П. А. Румянцева, А. В. Суворова и др.

М. А. Дмитриев. ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

Впервые публикуемая книга не уступает по своим литературным и познавательным достоинствам лучшим образцам русской мемуарной прозы. Пытливый и цепкий взор автора запечатлевает усадьбу сибирского помещика и московский благородный пансион при университете, а затем и сам университет 1810-х гг., московский театр 1820-х гг., суд и уголовные процессы того времени, литературную жизнь 1820-1840-х гг.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1996—1997 гг. вышли:

В серии «Научная библиотека»

Н. А. Богомолов, Дж. Малмстад.
М. КУЗМИН: ИСКУССТВО, ЖИЗНЬ, ЭПОХА

Одно из первых полных жизнеописаний крупнейшего поэта и прозаика первой трети 20 века, основанное на архивных разысканиях и блестящем знании авторами культуры этого периода, а также глубоком анализе творчества М. Кузмина.

Игорь П. Смирнов. **РОМАН ТАЙН «ДОКТОР ЖИВАГО»**

Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

Б. М. Гаспаров. **ЯЗЫК, ПАМЯТЬ, ОБРАЗ.
ЛИНГВИСТИКА ЯЗЫКОВОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ**

В книге известного литературоведа и лингвиста исследуется язык как среда существования человека, с которой происходит его постоянное взаимодействие. Автор поставил перед собой цель — попытаться нарисовать картину нашей повседневной языковой жизни, следуя за языковым поведением и интуицией говорящих, выработать такой подход к языку, при котором на первый план выступил бы бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний. В центре исследования — коммуникативный и духовно-творческий аспекты языковой деятельности.

НЕИЗДАННЫЙ ФЕДОР СОЛОГУБ

Крупнейший поэт, прозаик, драматург, теоретик театра и публицист, Федор Сологуб (1863—1927) более чем за 40 лет творческой деятельности оставил обширное литературное наследие, большая часть которого остается неопубликованной. В настоящий сборник вошли его стихотворения 1878—1927, драма «Отравленный сад», «Афоризмы», трактат «Достоинство и мера вещей». Биографический раздел представлен комплексом текстов, характеризующих взаимоотношения Сологуба с женой — Ан. Н. Чеботаревской, воспоминаниями о писателе и др. материалами.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1998 г. вышли:

В серии «**Научная библиотека**»

М. Ямпольский. **БЕСПАМЯТСТВО КАК ИСТОК** (Читая Хармса)

Именно ясность текстов Хармса и в то же время их загадочность побудила автора — известного культуролога и литературоведа — посвятить свое исследование поэтике, философским истокам и культурному контексту творчества писателя. Все то, что в раннем авангарде служит магическому преображению действительности, у Хармса используется для деконструкции самого понятия «действительность» или для критики миметических свойств литературы. Автор читает Хармса, но это творческое чтение, или, иначе, «свободное движение мысли внутри текста», позволяет ему сделать важные наблюдения и выводы, касающиеся не только творчества Хармса, но и искусства XX в. в целом.

А. Эткинд. **ХЛЫСТ**. Секты, литература и революция.
Начало 20-го века

Книга известного литературоведа и культуролога посвящена взаимодействию религиозного инакомыслия в России с культурой. Автор исследует особенности русского утопического сознания, прослеживает судьбы русского сектанства (хлысты, скопцы, духоборы, молокане и др.), которое породило уникальные идеи и формы жизни, давало свои ответы на духовные и общественные вопросы, находившиеся в центре внимания интеллигенции и политических партий.

Н. Букс. **ЭШАФОТ В ХРУСТАЛЬНОМ ДВОРЦЕ**.
О русских романах Владимира Набокова.

Исследование французского литературоведа посвящено шести романам В. Набокова русского периода («Король, Дама, Валет», «Камера обскура», «Приглашение на казнь» и «Дар» «Машенька», «Подвиг» и «Дар»).

А. Строев. **«ТЕ, КТО ПОПРАВЛЯЕТ ФОРТУНУ»**.
Авантюристы Просвещения.

Книга посвящена знаменитым литераторам, побывавшим в XVIII в. в России: Казанове, Калиостро, д'Эону, Бернардену де Сен Пьеру, Чуди, Фужеру де Монбруну, братьям Занновичам и др. Поскольку искатели приключений сознательно превращают свою жизнь в произведение искусства, их биографии рассматриваются как единый текст и сопоставляются с повествовательными моделями эпохи. Путешествуя в социальном, литературном и географическом пространстве, авантюрист соблазняет общество и преобразует мир, предлагая планы утопических государств.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1997—1998 гг. вышли:

В серии «Историческая библиотека»

В. Мери. **МАННЕРГЕЙМ – МАРШАЛ ФИНЛЯНДИИ**

Пер. со шведского

Первая биография на русском языке Карла Маннергейма (1867—1951) — выдающегося финского военного и государственного деятеля, президента республики Финляндия, главнокомандующего в трех войнах, исследователя и путешественника, законодателя этикета и моды, писателя. Автор стремится за фасадом статуи этой замечательной личности увидеть прежде всего живого человека, проследить перипетии его судьбы в самые бурные для истории 20-го столетия годы.

«СУЩЕСТВОВАНИЯ ТКАНЬ СКВОЗНАЯ...» Борис Пастернак.

Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминаниями)

Переписка Бориса Пастернака с первой женой составлена его старшим сыном и сопровождается его воспоминаниями об обстановке, в которой протекала семейная жизнь родителей. Лирическая высота любовной трагедии не снижена переданными в письмах тяжестью нищенского быта коммунальной квартиры 1920-х гг. и трудностями свободной творческой работы писателя и художницы, которые стали в конце концов причиной их расставания в 1931 г. Мучительные годы бездомности и взаимных обид, пережитые обоими, позволили им вскоре построить свои отношения по-новому, на основах глубокого доверия и дружбы, которые они пронесли через всю жизнь. В их переписку естественным образом включается взрослеющий сын, восстанавливающий в памяти свои разговоры с отцом, совместные занятия и прогулки и волею судеб ставший в наше время биографом и издателем.

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Е.А. БОРАТЫНСКОГО.
1800—1844 Составитель А. М. Песков

Эта книга является опытом хронологической систематизации всех известных к сегодняшнему дню фактов жизни и творчества великого русского поэта Е.А. Боратынского. Более половины из 1400 дат Летописи — это даты либо уточненные, либо впервые введенные в научный оборот. Зафиксированы все документально подтверждаемые случаи общения Боратынского с А. С. Пушкиным, А.А. Дельвигом, П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, И. В. Киреевским и другими писателями первой половины XIX века. В Летопись включены полные тексты всех известных к настоящему времени писем поэта.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1997—1998 гг. вышли:

В серии «Филологическое наследие»

М. К. Азадовский и Ю. Г. Оксман. Переписка

В книгу собрана переписка видных ученых-литературоведов, охватывающая три десятилетия (1920—1951) и являющаяся яркой страницей в истории отечественной научной и общественной жизни. Судьба обоих корреспондентов, стоявших у истоков советской гуманитарной науки, была драматической; в их письмах научная проблематика (сохранившая и по сей день свою актуальность) сплавлена с обсуждением вставших перед интеллигенцией общественных и экзистенциальных проблем. В комментариях вводится в оборот большое число новых данных из биографии и научной деятельности ученых, приводятся (полностью или частично) неопубликованные работы и документы, реконструируются неосуществленные научные замыслы.

В серии «Критика и эссеистика»

А. Гольдштейн. РАССТАВАНИЕ С НАРЦИССОМ

Опыты поминальной риторики

Интеллектуальный бестселлер талантливого литературоведа и культуролога, по остроте и полемичности не уступающий нашумевшей книге П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека». Оригинальный взгляд на русскую словесность и культуру XX века: от авангарда и социалистического реализма до соц-арта и концептуализма. Империя и литература, социальный заказ и нонконформизм, почему мы тоскуем по прошлому и кончилась ли литература — вот вопросы, к которым обращается автор. В центре исследования творчество В. Маяковского, Ю. Тынянова, А. Белинкова, Б. Поплавского, В. Шаламова, Э. Лимонова, Вен. Ерофеева, Е. Харитонова и других писателей.

А. Немзер. О РУССКОЙ ПРОЗЕ. ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ

Книгу известного критика составили его отклики на наиболее приметные явления отечественной прозы последних лет. Среди героев книги более 70 писателей (романистов, рассказчиков, эссеистов, мемуаристов) разных поколений, придерживающихся разных эстетических принципов — В. Астафьев и А. Слаповский, Г. Владимов и А. Дмитриев, А. Битов и О. Ермаков, Ю. Давыдов и В. Пелевин. Многие разборы и оценки, предложенные Андреем Немзером в пору его работы литературным обозревателем сперва «Независимой газеты», а затем газеты «Сегодня» вызвали шумную критическую полемику. Книга может служить путеводителем по новейшей русской прозе и будет интересна самому широкому кругу читателей.

В издательстве
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

в 1997—1998 гг. вышли:
В «Художественной серии»

А. Сергеев. OMNIBUS
Роман, рассказы, воспоминания

Первое полное собрание прозы известного переводчика и поэта Андрея Сергеева, в 1996 году получившего Букеровскую премию за роман «Альбом для марок». Кроме этого романа, в книгу вошли рассказы и «рассказики» о выдуманных и невыдуманных людях (Б. Слуцкий, Е. Винокуров, М. Зенкевич и др.), воспоминания об И. Бродском, с которым автор был многие годы дружен. Широта эрудиции, острота и точность взгляда, стиливое мастерство, юмор и ирония, лиризм и гротеск — все это делает прозу А. Сергеева яркой и увлекательной.

Г. Сапгир. ЛЕТЯЩИЙ И СПЯЩИЙ
Рассказы в прозе и стихах

Генрих Сапгир давно известен читателям как поэт, детский писатель, автор сценариев популярных мультфильмов. Настоящую книгу составила преимущественно его проза — легкая, ироничная, эротичная и фантасмагорическая. Включенные в издание поэтические тексты близки рассказам по духу и настроению, составляют с прозой стиливое единство. В целом книга являет собой образец гротескного письма в литературе.

Д. А. Пригов. НАПИСАННОЕ С 1975 ПО 1989

Книга известного поэта Д. А. Пригова, лауреата Пушкинской премии (1993), — первое наиболее полное собрание его текстов — поэтических и прозаических, отобранных из огромного числа написанного автором и наиболее характерных для его творчества. Сюда, в частности, вошли стихи, распространявшиеся в свое время в самиздате и ставшие почти классикой, — о Милицанере, о тараканах, о быте 70—80-х гг. В оформлении книги использованы рисунки автора.

«НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС»

(очерки нравов культурного сообщества)

критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». «НЗ» — журнал об интеллигенции и для интеллигенции, своего рода интеллектуальный дайджест, форум разнообразных идей и мнений. Одна из основных задач «НЗ» — объективный анализ того запаса идей и воззрений на мир и на самих себя представителей образованного сословия, который почти всегда воспринимался как безусловная данность, как аксиома. Среди вопросов и тем, обсуждаемых на страницах журнала: интеллигенция и власть; интеллигенция и деньги; институции гуманитарной мысли; интеллигенция и другие сословия; культовые фигуры, властители дум; новые исторические мифологемы; метрополия — диаспора, парадоксы национального сознания за границей; диффузия взглядов «наших» и «ненаших», циркуляция сходных идеологем в «правой» и «левой» прессе; религиозные и этнические проблемы; проблемы образования; столица — провинция и др. «НЗ» периодическое издание, выходит 6 раз в год.

Юрий БУЙДА
ПРУССКАЯ НЕВЕСТА

Редактор *А. А. Михайлов*
Художник *А. И. Гольдман*
Корректор *Е. М. Чеплакова*
Компьютерная верстка *В. М. Дзядко*

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонементный ящик 55,
тел.: (095) 976-4788
факс: (095) 977 08 28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

Буйда Ю.

Прусская невеста. Рассказы. М.: Соло, Новое литературное обозрение, 1999. - 320 с.

Юрий Буйда дебютировал в 1991 г. За эти годы он, кажется, побил все рекорды, опубликовавшись в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга» и других более 60 раз. В том числе и с романами — «Дон Домино», «Ермо» и «Борис и Глеб». «Прусскую невесту» также можно рассматривать как роман в новеллах, несмотря на стилистическое разнообразие глав: от фантастики и гротеска до сурового и даже жестокого реализма. Повествование автора отличается сюжетной изобретательностью и мастерским владением шоковыми эффектами.

ЛР N 061083 от 6.05.97

Формат 60×90^{1/16}. Бумага офсетная N 1.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 20. Зак. N 4346

Отпечатано с оригинал-макета

в Московской типографии «Наука»

121099, Москва, Шубинский пер.,6

ISBN 5-86793-045-9



9 785867 930455

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА "СОЛО"

НОВОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ